
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

*Нижегородский альманах
Выпуск тридцатый*

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2021

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

353

Главный редактор *О.А. Рябов*

Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

*Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин,
В.И. Седов, А.М. Цирульников, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов*

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги» Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск тридцатый.
Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород:
издательство «Книги», 2021. – 480 с.

В очередном выпуске альманаха наряду с произведениями известных писателей представлены наиболее интересные тексты молодых авторов – как наших земляков, так и из других регионов Российской Федерации и зарубежья.

В отдельных рубриках – литературоведение, мемуары, ироническая поэзия и проза, а также произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

ISBN 978-5-94706-245-8

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2021

© Издательство «Книги», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ	
РАССЧИТАЛСЯ ПО КУРСУ	6
ВАСЬКА НА ДАЧЕ	11
МОЙ ДОМОВОЙ	16
ШИШОК	22
Вячеслав ОСОСКОВ	
НА ЧЕРТОВОМ	28
Иван КАТКОВ	
ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ	44
Валерий МАККАВЕЙ	
МИХЕЙ СПИТ	49
БЕЗМОЛВИЕ	53
Сергей БЕЛОВ	
БИБЛИОСТОЯНИЕ	55
Павел ТИХОНОВ	
ТАЛАНТ	66
Виктор ЕРШОВ	
ОГУРЕЧНЫЙ ДУХ	74
Евгений ШЕСТОВ	
ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА	77
Дина ВЕДХЕЕВА	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	85

Лирический портрет

Елена КРЮКОВА	
ТЕРМИНАЛ (<i>фрагменты</i>).	88
ИРКУТСКИЙ РЫНОК. <i>Из новой книги стихотворений</i>	92
Лариса БУХВАЛОВА	
БОГ РИСУЕТ НАС В СВОЁМ БЛОКНОТЕ...	98
Борис ЛУКИН	
ЧЕРНЕЦ	102

Из свежей прозы

Юрий ПЕРЕВАЛОВ	
СОБАКА	108
Татьяна ЧУРУС	
ЗА ДВЕРЬЮ.	147
Дмитрий НИКОЛОВ	
МАЧО	151
Виктор ВЛАСОВ	
БОМБООУБЕЖИЩЕ	159
Сергей МОСКВИТИН	
«ПРОСТИ, ЛЮБИМАЯ...»	163
Юрий ЕГОРОВ	
ТРЕЩАЛКА	168

Лирический портрет

Татьяна ДИВАКОВА	
МОНОЛОГИ НА ПАТРИАРШИХ	176
Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА	
НЕБО – ЧТО ВЗЛЕТЕВШАЯ РЕКА....	184
Валерий МАЗМАНЯН	
...И КЕМ-ТО ОСЕНИ ПОРУЧЕНО	
ВСЁ СТАВИТЬ НА СВОИ МЕСТА	188

*Стихи поэтов литературного клуба
журнала «Нижний Новгород»*

Виктор ЛЯПИН	193
Сергей МИХЕЕВ	196
Сергей ЖУРАВЕЛЬ	198
Татьяна БОБЫШЕВА	199
Лейла ОРЕН	202
Галина ГОЛОВЛЁВА	202
Елена ЛЕМЕЛЬ	205
Денис МАКАРЫЧЕВ	206
Наталия ЯНГ	208
Алла ПРИЦ	209
Вера КАРАВАНОВА	210
Елена ПЕРВОВСКАЯ	211

*Гости номера —
литературная студия «Младость», Белгород*

Людмила БРАГИНА	
ВОПРОС	212
МЕДВЕДИКИ	217
Владислав РЕЗНИКОВ	
САНЬКИНЫ САНКИ	222
Олег РОМЕНКО	
КАРТОЧКИ	228
Светлана СЕРГЕЕВА	
МЕДОВЫЙ КВАС ОТЛИЧНОГО ВКУСА	238
Паул БАРБАДО	
НАСТРОЙКА	251
Ирина КУЧЕНЮК	
КОРМУШКА	258
ЛЮБИМАЯ	260
СЕРВИЗ	262
Юлия РЯДИНСКАЯ, стихи	264
Анастасия КИНАШ, стихи	264
Екатерина СУФРАДЗЕ, стихи	265
Галина СТРУЧАЛИНА, стихи	266
Евгений ХАРИТОНОВ, стихи	267
Светлана ЕВСЮКОВА, стихи	267

Из будущих книг

Олег МАКОША	
ЛЕТО НЕСЧАСТНЫХ	268

Николай ВИНОГРАДОВ	
ЖЕЛЕЗЯКА	312

Стихи по кругу

Александр ВЫСОЦКИЙ	341
Лариса МАЗУР	342
Владимир ИЛЬЧЕВ	343
Павел КЛИМЕШОВ	345
Александр ШИНЕНКОВ	346

Перечитывая классику

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ	
«ПОРАЗИТЕЛЬНО ДО СТОЛБНЯКА»:	
смерть в творчестве Бунина	347

Вехи памяти

Сергей ШЕВЦОВ	
«НИЧЕГО В МИРЕ ДОРОЖЕ НЕТ»	
Воспоминания актера Н.Г. Волошина	370
Александр ЛУШИН	
О ПОЛИЦЕЙСКОМ ЗАМОЛВИЛ Я СЛОВО....	400
Эдуард КУЗНЕЦОВ	
НАРАВНЕ СО ЗВЁЗДАМИ	407

Далекое — близкое

Петр РОДИН	
ПЕРЕКРЁСТКИ ЖИТЕЙСКИЕ	413

Русский смех

Александр ХОРТ	
ВАХТЕР И ПРЕЗИДЕНТ	421
БРЕНД СИВОЙ КОБЫЛЫ	423
ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ	425
ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ	
Валерий РУМЯНЦЕВ	427
Александр БОБРОВ	429
Владимир ЛЕБЕДЕВ	430
Илья ЧЕСНОКОВ	
АФОРИЗМЫ	432

Семейное чтение

Елена НЕСТЕРИНА	
НАХЛЕБНИЧЕК	433
Рауза ХУЗАХМЕТОВА	
Из цикла «МЕЧТЫ В КОРОБКЕ»	466
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ	
Яков ЗВЯГИН	474
Любовь СИДОРОВА	477

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ

РАССЧИТАЛСЯ ПО КУРСУ

Иван Бувевич стал легендарной личностью не потому, что был душевным парнем с широкой натурой, к которому огромное количество его друзей могли в сложный момент обратиться за советом, а он, действительно, мог что-то реальное подсказать. Это как бы само собой подразумевалось, и лишний раз об этом можно было бы и не упоминать. Только получил он у нас широкую известность скорее оттого, что отсидел он свои четыре года «ни за что», точнее — за что, но не за своё. И все, кому надо, про то знали.

Если очень многим, выслушивающим свой приговор в зале суда, результат кажется несправедливым, то в случае с Бувевичем это было очевидно даже малопосвященным. Компания по борьбе с экономическими преступлениями давно закружилась, движуха кооперативная цвела пышным цветом в конце восьмидесятых и активно поощрялась сверху, но работники специальных органов по привычке как были натравлены на эту суперактивную часть населения, так и рычали на них при любом случае, будто хорошо выдрессированные овчарки. Вот Иван и жил последние годы «на флажке». Решение по нему уже было принято где-то в высоких кабинетах, и ожидался только удобный случай, который и подвернулся. Но об этом после.

А вот друга его лучшего Лёвку Печекладова не посадили, бог миловал, а ведь многие дела они обделывали вместе с Иваном в те годы, регистрируя новые кооперативы один за другим – словно блины пекли.

И кафе они держали, и платные туалеты открывали, и списанную с разорившихся заводов электронику немцам на шубы турецкие меняли. Не нравилось всё это представителям регулирующих и контролирующих органов – не понимали они чего-то, не догоняли, как в то время стало модно говорить. Вот Ивана-то и посадили, а Лёвку – нет.

Я сидел в офисе у Льва, когда к нему зашел Бувич. Лев в тот момент уговаривал меня взять на себя создание и руководство дилерского центра фирмы «Вольво», какового у нас в городе к тому времени не было. Представители этого замечательного шведского автоконцерна были готовы подписать документы хоть завтра – сидели они в гостинице «Ока» и ждали решения Печекладова.

Да, Лёвка к тому времени уже солидно поднялся. Он был полномочным представителем фирмы «Мерседес», но не по автомобильным вопросам, а по каким-то другим: они, эти ребята из фирмы «Мерседес», всем занимаются. Построил в ту пору Лёвка и трёхэтажный корпус почти в центре города со специальным железобетонным подвалом-бункером, какие требуются для банков. А банки в ту пору как грибы росли, точнее, открывались – один за другим, и в очередь они к Печекладову стояли уже, просили у него это здание специально оборудованное.

Я отнекивался от Лёвкиных предложений всегда. Просто заниматься совместным бизнесом – это почти всегда находиться в почти конфликтных отношениях или с партнёром, или с кем-то из его близких родственников. Я предпочитал с Печекладовым дружить, а не работать. Ну а ещё – как можно заниматься делом, в котором ты ничего не понимаешь. И главное, мне не хотелось даже вникать в детали. Просто не хотелось!

Всего месяц назад предложили мне возглавить «Агробанк». Приехал мой хороший друг Саня Перфильев из Москвы с какими-то помощниками каких-то депутатов Государственной думы, и стали они втроём объяснять мне,

как будто я лицо заинтересованное или, по крайней мере, в курсе дела находящееся. А объясняли они мне то, что после ухода главного банкира страны Герашенко образовались у Банка России лишние сто пятьдесят миллионов долларов бесхозных, профсоюзных, что ли, или партийных – не понял, которые планируется завести в уставной капитал этого нового банка. Надо было срочно подобрать здание красивое, старинное, представительное, выкупить его у города и ехать на стажировку и учебу в Англию на три месяца. А потом рулить банком.

Я им так и сказал: не хочу!

Просто – не хочу! Хочу ходить на могилку к папе без охраны.

Сейчас уже все позабывали всё, что ли, а стреляли тогда банкиров запросто, как мы в детстве воробьёв из рогатки.

Возвращаясь к рассказу о встрече в офисе Печекладова, я должен сказать, что уже знал на тот момент, что Иван Бувич на днях освободился, а Печекладов хотя и обещал мне рассказать историю его посадки в деталях, но всё кормил завтраками. А тут – открывается дверь, и Бувич заходит сам, не стучась, радостный, веселый и с ходу вытаскивает из кармана бутылку коньяку и две банки кока-колы.

– Привет, жулики, – поприветствовал он нас, – доставайте стаканы.

Лев встал, молча почесав голову, обнял старого товарища и направился к горке доставать хрустальные стаканы. Я тоже встал и пожал руку Бувичу, не представляясь – сделали мы оба вид, что давно знакомы.

Одет был Иван если и не благородно, то очень броско и шикарно: пальто у него было длинное, почти в пол, темно-серое, но непонятным образом поблёскивающее фиолетовыми искорками, кашне красное, яркое, перчатки бежевые лайковые и штиблеты в тон перчаткам тоже бежевые и с дырочками. Было что-то такое, что говорило, что Бувич к встрече готовился, а тут – я!

Я понял тогда, что оказался не к месту. Лёвка мог, конечно, со мной запросто попрощаться и остаться с Иваном один на один, но он этого по каким-то соображениям не сделал.

Чокнувшись и отметив прибытие глотком благородного французского напитка, чувствовалось, что не польский, не контрафактный, Бувеч почти официально поблагодарил Печекладова за память и за то, что «гнал грёв на зону». Он сел в кресло, и было что-то натянутое во всей этой и подготовленной, и ожидаемой встрече, но и висела в воздухе некая недоговоренность.

Я встал. Но Иван тоже встал и, тяжело положив мне руки на плечи, усадил снова.

– Сиди. У меня со Львом будет не она ещё встреча, и без коньяка, а по-взрослому. Нам ещё работать и работать вместе. А сегодня у меня ещё с десятков визитов – надо всех объехать. Я ведь заехал просто должок отдать.

С этими словами Иван сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда пачку советских фиолетовых четвертаков, давным-давно вышедших из употребления, в банковской упаковке и бросил Лёвке на стол. Это было сделано эффектно. И мне ещё подумалось, что этой пачке четвертаков самое место в антикварном магазине.

– А это – твои! Спасибо – не пригодились, – сказал он. – Как брал, в том же виде и возвращаю. Не сомневайся – твои.

Лев недоуменно смотрел то на пачку денег, лежащую на столе, то на Бувеча.

– Да не смотри ты на меня так, пошутил я, – рассмеялся Иван, – а так как долг платежом красен – с процентами отдаю. О делах потом поговорим. Вот как-то так!

Радостно подхихикивая и улыбаясь, он достал из кармана и бросил на стол уже вторую пачку, и тоже в банковской упаковке, только уже федерального казначейства США. На этот раз это были доллары. После чего, пожав нам обоим руки, он ушел, оставив и деньги, и коньяк на столе.

– Что это было? – спросил я Лёвку.

– Ты не поверишь! Я даже не успел посмеяться!

Печекладов взял бутылку, налил нам по капельке и на миг задумался:

– Знаешь, за что арестовали, а потом и упаковали Ивана? Начал он в ту пору торговать мебелью. В количествах.

И вот ему из Италии пришел вагон с диванами, креслами и прочим барахлом, а он решил проверить и принять товар сам. Захмутили его нежно и аккуратно в том самом вагоне. Нашли проинформированные наши сыщики тогда в одном из этих диванов пакет с килограммом кокаина. Чей этот кокаин, кому предназначался этот диван – никто не узнал. Кто стукнул, в каком диване искать, – наши думали, но не поняли! Повесили тогда всё на Ивана. Менты никогда не любили наркоту и потому за Ивана никому не позволили вписываться. А как раз за день до этого вагона он приходил ко мне: сказал, что надо ему срочно две с половиной тысячи рублей – подобрал он недорого машинёшку неплохую, не помню уже какую, «Фольксваген-Пассат», что ли, – а налички не хватает. Говорит, что отдаст через пару дней. Я и дал ему вот эту самую пачку четвертаков – две с половиной тысячи рублей. Только растянулась эта пара дней на четыре года, хотя ему поначалу определили шесть. Вот. А сегодня по курсу он и рассчитался.

Лев небрежно сгрёб пачку долларов в ящик стола, а упаковку с четвертаками нежно взял в руку, как бы даже поглаживая, и, как мне показалось, собрался даже их пересчитать, но передумал. Просто он аккуратно налил нам в стаканы ещё по пятьдесят.

ВАСЬКА НА ДАЧЕ

Тихоструйно бежит мимо нашей деревни речка Круча. Почему она Круча – никто не знает, я спрашивал у наших местных стариков. И скорее всего, она даже не речка, а ручей – только так тоже не скажешь, если у неё название есть и рыба в ней водится. Хотя какая это рыба: окушки да краснопёрки, а чтобы серьёзная какая-то – лещ или щука, – такой нет. Лещ и щука, они около запруды живут, в яме. Опять же – одно название, потому что никакой запруды там уже нет, а есть колодевец, то есть озеро такое большущее-пребольшущее, которое осталось от водяной мельницы, ещё дореволюционной. Там гнилые столбы, не догнившие вместе с мельницей, до сих пор из воды торчат – разглядеть можно.

Говорят, мельница та когда-то здешнему барину принадлежала, только было это сто лет назад, и никто тут про того барина уже ничего не знает и не помнит, про него я тоже расспрашивал. Про барина тоже они лишнего хватили: барин – это ого-го как, это – почти боярин! А откуда в нашей глуши бояре? Наверное, никакого барина тут и не было, даже двести лет назад, а был простой, но уважаемый местный мельник, к которому вся деревня на поклон ходила, если беда какая или нужда.

Владимир Ильич прикупил в нашей деревне домик себе семь лет назад. Отслужил он в каких-то секретных ракетных войсках на самом Дальнем Востоке, чуть ли не на Курилах, двадцать пять лет и с полковничьей пенсией перебрался жить к нам. Ну, конечно, у него в городе есть хорошая квартира, от государства даденная, а у нас он себе «охотничий домик» прикупил. Искал он такой: чтобы и рыбалка была, и охота, и грибы, и ягоды, и огород с редиской

и огурчиками. А у нас всё это есть, и все под рукой. Так и живёт он: зиму в городе, а с мая по октябрь у нас.

Хороший дом он себе купил, ничего не скажешь – пяти-стенки с двумя печками, русской и голландкой, крепкий такой. И рады мы в деревне все очень были. А всё потому, что купил он дом у Николая Гавриловича, а тот ну просто дрянь, а не человек был. И не только я был рад, что эта зараза, Николай Гаврилович, от нас к своим сынам в город съехал, а, наверное, и ещё полдеревни тому порадовались. Уж больно мужик он был противный, да вредный, да кляузный, а Димку, пожарника нашего, вообще до тюрьмы довел: написал куда следует, что тот кабанчика под Новый год в лесу завалил.

В общем, нехорошим человеком наш Николай Гаврилович был. Был бы Сталин жив, тот бы непременно расстрелял Николая Гавриловича. Да и не только Сталин – Хрущев тоже бы расстрелял такого: Никита ведь только с виду был такой лысый дурачок из села, а на самом деле он тех, кто американскими носками и штанами торговал и доллары ихние копил, запросто расстреливал, пачками.

Провёл Владимир Ильич ревизию всего дома: и печных дымоходов, и фундамента, один венец подгнивший с угла даже менять пришлось, а забор – так вообще весь новый капитальный поставил. А после того только уже привёз он хозяйку свою Анастасию Ермолаевну – солидная женщина оказалась и умная, и всё знающая – наших баб стала сразу учить огурцы солить и бруснику мочить на зиму. Всё это на полном серьёзе, и бабы наши её слушали – как курицы. В общем, авторитета ей было не занимать, а так как она ещё и медицинским работником когда-то была, то уж тут все ею стали пользоваться.

А Владимир Ильич, чтобы так же авторитет хоть какой-то заполучить нужный, местный, стал на речку с удочкой ходить. И вот стоит он как-то на бережку с удочкой, а рядом с ним, ну, на десять метров повыше, местный мужик наш, Илюха – и тоже с удочкой. Таскают они окуней по очереди да сорожек с ладошку величиной. Чего с ними делать – я вот до сих пор не пойму!

А тут выходит из кустов здоровенный рыжий котяра с двумя репьями, прицепившимися к хвосту, вальяжный та-

кой, иначе не скажешь, подходит он к Илюхе, что-то сказал ему хриплым голосом и, зевнув во всю пасть, улегся на солнце греться.

– Это твой, что ли, красавец такой? – спросил Владимир Ильич у Илюхи.

– Мой, – ответил Илюха, – а ты дай ему рыбину, он и твой тоже будет.

Владимир Ильич покопался у себя в полиэтиленовом пакете, достал красноперку жирную, крупненькую такую.

– Как его зовут-то? – спрашивает он у Илюхи.

– Хочешь, Васькой зови, – отвечает Илюха.

– Кис-кис-кис, Васька, – позвал Владимир Ильич.

Кот поднял голову, продрал глаза и мяукнул, будто ржавая калитка скрипнула.

– Васька, Васька, на рыбку, – снова позвал Владимир Ильич.

Кот нехотя поднялся, подошел к Владимиру Ильичу и произнёс теперь уже что-то похожее на «мяу», но очень громко, будто обругал, и Владимир Ильич понял, что это животное знает себе цену и шутить с ним не надо. Хотя, как потом оказалось, при правильной постановке взаимоотношений и шутить можно – если правильно шутить.

За час рыбалки Васька сожрал ещё шесть краснопёрок. А когда Владимир Ильич смотал свою удочку и пошел домой, кот Васька поднялся, зевнул, потянулся и пошел сначала за рыбаком-кормильцем, а потом, безапелляционно обогнав его, пошел впереди, иногда сердито оборачивая голову и строго посматривая на Владимира Ильича. А тому поведение кота было не просто смешно, но и сказочно.

С тех пор стал Васька-кот жить на крыльце у Владимира Ильича, хотя его родной дом был по соседству, чуть наискосок, но он как-то разлюбил его сразу. С Владимиром Ильичом он был строг по-мужски, а вот с хозяйкой, Анастасией Ермолаевной, он просто нечестно себя вел, с подхалимажем: запрыгнет на стол, когда та чай пьёт, и вот об ухо её тереться и песню начнёт петь, то есть мурлыкать. А раз как-то, я видел – в огороде запрыгнул ей на спину и, усевшись на плече, тоже что-то нежное своё ей стал рассказывать.

Анастасия Ермолаевна все эти знаки внимания без последствий оставить не могла и по-женски привечала Ваську:

то есть подкармливала его, хотя, конечно основной Васькин интерес был за Владимиром Ильичом. Васька обязательно ходил с отставным полковником на речку, и не напрасно: и красноперки, и окуни ему по душе были. А также он ходил с ним и на утреннюю утиную зорьку, и в лес за рыжиками, и на болото за клюквой, хотя и не очень хорошо понимал, зачем это надо делать. Правда, после таких походов он от хозяина получал обязательно большой отрубок ливерной колбасы, что тоже поддерживало его интерес к новому своему дому.

В отличие от большинства своих соплеменников, а я их много повидал на своём веку, Васька не был жуликом и продуктовыми запасами хозяев своих не интересовался. Но однажды, вернувшись из соседней деревни, куда он уходил по своим делам на пару дней к знакомым кошкам, Васька обнаружил, что и полковника, и Анастасии Ермолаевны дома нет. Машины во дворе тоже не было, и можно было сделать вывод, что хозяева уехали. Но, забравшись в дом через открытую форточку, Васька обнаружил, что хозяева уехали ненадолго – скорее всего, в райцентр. В кастрюле, которая была ещё теплой, лежала недавно сваренная целая курица.

Васька равнодушно относился к варёным курицам, но случай был таков, что надо было поесть, а главное – хозяевам наглядно объяснить, что о нем с заботой и постоянно вспоминать надо, а не просто так! Он и живых-то кур не очень любил с самого детства, когда его ещё котёнком здорово потрепал белый петух. Васька вытащил из кастрюли злополучную курицу, отгрыз у неё крыло, а саму всю исцарапал и раздербанил на части прямо на полу.

Конечно, Анастасия Ермолаевна ругалась и даже треснула Ваську веником, но он не рассердился на неё – порядок должен быть во всём. А потом она, Анастасия Ермолаевна, всё равно наложила ему полную миску творога со сметаной. А веник, который стоял в углу, – Васька теперь непременно шипел на него, когда проходил мимо.

Во всём основном Васька очень внимательно и бережно относился к своему новому дому. Он в нём всё исследовал и проверил, уяснив, каким образом мыши могут из подвала пробираться в избу. Зима придёт – все мыши с полей в

избы прибегут. Забронировал он себе и три точки в избе, удобные либо для отдыха, либо для наблюдения: на подоконнике, на печке и в кресле.

Ночевал он всегда на веранде, прямо на столе, логично рассуждая, что на даче надо пользоваться свежим воздухом в полном объёме. Хотя он и пометил весь огород и участок своим специальным кошачьим способом, проявить свою любовь и внимание к полковнику и его Анастасии Ермолаевне таким же образом он не решился, хотя и очень ему хотелось через тапочки и туфли хозяйские этот знак внимания тоже им передать.

Полковник теперь ходил на речку ловить краснопёрок чуть ли не каждый день, даже когда моросил дождик. А в октябре дожди потекли без перерыва. Васька в дождь на речку не ходил – предпочитал сидеть под крыльцом. Полковник, если рыбы наловит, всё равно ему принесёт!

Дачный сезон кончался.

Сосед Владимира Ильича, Илюха, как-то раз уже крепко пьяненький появился к нему днём:

– Иваныч, – заявил он ему, – ты уважаемый человек и у нас в деревне, и в городе! Так вот, я хочу тебе сказать, что разрешаю тебе забрать моего Ваську с собой на зиму в город.

Вот как они понимают человеческие слова? Не успел Владимир Иванович ещё и ответить соседу Илюхе, а кот Васька уже огромными прыжками бежал через улицу к своему родному дому со своей летней дачи. Полковник улыбнулся.

– Илья, я говорил с твоим котом Васькой, и он отказался ехать с нами в город, хотя я ему обещал очень хорошие условия проживания. Он уже убежал к себе домой в твою избу. А я, в свою очередь, хочу тебе, точнее Ваське, оставить мешок кошачьего корма. Тут сорок упаковок «Вискаса», – Владимир Иванович протянул Илюхе сумку с подарками большому и умному рыжему коту.

Если бы вы знали – как мучился Васька всю зиму от этого «Вискаса», как ждал он весну, полковника и его ненаглядную Анастасию Ермолаевну. И знаете – дождался!

И опять у него снова началась дачная жизнь.

МОЙ ДОМОВОЙ

Март. На улице отчетливо запахло весной, а коммунальщики шпарят так, что до батарей отопления не дотронуться. У нас дом старый, тридцатых годов постройки, и разводка отопления старая, без регулировок и вентилей, – вот и приходится температурный режим в квартире выдерживать с помощью открывания окон и форточек. Сегодня проснулся от безумного ореха: грачи прилетели, и столько шума от них! Зимой тут на берёзах появлялись и вороны, и галки, тоже потихоньку каркают, что-то обсуждают, но как-то более скромно, а эти – просто хозяева.

Птиц у нас во дворе много – всю зиму можно любоваться. Пока морозы, на берёзах гроздьями виноградными чечётки висят, прямо вниз головами. Когда сугробы февральские устоятся, начинают из леса навешиваться снегири парами, тройками, и щеглы так же. Потом толпой свистистели налетят – всю калину и рябину расклюют, и это значит, что зиме скоро конец. Ну а синицы круглый год тут свистят – я им в особые холода кусочки сала на веточки вишен накалываю.

У нас двор удивительно зелёный для центра города: когда-то, полтора века назад, он был частью территории огромного парка графини Анны Георгиевны Толстой, супруги обер-прокурора Святейшего Синода. Ей, дочери взбалмошного знаменитого князя Грузинского, самодура лысковского, поклоннице и покровительнице Гоголя (у неё, в московском доме, жил он последние четыре года, и рукописи свои там сжег, и скончался), принадлежали когда-то эти городские земли. А аккуратненький, отрестав-

рированный особнячок её можно до сих пор при желании разыскать в глубине одного из ближайших дворов.

Наверное, с тех самых незапамятных пор изобилие это зелёное у нас во дворе сохранилось, а может, и сами жители поддерживают такое богатое состояние растительное. Любопытства ради я пару раз пытался сосчитать количество видов деревьев и кустарников, растущих в нашем дворе, но каждый раз после тридцати спотыкался – не очень хорошо я разбираюсь в нашей флоре. Но цифра всё равно впечатляющая.

Давно я в этом доме живу – уже и не помню, с какого года. Детей здесь вырастил: сына женил, дочку замуж выдал. Собаку мы с супругой завели для личного общения, тоже пятнадцать лет с нами жила, отравили её сволочи какие-то, и похоронил я её в лесу. И вот после этого всё и началось – я про домового.

Каждому нормальному человеку понятно, что за здоровье членов семьи, в том числе и домашних животных, отвечает домовый. А тут он, видимо, где-то что-то проморгал, и случилась эта беда с собачкой нашей. С другой стороны, у меня мелькала мысль, что это мы сами как-то не очень внимательно стали относиться к нашему домовёнку, и потому он и стал к нашему домашнему благополучию относиться не очень внимательно, а попросту говоря – спустя рукава.

Многие люди – да большинство из нас – даже не задумываются над тем, как поживает и в чем нуждается их благодетель, их домовый. Так и я в советском вакууме атеистическом продолжал жить все эти последние годы. А напрасно!

Обнаружил я как-то, что в кухне на окне, точнее на печке СВЧ, которая стоит там, на широком подоконнике, пристроилась тряпичная кукла, сидит, поглядывая в окно. Даже и не кукла это, а такая самодельная детская игрушка, какими, наверное, играли некрасовские крестьянские дети: плоская голова, набитая ватой, с озорными круглыми нарисованными чернильным карандашом глазами и с прядью волос из пакли, красная рубашка в белый горох и руки-ноги в стороны торчат.

– Это что за чудо-юдо у нас на кухне, на подоконнике сидит? – спросил я супругу.

Она сходила на кухню и вернулась довольно удивленная.

– Странно, – сказала она, – эту куклу подарила мне одна девочка лет сорок назад в Большом Болдине, где мы были на картошке. Это ещё в студенческие годы. Мы у них на постое в избе жили, и с той хозяйской девочкой маленькой (не помню, как её зовут) мы подружились, а при прощании она мне и подарила эту куклу свою самодельную. Только вот где она, кукла эта, скрывалась все эти годы – не знаю! Странное чувство образовалось во мне при виде её.

– В смысле? В чем странность чувства твоего?

– Не знаю. Только пусть он там сидит, на подоконнике.

– Кто он? Так это мальчик или девочка?

– Та девочка деревенская его Кузькой звала. Так что пусть он будет Кузькой.

– Так это же – домовёнок Кузька, и рубашка красная в горох, как же я не угадал! А Кузька – мордовский бог. Ты знала это?

– Слышала где-то. Только не пойму, где он жил все эти годы и почему скрывался?

– В смысле?

– Ну, я понимаю, что разыскали его в какой-нибудь коробке из-под обуви, в каком-то шкафу ребятишки наши, внучата в смысле. Они когда втроем у нас собираются, то после них я два дня убираюсь: они же, начиная с твоего ящика с инструментами, где все эти пассатижи, ключи и отвертки с шурупами, и кончая моими коробочками и шкапулками для бижутерии с брошками и бусами, все вывернут и перевернут. А парфюм я не успеваю прятать – после их набегов в доме такие ароматы выются, как в магазине «Ив Роше». Так что это они Кузьку просто где-то нашли. Но почему они не нашли его раньше? Или он сам не хотел, чтобы его раньше находили? Ты знаешь, я сейчас вспомнила: та девочка деревенская звала его Кузька-доможил. А что это значит – непонятно: то ли от того, что он в дому у них жил, то ли он жадный? Помнишь, что в детстве мы жадных мальчишек и девчонок жилами звали?

– Помню.

Человек я хотя и крещёный, но к церковным обрядам малоприспособленный: если скажет супруга, что надо сходить в храм и службу заказать, то вместе сходим, и службу закажем, и свечку поставим, и лоб перекрестим. Так же ко всяким домашним принципам и обрядам я отношусь: позабуду что-то дома, вернусь, а супруга обязательно заставит в зеркало посмотреться – я посмотрюсь, от меня не убудет, а ей приятно, что я её наказ выполнил.

А тут из-за Кузьки этого странное что-то во мне образовалось. Не как к человеку, не как к собаке, но все равно как к какому-то субъекту я стал к нему относиться. Стыдно сказать, но я же стал с ним даже разговаривать иногда. И понимаю, что глупость делаю, а исправить ничего не могу: думаю, что это уже старческая деменция. Хотя дети со своими игрушками и куклами разговаривают, и никакой деменции там нет.

Супруга за Кузькой тоже по-своему ухаживает: после каждого праздника кусочек вкусенького ему поставит на кухне. Он, может, и не притронется, но то, что знак внимания не пропустит, – факт. А вот я как-то недоеденный, надкусанный бутерброд с бужениной ему подsunул, так он ночью полку с посудой опрокинул: четыре тарелки и две чашки в дребезги расколотил. Он предупредил, а я внимательнее стал.

Все наши, кто живет в наших четырех домах, образующих двор, машины свои на ночь тут же, прямо во дворе, и ставят – места хватает. Я тоже свою «Субару» под окном между жасмином и сиренью приспособился оставлять. И вот сколько лет здесь живу, а ни разу не слышал, чтобы у кого-то проблемы были с автомобилями: чтобы угнали, или поцарапали, или резину сняли. А тут как-то в выходные с самого раннего утра – звонок в дверь. Открываю – стоит Лидия Марковна, она у нас вроде как комиссар во дворе: всё про всех знает, за всем следит и всё контролирует. Она майор милиции в отставке, была председателем комиссии по делам несовершеннолетних когда-то, а потому мы стараемся её слушаться.

– Можно, – говорит, – пройти?

– Проходите, – отвечаю я ей.

Садится она в прихожей на табуретку и с ходу, без предисловий, начинает рассказывать:

– Сегодня ночью была свидетелем страшной картины! Вы ничего не видели и не слышали?

– Нет, – говорю, – а что случилось?

– А вот что! Стою я у себя на балконе уже в первом часу и курю. Я всегда выкуриваю сигаретку на ночь. И вижу я, как два мужика на багажнике вашей машины устраиваются распивать. Бутылочку поставили, стаканы из кармана вынули. Вы же ставите машину прямо под фонарём, так чтобы ночью было её хорошо видно. Но этим двоим сегодняшним ночным тоже, видимо, захотелось под фонарём, чтобы всё было видно! Я думаю: кому звонить вам или моим в милицию? И тут – что я вижу: у вас на кухне окно открывается, и из окна мужик здоровенный, бородатый, глаза огнём горят, руки он свои лопатами выставил, а потом как гаркнет в мегафон на этих двоих, они и бросились со всех ног со двора. Даже вороны на берёзах проснулись и разлетелись все. Вот давайте выйдем вместе на улицу, к машине, – я покажу вам: там, на багажнике все остатки ихней ночной гулянки, которую они недогуляли. Только что я к вам пришла-то: что за мужик у вас ночью на кухне сидел? Не родственник ваш? Страшный такой да сердитый! И я же видела: глаза у него сначала точечками засветились, а потом вообще как фары галогенные самые яркие, как прожектора!

– Да, был у меня гость вчера, – отвечаю я Лидии Марковне, чтобы как-то замять разговор, а сам думаю: «А не сошла ли она с ума? О каком мужике она говорит?» – и пойдёмте вместе во двор, посмотрим на машину.

Говорю я, а сам думаю, как бы выпроводить её побыстрее, но чувствую, что ей хочется ещё и на кухне побывать, посмотреть: а не проживает ли там бородатый и здоровенный мужик.

– Лидия Марковна, – говорю я ей, чтобы успокоить, – зайдите на кухню, посидите минутку, пока я пиджак и ботинки нацеплю на себя.

Она зашла на кухню, всё быстренько осмотрела и тут же выпорхнула назад в прихожую. На нашего Кузьку-до-

можила, который, как всегда, сидел на подоконнике, поглядывая во двор, она, конечно, внимания не обратила, а я к тому моменту стал сильно сомневаться в безумии Лидии Марковны. Спускаясь по лестнице из квартиры во двор, я уже начал подозревать в ночном происшествии нашего домовёнка, в том, что он действительно кого-то со двора прогнал ночью. И в том, что наша добровольно-дворовая комендантша приходила к нам в квартиру, чтобы убедиться в нашей законопослушности и благонамеренности, не было ничего удивительного, потому что ночное происшествие она не выдумала.

Мой «Субару» стоял под окном, и на багажнике его были аккуратненько расставлены открытая бутылка виски «Джонни Уокер», два наполовину наполненных пластмассовых стаканчика и два помятых бутерброда с размазанными остатками красной икры. Лидия Марковна не соврала и не нафантазировала. Мои соображения о ночном происшествии в третий раз поменялись, и на этот раз кардинально. Я сунул бутылку в карман пиджака, выплеснул из стаканчиков жидкость и бросил бутерброды в кусты – собаки или птицы съедят.

– Лидия Марковна, большое спасибо за бдительность, – обратился я к нашей соседке по двору и пожал её руку.

– Да ничего, работа у меня такая, общественная, – ответила Лидия Марковна.

А сам я пошел в угловой магазин «Спар», чтобы купить мороженое. Мы-то с супругой мороженое не очень, а вот домовёнок мой – не знаю. Но внимание всегда приятно. Супруга по-прежнему спала, а я прошел на кухню и поставил брикет с угощением на подоконник рядом с Кузькой. Знаете, что я заметил: рядом с ним лежал треснутый детский старинный пластмассовый мегафон, который работает от специальных батареек, которых давно уже нет в продаже, и сам мегафон этот игрушечный непонятно откуда взялся – дети-то уже давно выросли, хотя помню, что я его покупал лет двадцать назад. Мне стало понятно, как домовенок наш Кузька сумел громовым, на весь двор, голосом разогнать отдыхавших ночью мужиков.

ШИШОК

Когда я был маленький, мы каждое лето ездили в деревню на дачу.

Мама в конце апреля со своими подругами, тётёй Ниной и с тётёй Тасей, а может, когда и ещё с кем-то, ехали в одну из пригородных так называемых дачных деревень снимать дом на лето; это могла быть и Киселиха, и затон Калинина, и Татинец. Снималась часть жилого дома или общественное строение вроде школы на два-три летних месяца с предоплатой, оговаривались и дополнительные условия, вроде ежедневной крынки настоящего, деревенского, коровьего молока и десятка яиц или возможности покататься на лодке.

Но самое главное, что ехали в одну точку несколько знакомых между собой семей, чтобы было и дружно, и надёжно, и интересно совместно проводить время.

Ездили летом отдыхать и в Кулагино, и в Разливайку, но помню только названия такие, а где они, эти деревни, теперь уже и не знаю: начал как-то искать их на карте области и не нашел. А всё потому, что давно это было. Я ведь, как только из подросткового возраста в пацанский перешел, отстранился и от мамы, и от папы, и от семьи и пошел вразнос по своей самостоятельной жизни, позабыв и наплевав на детство. Только уже в пору зрелости, или точнее, наверное, старости, любопытно стало мне, а что же сделало-то меня таким, как я есть теперь, и хочется вспомнить, установить, уточнить все, что было со мной с самого детства.

Ну, и потом, ещё мнительность моя заставляет меня вспоминать всё это. Всякие там приметы, предчувствия,

условности, совпадения, вещие сны. А ведь за всеми этими потусторонними движениями мысли стоят нечистые силы разного рода; вот эти силы тоже двигают мной сейчас.

Легко людям ортодоксально верующим: у них всё по полочкам разложено и объяснено. Только ведь такая искренняя религиозность должна быть врождённой и даже наследственной. А когда татарин – бах! – и в иудаизм переходит, а православный ни с того ни с сего – в католичество, то тут не о религии стоит говорить, а о рассудочности или меркантильности такого поступка. А может – о болезни головного мозга.

Мама у меня учительницей была – отпуск большой, почти всё лето. Вот всё, да не всё! Потому в начале лета мы обычно ехали в деревню с бабушкой, а родители присоединялись к нам уже попозднее. И вот в тот год, о котором я сейчас вспоминаю, приехала мама к нам в деревню, когда у неё занятия в школе уже закончились, а у папы отпуск вообще ещё только в августе планировался. И что-то сразу же не понравилось маме в нашем отдыхе, и что-то стала она выговаривать нашей хозяйке, даже в дом не заходя. Как сейчас помню: соседку, а по совместительству и хозяйку нашу, звали тётя Паня. А жили мы тогда не в хозяйском доме, а каком-то вымороченном, но по наследству всё равно доставшемся этой родственнице-соседке.

Мама моя умела быть и очень простой, прямо девкой деревенской, а могла и очень строго поставить себя, просто царицей независимой – видимо, профессия учительская сделала её такой. Так вот, когда она простоту на себя накидывала, то звали её все Милочкой или Люсенькой, а в строгости – требовалось называть её только Людмилой Ивановной. И мама сама за этим очень внимательно следила и умело регулировала.

Как хозяйка, тётя Паня, от себя строгость мамину в тот год отвела, я точно помню.

Мама всегда особо обговаривала условия пользования баней, предварительно осмотрев её; какое-то значительное место она отводила этому пункту договора. По крайней мере, я точно помню, как она необычно изменилась и стала деликатной и стеснительной, только хозяйка заикнулась,

что надо пойти и посмотреть баню, которая стоит у неё в огороде на её соседнем участке.

– Хотя, – заметила тётя Паня маме, – есть ещё и баня, которая принадлежала когда-то хозяевам этого дома, который вы сейчас на лето снимаете. Только топится она по-черному, и стоит она на берегу ручья, и не пользовались ею уже года три, но её тоже можно сходить и посмотреть. Вон её видно на задах, за усадом.

Тут мама уже вообще расплылась и стала снова Люсенькой, а не Людмилой Ивановной, заявив, что умеет топить баню по-черному и хочет попользоваться ею. Зачем понадобилась маме та баня по-черному – не знаю, только пошли они для начала смотреть всё банное хозяйство к тёте Пани в огород.

Баня соседкина, вот она, за оградой, сразу видно, а та, что по-чёрному топить надо, про которую она заикнулась только что, её тоже видно: она вдали, метров за сто, маленькая, черная, приземистая, на берегу ручья местного стоит, который тут же впадает в речку Узолу. Сколько раз мы с Владькой мимо неё, бани этой, пробегали, когда купаться ходили. Владька – это маминой подруги, тёти Нины, сын, мой ровесник, мы с ним всё время вместе в деревне проводили. Хотя вот теперь, спустя столько лет, я и не знаю, как правильно его звали: то ли Владимир, то ли Владислав, то ли Вадим. Мама звала его Владиком, и я его звал просто Владькой.

На другой день ходили мы все вместе за земляникой, мама варенья наварила. Сходили за маслятами – тоже удачно. А где-то дня через три или четыре, а может, и через неделю мама решила исследовать ту баню, что по-черному.

Пошли с мамой и мы с Владькой – любопытно всё же. И, когда мама брала у соседки ключи от бани, та маме и говорит:

– Только учти, Людмила Ивановна, шишок местный очень сердитый. Повнимательней ты будь с ним. Но, если тебе всё понравится, скажи, и мой Николай воды туда вам натаскает из речки, и дров тоже, и натопит даже.

Николай – это сын соседки, мужик молодой, три года после армии как пришел. Он пусть и небольшого роста, но

крепкий и улыбчивый – всё смеялся, что пока ещё не всех девок в деревне перещупал, а потому ещё и не женится.

Мама у меня была очень красивая. И это не сугубо моё личное мнение, сыновнее, а вполне объективный факт: я видел, как посторонние мужики оглядываются и смотрят на неё, смотрят с восторгом и удивлением. Николай соседский тоже на маму с интересом посматривал, хотя и величал её по имени-отчеству.

– А что за шишок такой? – спрашивает у тети Пани мама.

– Ну, мы так по-местному банника зовём. Так вот банник, или шишок, у соседей моих в той бане старой был очень сердитый, старый и сердитый – помню я. Не знаю, как теперь, но ты будь поосторожнее.

– Хорошо, – отвечает мама, – с банником, или с шишком вашим, я сама договариваться буду.

Мне вроде бы интересно было, кто такой шишок или банник – я даже поинтересовался у мамы; вот теперь жалею, что надо было поподробнее. А я только спросил:

– Мам, а кто такой банник?

– Банник? А это дух такой, который следит за баней, чтобы порядок в ней был.

– И всё?

– Да вроде всё, – ответила мама, – только всё равно надо определённым образом уважать его, знаки внимания ему оказывать.

– А ты какие знаки будешь ему оказывать?

– Ну, во-первых, он грязь любит, а потому убираясь в бане, я оставляю ему под полком или в углу старые листья, облетевшие с веника, и остатки старой мочалки. И ещё я ему подарок приготовила: кусок земляничного мыла, я его тоже намочу и там, на полу, оставляю для него.

Подход к баньке весь крапивой, да полынью, да дикой малиной колючей зарос – чуть протоптались мы к двери. У входа куча булыжников навалена – может, для каменки, а может, ещё зачем-то. А в баньке и грязь, и темень, и паутины полно всякой, и тесно, чан железный в половину комнаты. Мы с Владькой убежали играть, а мама осталась убираться.

Вечером Николай соседский и воды, и дров натаскал. А топить баню, париться и мыться решено было на другой день. Троицу только что отметили – веники берёзовые, свежие прямо в перелеске мы с Владькой нарезали. Баню с утра мама натопила; как баню по-черному готовят, я тут расписывать не буду.

После обеда мыться пошли. Мама там действительно порядок навела: около баньки вместо завалинки оказалась лавка из еловой широченной плахи, на которой сидеть очень удобно. Ступеньки в баньку тоже оказались капитальные, из двух коротких, но массивных плах, укреплённых дикарем, так булыжники в деревне называют, которых в полях осталось со времен мирового ледника очень много. Траву с крапивой мама вокруг всю повыдрала, так что вид приличный образовался.

В бане нам с Владькой не понравилось: в предбаннике лампа керосиновая «летучая мышь» на столе, в парилке в углу бак с водой, которая кипит, жарко, сыро, грязно, глаза ест. Владька орать начал и плакать. В те времена в женские бани пускали мальчиков с мамами только до пяти лет – я помню. А мы с Владькой уже вроде как взрослые, во второй класс перешли. Мама с тётёй Ниной в рубашках ночных; нас намыли они, вытерли, трусики чистые надели и выпроводили на воздух. Разрешили нам сходить на речку искупаться, но мы не пошли. Сидим на лавке, что вдоль бани стоит. А тут идет Николай соседский и садится рядом с нами – вроде как поболтать.

Проходит какое-то время, и выходит из бани на свежий воздух моя мама. Она простынёй белой только прикрыта была, и то не полностью. Встала она, розовая, распаренная в двери в предбанник открытой, прямо богиня древнегреческая. А Николай сидит рядом с нами и смотрит на неё очумевший, и рот открыл.

Мама заметила его и говорит:

– Николай, а ты не ослепнешь? Вроде не мальчик – в женские бани-то заглядывать! У тебя столько девок по деревне, а ты! Смотри – моему баннику, или шишку по-вашему, не понравится это. Смотри, накажет он тебя. Твоя матушка говорила, что он очень сердитый и памятливым.

– Да как же не любоваться-то на вас, Людмила Ивановна, на красоту такую. А уж месть вашего банника я перетерплю как-нибудь, – отвечает Николай и лыбится притом просто нагло.

А мама взглянула на него так, как только она умеет на всех этих чужих мужиков смотреть.

Николай тут же встал, но как-то качнулся, запнулся за что-то или поскользнулся как-то и упал неудачно спиной, и рукой, а немного даже и головой прямо на груды булыжников, что кучей тут у завалинки навалены были. Встал он, кряхтя, и, согнувшись, пошел к себе в избу.

– Неудачно я прокаркала, и под руку, по-моему, – проговорила мама, чуть-чуть смутясь вроде, и прошла снова в баню.

Только это не весь рассказ. На другой день увезли Николая в областную больницу: повредил он серьезно себе позвоночник, упав на булыжники у этой старой бани. Тётя Паня рассказывала маме потом, что после больницы отправили его ещё в санаторий какой-то долечиваться. Так мы Николая и не увидели больше тем летом.

А через год мама сняла дачу в другой деревне. В ту, где мы в бане парились, она тоже заезжала по весне, но увидела на крылечке у тёти Пани сына её Николая и передумала. Николай сидел с костылями, борода жиденькая, в очках, сам на себя не похожий: так – старичок молоденький.

Вячеслав ОСОСКОВ

НА ЧЕРТОВОМ

По мутной глади тихого озера, медленно огибая «живые» острова, шла лодка. Острова представляли собой сплетение древесно-кустарниковой и травянистой растительности и в ветреную погоду курсировали от берега к берегу. Но сейчас мачты березок и ольхи не колыхались, а сами плавни, словно дрейфующие корабли, терпеливо ждали пока свежий, вешний ветерок волеет жизнь в их паруса. Еще скудноватая, незатейливая, но такая милая для oka охотника весенняя акварель красок разливалась вокруг упоительной палитрой. Высокое апрельское солнце купалось в бесконечно глубокой синеве, а его теплые лучи приятно щекотали лицо и играли в темной вешней воде ослепляя глаза. Налитая соком хвоя молодых сосен изумрудом горела на фоне еще серого просыпающегося леса. Среди береговой пожухлой травы уже проглядывали молодые ярко-зеленые стебельки. Где-то высоко тянули остатние стаи пролетных гусей, а с воды периодически поднимались потревоженные утки.

Митяй пробирался в свой шалаш, к дальнему заболоченному берегу, подальше от возможных конкурентов – до закрытия весенней охоты оставались последние выходные. Димка был городским охотником, подсадную держать было негде, а покупать – потом девать некуда, не в суп же помощницу! Поэтому некий компромисс был им найден – помимо небольшого сидора на дне лодки лежала

пара первоклассных чучалок, а в кармане охотничьей куртки ждал своего часа импортный утиный манок.

Лодка пересекла вереницу соединяющихся протоками озер и уперлась в прибрежные кочки, торчавшие из грязно-бурой торфяной жижи. Митяй расправил голенища забродников, аккуратно, меря глубину сапогом, вылез из лодки и зашагал к берегу, протаскивая свою резиновую посудину за веревку волоком. День загибал к обеду, и время до вечерки Димка посвятил приготовлению похлебки и всяким другим хозяйственным мелочам. Его радовало то, что в пределах видимости другие охотники не появились, и когда солнце уверенно покатилося вниз, Митяй бросил в прибрежные оконца воды чучела, а сам забрался в скрадок.

Теплый красно-желтый отсвет начинающейся вечерней зари играл в верхушках далекого старого леса, и как только солнце начало путаться в ещё голых ветвях березовой рощицы, Димка услышал первый свист тугих крыльев, рассекающих воздух. «Куак, куак, куак... Куак, куак... Та, тааа-та-та-та», – заработал манок. Но этих развернуть у Митяя не получилось. «Куак, куак, куак... Куак, куак... Та, тааа-та-та-та», – повторялись зовущие звуки. За лесом дал осадку конкурент, это была не дикуша, так как оттуда вскоре донеслись выстрелы. В той стороне находилось Чертово озеро. Отец Димке рассказывал про него – утки там много, но даже в августе туда хрен пролезешь, поэтому и название такое, а тут весной кто-то пробрался! Митяй примерно знал, где оно находится, все хотел на нем поохотиться, но до сих пор так и не попытался найти.

Ружье Митяя молчало, и лишь призывнее над озерной гладью разносились звуки его манка. Погас на верхушке вековой ёлки последний луч, огненное зарево медленно увядало за лесом. Мрак постепенно опускался на деревья, озеро и шалаш. Зажглись первые звезды – еще одна счастливая охотничья заря была позади. Димка вылез из скрадка и пошел разводить костер, чтобы погреться самому и подогреть похлебку. Привычно чиркнула спичка, свилась в тугую спираль растопочная береста. Ярko заиграли первые языки пламени, ночь насунулась на огонь, теснее сгрудились невидимые кусты и деревья вокруг костра.

Глубокая, спокойная и таинственная тишина опустилась на уснувшее озеро и лес. Митяй долго ещё сидел у благодатного огня, думая о своём – важном, вечном, настоящем. Спать он улегся уже глубокой ночью, прямо в шалаше...

Димку разбудил недалекий выстрел за лесом, он открыл глаза – было еще совсем темно. Митяй нащупал ружье и манок. «Куак, куак, куак... Куак, куак... Та, тааа-та-та-та», – запела искусственная мембрана – где-то совсем рядом справа в ответ шваркнул селезень, и послышались два шлепка приземляющихся на воду птиц. Димка всматривался во мрак, но пока ничего не мог разглядеть. «Куак, куак, куак...» – чуть тише сработал манок, и шагах в пятидесяти на темной воде появились два светлых, медленно приближающихся пятна. Митяй не дыша, высунул из бойницы стволы ружья, накрыл ими ближнего крякового и нажал на спуск. Первый селех кувыркнулся, а второй, возмущенно шарпя, свечой стал набирать высоту. Сидя стрелять из бойницы в поднимающуюся птицу было неудобно, и Митяй вскочил в полный рост, чтобы достать её вторым. Но прежде чем Димка поднял ружье, птица успела исчезнуть в сумерках рождающейся зари. Митяй нашел глазами битого селезня, выбрался из шалаша и, в азарте не замечая, что зачерпывает воду через загнутые голенища сапог, полез доставать трофей. Он весело шлепал, между кочек сжимая за шею неплохого крыжня. «Хороший у меня манок, рабочий», – подумал Димка, вернувшись в скрадок.

За лесом раздавалась осадка, уверенно манящая на разные лады. И снова прогремел выстрел. Как мастерски! «Двумя манками, наверное, работает», – отметил про себя Митяй и опять заработал своим, пытаясь подражать соседу.

Первый свет новой зари погасил звезды, утро, набирая силу, защебетало птичий гимн весне. Над шалашом ничтойкой протянула пара чирков. Сзади вдоль леса пролетел кряковой одиночка. Митяй не упустил возможности и, стараясь как можно правдоподобнее подражать, закричал в очередной раз. Селех сделал круг и пошел на снижение к шалашу, но, видимо, что-то заподозрив, не сел, а потянул дальше. Димка не выдержал, быстро встал в полный рост

и вскинул стволы в угон. После выстрела селезень, кувыркаясь через голову, плюхнулся в прибрежную рябь, нелепо распластавшись на воде. Митяй, уже не суетясь, сходил за лодкой и поднял с воды битую птицу. Он посмотрел на рассвет, в щеки лучом ему брызнуло озорное солнце. Вот и еще одна зорька наша! Ну, пора и честь знать. Димка выбрался на берег, повесил селезней на куст и пошел кипятить чай...

Димка сидел на сухой валежине, мечтал о чём-то своём, светлом и прихлёбывал из кружки терпкий, ароматный чай, когда позади вдруг послышался шорох. Митяй вздрогнул, чуть не пролив кипяток на себя, и обернулся. Из леса, с ружьем на плече и корзинкой в руках, бесшумно вышел дед. Митяй понял, что это его нынешний сосед.

– Здорово, паря! А я все думаю – кто тут брякат-крякат? Ну, как дела?

– Да, нормально, – ответил Димка, кивая на подвешенную на куст пару изумрудоголовых селезней.

– Ааа... Добре, добре! Манок уж у тебя только больно противный, – улыбнулся старик, прищурившись, отчего морщинки от краёв глаз тоненькими лучиками брызнули к вискам.

– Ну, уж какой есть, работает нормально...

Дед присел рядом, огладил узловатой рукой седую бороду, хитро улыбнулся и достал из корзинки подсадную. Он бережно погладил её, как гладит охотник свою верную собаку, которая много раз радовала своего хозяина хорошей работой.

– Мотри, какá красавица!

Утка смиренно сидела на коленях, привычная к загрузевшим мозолистым рукам, и, будто понимая, что её хвалят, до смешного важно вытягивала шею и прикрывала глаза. На зеркальцах крыльев играло солнце, переливаясь золотыми оттенками.

– Да, красота-а-а...

Митяй завороченно, не отрываясь, смотрел на утку, восхищаясь совершенными формами пичуги, дикой окраской её оперения... Несомненно, эта подсадная, смиренно сидящая на коленях у человека, была маленькой частичкой

Великой природы, неотъемлемой частью раскинувшегося перед глазами пейзажа!

– То-то от... А что твоя свистулька-бирюлька? Ни красы, ни души... Как энтих-то добыл, – дед кивнул на селезней, – не вразумею. Аль повезло? – Он опять прищурился и посмотрел голубыми, выцветшими, словно июльское небо, глазами на Димку.

– Может, и повезло... А может, и нет. Нужно, дед, ма- нить уметь, и будет тебе фарт. Сам-то много ли добыл? – сам себе удивляясь, с вызовом спросил Митяй.

– Да ты, паря, не кипятись, не серчай на меня, старо- го. Мож, и правду разговор-от не с того начал. Извиняй, коль обидел. Я это... вот чо... – Дед, опустив голову, как-то смущённо осёкся, а затем, тряхнув бородой, с жаром заго- ворил: – А хошь с моей утей поохотить? Не утка – истая клювопатра! Всех кавалеров созовёт окрест! Отведёшь ду- шеньку-то, полюбуешься утицей моей, Люськой-то! А?..

Димка смутился, и ему стало неловко за свои слова, за свой вызов, перед этим старым охотником. Мальчишка! Ну что уж такого сказал ему дед? Митяй хотел сегодня ехать в город, но неудобно было ответить отказом деду... Димка чувствовал перед ним свою вину, да и поохотиться с подсадной было интересно.

– Ну так чо? Согласный, аль как?

Димка посмотрел на деда, кивнул утвердительно и улыбнулся. Ему показалось, что у старого охотника слов- но гора с плеч упала. Он как-то весь распрямился, сбросив с себя напряжение ожидания его, Димкиного ответа. Такое же чувство охватило вдруг и Митяя. От размолвки, прои- зошедшей меж двумя охотниками, не осталось и следа.

Дед, посадив утку обратно в корзину, встал, одёрнул ру- ками полы обрезанной, прожжённой в нескольких местах, солдатской шинели, наверное, ещё времён войны, закинул за спину курковку и махнул Димке:

– Айда, паря, за мной. На мой балаган пойдём. Ща ко- стерок разожжём, ушицу сварим, пожуём малёха, всё ве- селей будя! Давеча пара шурыт в сетчонку влетела.

Димка быстро собрал свои нехитрые пожитки, оглядел место стоянки, не забыл ли чего, и зашагал за дедом... Они

миновали широкую полосу мелколесья, перевалили через можжевелевую гриву и вышли к болоту. Топкое в любое время года, и как говорил Димкин отец, непроходимое, сейчас оно представляло собой сплошную водную гладь с торчащими то тут, то там из воды, чахлыми сосенками. Дед достал из армейского вещмешка топор, одним ударом вырубил длинную слегу и вручил Митяю.

– На вот. Мотри только, паря, за мною шагай. И не приведи тя господь в сторону куды! Потопнешь! Здеся стара гать проложена под водою. Мало хто знал. Только наши, деревенские. А нонче уж, поди, я один остался, хто дорогу туды, – дед указал кривым пальцем в сторону Чёртового озера, – знат!

Старик подхватил свой шест, воткнутый на краю болота, который Митяй принял сначала за тонкое деревце, и уверенно шагнул в топь.

Димка внимательно смотрел, куда старый охотник ставит каждый раз ногу, и старался не отставать. Ну куда там! Дед как-то легко, по-кошачьи, и настолько быстро двигался по болоту, что у Митяя, поспешавшего за ним, сбивалось дыхание, а лоб покрылся испариной! «Во дед даёт! Как молодой чешет! Сколько же ему, интересно лет? Уж всяко поболее шестидесяти! И ещё, поди, столько же проживёт! Во какой раньше народ был крепкий! Не то что сейчас».

Всё же благополучно миновав гиблое место, охотники ступили на земную твердь. Митяй тяжело дышал, а дед даже и не запыхался. Лишь искоса, с хитринкой поглядывал на Димку, будто не замечая его усталости, и улыбался в свою густую белую бороду. Ну вылитый старичок-лесовичок из сказок!

– Ну, дедушка, загнал ты меня! Как лось по болоту, шась-шась, только брызги в стороны! А сколько же вам лет, интересно?

– Да хто ж знат-то? По пачпорту дак семьсят чатыре, но отец, царствие ему небесно, сказывал, что пачпортистка-то ошиблась, али ещё какá оказия стряслась, и год рожденья-то мой неправильно вписала. Наверно, поболее мне, а сколь на самом-то деле, не ведаю! Вот так от, паря.

Митяй слушал деда, и думал: «Какой же крепкий старик! Не-е, в наше время до такого возраста и дожить-то не доживёшь, а он вот по болотам бегают, охотится! Значит, и глаз ещё зорек! И рука тверда. Вон как слегу вырубал! Одним ударом!».

Пройдя совсем немного по лесу, охотники вышли на берег большого озера. Вода в нём была чёрной, как дёготь. На многочисленных, гиблых сплавинах белели фигурки чаек, из воды повсюду торчали уродливые пни и причудливо вывернутые коряжины. Отжившие свой век деревья лежали у берега, выставив из воды свои корявые ветви-щупальца. Стайка каких-то нырковых уток, отдыхая, дрейфовала по ветру вдоль большого, поросшего высоким лесом острова. Тихо шептал на ветру камыш, и гнусаво кричала в зарослях прибрежного ивняка невидимая болотная птица.

Балаган располагался недалеко от воды. Шагах в ста, на берегу небольшой бухточки, темнел дедов шалаш. Охотники, сбросив поклажу, раздули чуть тлеющие угли, и скоро костёр затрещал, облизывая хищными языками пламени еловые полешки.

– Сосну надо бы. Не так стрелят. Да где её взять-то? Низина... – сказал дед, ставя на огонь закопчённый, выдавший виды котелок. – Давай-ка, паря, сходи ещё за дровами. Боюсь, не хватит... Вон там, – дед махнул рукой в сторону излучины, – за поворотом, несколько деревьев подмытых лежат. С их и бери! Разберёшься!

Митяй, прихватив топор и верёвку, двинул вдоль воды по хрустящему ракушками песку. Впереди с тревожными криками то и дело с отдели слетали различные кулички. Они подпускали Димку почти вплотную и вновь, едва не касаясь острыми крыльями песка, устремлялись вдоль берега.

Нарубив целую вязанку дров, Митяй возвратился к костру. Дед, помешивая ложкой в котле, жмурил глаза от едкого дыма и с кем-то разговаривал. Только тут Димка увидел дедову Люську, привязанную у небольшой лужицы. Утка хорохорилась, приводя в порядок оперение, и как-то нежно поквохтывала, словно что-то отвечая деду! Митяй

усмехнулся и свалил вязанку под навес, сделанный из ку-ска почти добела выгоревшего на солнце брезента.

– Пушай покормится, прихорошится, водицы попьёт! В вечер ей работать ешо! – сказал дед. – От посмотри на её! С виду утка как утка. Каких в каждом дворе, коль охотники есть, полно. Ан нет! Вишь, головка словно точёна, клювик не длинён, лобик крут, через глаз проточинка чёрна имеется. А тело, тело-то само вишь како?

Димка посмотрел: тело как тело. Утиное. Спереди голова, сзади хвост. Он пожал плечами.

– И-изх-ха! Неужто, паря, не вишь? Тело-то длиннó. У дикары не тако! А знашь почему? Это утка самой что ни на есть настоящей, нашей, семёновской породы! Мой прадед занимался, дед, потом отец разводил. Сейчас вот я... – Охотник задумался, и посмотрев куда-то вдаль, тихо молвил: – А уж опосля меня некому буде... Сын не охотник, в Петербурге живёт... Редко топерь видимся-то... Ну да ладно, давай исти-то! Пospела ушица! Запах-то, запах какой, а!

Старик налил по тарелкам юшки, а рыбу вывалил на свежерубленный еловый лапник.

– Ну, не грех нам топерь под таку ушицу и по маненьку усугубить!

Уха на свежем воздухе была действительно умопомрачительной! Они положили по второй тарелке, и дед, разливая остатки из бутылки, продолжал:

– Знаешь, паря, уток своих я всю жисть в чистоте держу. И отец с дедами следили за тем. Абы с кем, а особливо с дикарём, не сводили. Иначе всю нашу семёновску породу, почитай лучшу, известь недолго. Потом уж не поправишь! Может, кому, потомкам нашим, опосля нас, пригодится ешо! А ты ешь, ешь! В городе небось, ни в одном ресторане тако объеденье не отведашь!

Димка наворачивал за обе щёки. Аппетит был зверским! А дед меж тем продолжал:

– Сама лучша охота – это не щас! С прилёту мы всю жисть охотимся. Стало быть, по нонешним временам в браконьерах числимся. А посуди, како это тако браконьерство, коли утка с прилёту без яйца по разливам обретатся?

Это потом уже, как начальники ваши городски охоту открывают, утица уж гнездо мастерит да кладку делат! Да и другú птаху малу в это время тревожить негоже, по весям шарахаться да в белый свет палить! Вот де браконьерство-то. А селезень первый, видал, какой прёт? Северный-то крякаш? Не, не видал? А разница-то с нашим, местовым, имецца! Наш што? Селезень и селезень... А тот, пролётный, крупней намно-о-ого, да тяжемше нашего-то! И никогда худ не бывает, жирён, как осенью. А уж как шарпнет! Что ты! Крах! Шарп-от от него другой, густой, спокойный. Да и сам он, утёнок-то, не боязливый. Прилежно идёт к подсадной-то, с шарпением постоянно, успокаивает её, стало быть. Коль подсадная правильная, редкосадая, не горлопанит бестолку на дроздов да чаек, да с «приговором», вон как Люська моя, то, бывает, и свою подружку бросит! Шо, не веришь?! Та квачит недовольно: «Мол, куды ты, кобель?» Он уж заменяжуется было и в обратку... А подсадная в это время как начнёт приговаривать, да головой в сторону кивать и боком, боком, к ему подкатывать! Тут уж всё, сгорел селезнёк-любовничек! Распушится весь, гребень подымет, на воде привстаёт, шею тянет, свистит. Бывает, и водой из клюва брызжет – вот, мол, как я умею! Любуйся! А опытна подсадная-то зыркнет карим глазом своим на шалашку, смекнёт, что шас стрел будет, и в сторону, в сторону отплывает... Всё она понимает, подсадная-то... Почитай, с утицей подсадной сама лучша охота и есть! Здесь вся природа на виду: и лес, и вода, и небо... А пичуг разных, что весне радуются, ты, паря, столько ни на одной охоте не встретишь! Взять хоть на токах, хоть на тяге. Все весной к воде жмутся, радуются, стало быть, весне! А почему? Потому что весна начинацца с воды. Без её весны не бывает! Вода – это само главное творение божье в природе и жизни нашей, человечьей. Без воды ни одна тварь, богом созданная, не выживет! Во как! Вразумеешь? Митяй кивнул.

Долго сидели охотники на берегу озера, беседа под звуки птичьих голосов об охоте, природе и жизни. Много поведаль Митяю дед о премудростях охоты с подсадной уткой. Апрельский день как-то незаметно иссяк, и солнце

скатилось за лес, выпуская в прогалы между потемневшими сразу деревьями, золотые лучи-стрелы...

– Ну ладно паря, добре! Посидели, потравили, и будя! Пора тебе. Заря уж недолго, как займётся. Люська вон заждалась, истосковалась!

Старый охотник поднялся и принёс из-под навеса кружок.

– На-ка! Как, чё, ты топерича не хуже меня знашь! – Старик улыбнулся своей хитрой улыбкой. – Мотри, только, дикарю Люську не давай! Если близко сел, али в темени не вишь не зги, свистани, чтобы слетел. Не проворонь!

Дед бережно принёс под мышкой Люську и передал Митяю.

– Ну, ладно, с богом! А ты опосля зари-то ночуй прям в шалашке. Там у меня перина знатна, духмяна: лапник да сенцо! И одеялка имецца. Но коли спать буш, так Люську-то сыми, не забудь. А в темноту опять высадишь. Мож, помочь тебе, щас-то управиться?

Но Димка отрицательно покачал головой: «Разберусь!» – и зашагал к шалашу. Едва Люська оказалась на воде и Митяй юркнул в тёмное нутро шалаша, как утка разразилась осадкой: «Та-а-а, та-та-та!» И тут же послышалось мягкое шарпенье селезня. Димка переломил ружьё, вставляя патроны. Над шалашом просвистели крылья, и всё смолкло. «Не наш, – подумал Митяй. – Видать, меня увидел, как я в шалаш забираюсь! Ну и к лучшему! Иначе уж больно просто!»

Люська плескалась в воде, хлопала крыльями, разбрасывая веер брызг, изредка отрывисто побрякивая. Завершив свой моцион, она приподнялась на лапах и с силой замахала крыльями, шумно взбурлила воду. Затем отрянувшись, выбралась на кружок и принялась охорашиваться, временами кося глазом в небо. В затопленных кустах ивняка глухо прокричала выпь. Со стрёкотом и каким-то визгом, вдоль берега перелетали дрозды, но утка не обращала на них никакого внимания. Митяй полулежал на сене, а в небольшое окошечко, которое заплетал паутиной маленький паучок, ему открывалась крохотная частичка ещё светлого неба с маленьким облачком и летящей вереницей

гусей... «Так мало, но какая красота!» – подумал охотник и подскочил как ужаленный от заркой Люськиной осадки.

Пара кряковых, выставив ярко-оранжевые лапы и словно на лыжах проехав по водной глади, с шумом села недалеко от подсадной. Селезень, вытянув шею и шарпя, с остановками, как-то боком, начал приближаться к Люське. А та не унималась, подавая одну осадку за другой... Митяй чуть высунул стволы ружья в бойницу и снял предохранитель. То ли селезень что-то услышал, то ли заподозрил чего, но сразу остановился и завертелся на месте, готовый слететь. Его подружка, как ни в чём не бывало, щелокчила клювом воду, и изумрудоголовый успокоился. Раздался выстрел, утка с тревожным кряканьем шумно поднялась в воздух, а селезень вытянулся на воде, захлопав острым крылом с белым подбоем. Люська, бросив мимолётный взгляд на обманутого кавалера и чуть отплыв в противоположную сторону, начала квачить: «Куу-ак, куу-ак, куу-ак...»

Димка переломил двустволку, вынул гильзу и продул ствол. Он с наслаждением, глубоко вдохнул кислый запах сгоревшего «Сокола» и вставил новый патрон, защёлкнув замок. Этот неповторимый, умопомрачительный и такой знакомый, родной запах, унёс на мгновение Митяя в детство. Туда, в тёплый день золотой осени, где в камышах, посреди болота, его отец переламывает после выстрела вот эту же двустволку, а он, Димка, жадно, с завистью и счастьем вдыхает струйку порохового дыма...

К действительности Митяя вернули громкие трубные звуки. Они неслись с неба, словно там кто-то играл на большой серебряной трубе. Охотник взглянул в окошечко и увидел лебедей. Их оперение казалось розовым. Заря отражалась на могучих их телах, на сильных, огромных крыльях, с шумом рассекавших весенний воздух над Чёртовым озером. Кликуны, торопясь, летели на север, в край незаходящего за горизонт солнца, бескрайних тундр и тысяч озёр...

А Люська тем временем выдала такую осадку, что, казалось, заглушила все звуки вокруг. Кряковой, без облёта, шлёпнулся в таловый куст и замер там, словно его и не

было! На все Люськины увещевания, уговоры и «приговоры» он никак не реагировал. Димка всматривался до боли в глазах, но за переплетением ветвей селезня не видел. Наконец, спустя долгое время, с края куста произошло движение, и Митяй увидел голову селезня. Сам же он оставался вне видимости. «Ну! Выплывай же, выплывай!» – просил селезня Димка, но тот оставался совершенно неподвижным. Охотник тщательно прицелился в голову... «Нет, далеко! Очень далеко...» Подсадная лезла из кожи вон, но тщетно. Сколько бы продолжалась эта игра в гляделки, неизвестно. Уже начало смеркаться, и кряковой едва слышно взлетел. Он облетел шалаш стороной, пролетел за него, и всё закончилось... Митяй вглядывался в бойницы, но селезня в пределах видимости нигде не было, а вот Люська... Та по-прежнему не унималась. Димка уже начал привыкать к сложившейся ситуации, как над шалашом прошумело, и селезень упал чуть не на подсадную! Люська дёрнулась в сторону, а Димка громко свистнул. Селезень моментально, свечой стал подниматься вверх, но выстрел оборвал его полёт... Словно переломившись в воздухе, выгнув шею, изумрудоголовый шлёпнулся в воду, подняв облако брызг.

Охотник вылез из шалаша, снял подсадную, погладил, поблагодарил Люську и аккуратно посадил в корзину. Затем вернулся за добычей. Тяжёлые крякаши ощутимо оттягивали руку. «Хороши красавцы!» – улыбнулся Митяй. Он постоял ещё немного на берегу, вслушиваясь в весенние звуки под куполом тёмного неба, на котором уже зажглись звёзды, и нырнул в уютный дедов шалаш. Засыпал Димка под свист крыльев спешащих к северу утиных стай...

Проснулся охотник ещё затемно. Рассвет едва обозначился на востоке белёсой полоской неба и поблекнувшими звёздами. Люськин силуэт чуть угадывался на тёмной воде. Утка, сидя на кружке, побрякивала, обозначая своё местонахождение. В тишине слышалось журчание ручьёв, какие-то неясные вздохи, стоны. Монотонно гудел в чаще мохноногий сыч, в талах погоньш бесконечным свистом погонял своё невидимое стадо да в шалаше, где-то под сеном сена, возилась мышь. Но вот чуть развиднелось,

и на болоте журавли протрубили зарю. Зарождалось новое утро. Димка вдруг с грустью осознал, что это его последний охотничий рассвет в эту весну. Охота заканчивалась, а значит, и весна для Митяя прошла, пролетела незаметно, на едином вздохе...

«Та-а-а, та-та-та-та», – приняла Люська, и над самой водой вихрем пронеслись чирята, стремительно развернулись, присели за подсадной, завозились, гоняясь друг за другом. «Туу-ту!» – пискляво крикнула чирковая уточка. «Трюк, трюк», – нежно просвистел в ответ селезеньчик. Чирки бесшумно вспорхнули и умчались в сторону топкого высокого кочкарника.

Три раза за утро к Люське подсаживались кавалеры, но Митяй свистом вспугивал их. Добычи было больше чем достаточно, а лишнего было не надо. Димка просто сидел в дедовом шалаше, созерцая красоту апрельского утра и любуясь Люськиной безукоризненной работой. После очередной осадки подсела пара широконосок – вестников конца весеннего пролёта. Димка знал, что плутни прилетают последними, и ни разу в жизни не добывал самого красивого селезня из всего утиного племени – обычно охота заканчивалась раньше их прилёта. Тут же Митяю предоставилась возможность. Когда расписной, квохчущий и забавно трясуший головой селезень отдалился от своей уточки, Димка выстрелил...

Дед встретил его на балагане. Чай был уже заварен и даже разлит по кружкам. «На-ко, попей чаёчку-то! Токма вот заварил брусничным листом. Видал, видал, как вы с Люськой-то управлялись! Знатны охотники, ничё не скажешь! Шо есть, то есть!» После чаепития Митяй начал собираться. Жаль, очень жаль, было расставаться с дедом, с Люськой, с весной... Но... ничего не поделать, рано или поздно всё заканчивается. И хорошее, и плохое. Димка видел, что и деда одолевают такие же чувства...

– Знашь что, милоч? Ты ведь щас через озёра, к деревне?

– Да.

– Ну, вишь, знать, тебя мне сам бог послал! На-ка вот! – старик протянул Митяю грубый суконный мешок. – Второй дом от озера слева мой будет. Будь добр, передай ста-

рухе – пушай готовит, и скажи ей, шоб не волновалась, я еще на вечерку останусь... Урву уж последню зорьку! Да, и на следующий год захаживай, дам тебе уточку напрокат.

– Дожить до следующего года еще надо!

– Как не дожить? Не можно так! Заходи.

– Посмотрим... До свидания!

– Давай паря, извини, что не так!

Старик проводил Димку обратно через болото, и охотники распрощались, крепко пожав друг другу руки.

– Ну, прощай! – сказал дед. – А весною свидимся! Не забудь, паря!

Он повернулся и зашагал прочь. Димка смотрел ему вслед, сердце его отчего-то учащённо билось, а на душе было пусто и горько. Митяй заглянул в дедов тюк. Судя по весу и на глазок, в нем было с десяток селезней. Он положил его на дно лодки, потом закинул свой нетяжелый скарб, взял пэвэхашку за веревку и потащил к воде. Лодка прошла вереницу озер и причалила к песчаному берегу на краю небольшой деревушки. Митяй быстро нашел дом старика, передал старухе мешок и то, что дед будет вечером. Он глянул на часы, обрадовался, что успевает на десятичасовую электричку, и весело зашагал к станции.

Распахнуло объятя, ворвалось беспечными студенческими днями и пронеслось сочное зеленое лето, заблестел лес червонным золотом, отгремели осенние охоты. Укрыла зима белым ковром землю, замолчала вода подо льдом. Наступило долгое томительное глухозимье, в которое Димка в лес так и не выбрался. С апрелем, птичьей суетой вернулась весна, проталинами прошла по полям, отворила реки, скинула оковы с озер, мутной водой напоила овраги. До открытия охоты оставалось совсем ничего. Слишком короток срок вешнего охотничьего счастья, многое хотелось успеть, не упустить. Перед Митяем вставали два вечных, трудно решаемых вопроса: куда и на кого? Знакомые звали в компанию за гусями, сам он мечтал о завораживающих реликтовым пением глухариных токах. А может, посетить тетеревиные игрища и полюбоваться полетом тянущего в лучах заходящего солнца вальдшнепа?

В один из вечеров Димка перебирал свою охотничью амуницию, и на глаза ему попала красивая коробочка с надписью USA, в которой лежал его прошлогодний утиный манок. «А что если действительно к деду рвануть, на Чертово?» Митяй закрыл глаза, и в памяти возникли эпизоды минувшей охоты: гиблое болото, бездонное озеро с темной водой, причудливые коряжки, торчащие вдоль заросшего берега, вкуснейшая уха под чарку горькой, хитро улыбающийся старик, страстно манящая подсадная и бьющий крылом весенний красавец-селезень. Димка колебался недолго. Он засунул пресловутую коробку подальше в кладовку, чтобы не искушала, и, довольный, стал планировать приближающийся охотничий праздник весны.

За день перед открытием Митяй выдвинулся с утра, чтобы застать старика дома наверняка. Он вышел на станции и припеваючи зашагал к дому деда. Сапоги весело чвакали по раскисшей колее и, казалось, сами несли Митяя мимо деревенских изб, которые, как стайка нахохлившихся воробьев на ветке, грелись в лучах вешнего солнца. Дом старика Митяй нашел сразу, калитка была не заперта. Димка поднялся на крыльцо и постучал. Дверь ему открыла сгорбленная бабка в засаленном фартуке.

— А мне бы... деда. — Митяй только сейчас поймал себя на мысли, что не знает, как его зовут, и от этого ему стало неловко.

— Нет его, сына...

— А когда будет?

— Совсем нет, милый... Схоронили месяц назад...

Митяй опешил: «Деда нет! Как?!» Старик виделся Димке таким бодрым, энергичным и полным жизненных сил, казалось, он ещё лет сто проживет... Нет человека, его единомышленника, его друга! Как мало они успели вместе... Что теперь?.. Куда?.. Назад?.. Домой?.. Митяй растерянно помялся, не зная, что сказать.

— Извините... — Ошарашенный услышанным, он придерживаясь за перильце спустился с крыльца, запинаясь вышел за двор и поплелся по проулку, сам пока не зная куда.

Еще скудноватая, незатейливая, но такая милая для oka охотника весенняя акварель красок разливалась вокруг

упоительной палитрой. Высокое апрельское солнце купалось в бесконечно глубокой синеве, а его теплые лучики приятно щекотали лицо и играли в темных вешних лужах, слепя глаза. Где-то в вышине косяками дружно тянули стаи пролетных гусей, на озерах резвились утки.

Митяй ничего этого не замечал. Его ноги волочились по обочине разбитой деревенской дороги, мысли беспомощно путались, глаза подернула влажная поволока, сердце от нахлынувшей тоски сжималось в груди, а к горлу подкатил тугой комок, который Димка никак не мог сглотнуть...

– Эй, парень, обожди-ка!

Митяй обернулся и увидел всю ту же сгорбленную бабку, семенящую за ним в старых галошах, с корзинкой в руках.

– Ты не на охоту ли?

– Да...

– Он говорил, что придешь, – старуха протянула Митяю кошелку. – На-ка вот Люську – дедова любимица. Велел тебе передать. Только верни опосля...

Иван КАТКОВ

Дзержинск

ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ

– Ну вот, опять сорвалась. Пап, а че у меня срывается постоянно?!

– Потому, Паш, что ты не так подсекаешь. Гляди, как надо.

Виктор Олегович взял из рук сына бамбуковую удочку, насадил извивающегося червя на крючок и, размахнувшись, забросил. Ярко-красный поплавок плюхнулся в воду.

– Вот так. А теперь ждем.

Павел достал из пакета батон и отломил добрый кусок. Отец не сводил глаз с поплавка. Перекусив, мальчик присел на корточки и стал разглядывать консервную банку с наживкой.

Виктор Олегович закрепил удочку на рогатине и поднял пакет с хлебом:

– Сейчас прикормлю.

Он отщипнул от батона и размашисто, точно библейский сеятель, побросал крошки в воду.

Снял с рогатины удочку и приспустил леску.

Неторопливо двинулся вдоль берега, увлекаемый, скользящим по водной глади поплавком. Паша устремился за отцом. Под ногами затрещали сухие ветки.

– Паш, ну ты как слон, ей богу! Всю рыбу распугаешь, – погрозил пальцем Виктор Олегович.

– Я не нарочно, – обиделся Паша.

Они медленно двигались, стараясь не наступать на сучковатые ветки и пластиковые бутылки.

– Весь пляж загадили! – покачал головой отец.

Паша молча брел следом.

– Да что же это такое! – возмутился Виктор Олегович, едва не споткнувшись о гнилую корягу. – Безобразие!

– Пап, может, червяк соскочил?

– Не может.

– А ты проверь.

– Уймись.

– Пап, так можно долго бродить.

– Помолчи.

– Я есть хочу. Сегодня нет клева. Пойдем домой?

– Ну что ты как маленький! Потерпеть не можешь полчаса? – начал злиться отец.

– Может, стоит перебросить?

– Может, и стоит, а может, и не стоит... замолчи и иди спокойно.

Вдруг леска дрогнула, натянулась, и поплавок нырнул вглубь.

– Смотри, Паш, как я ее щас! – с азартом прокричал отец и, подсекая, вытянул довольно крупного окуня.

Рыба отчаянно билась в его руках.

– Какой здоровый окунище! – рассмеялся Виктор Олегович. – А ну, Пашка, забрось-ка его в садок.

Сын так и сделал.

– Ну что, понял, как подсекать? – ласково потрепал его за щеку отец. – А то заладил: «не умею да не умею». На вот, держи удочку, насади червя и забрось еще раз как следует.

Паша тоскливо посмотрел на отца:

– Пап, а может, ну ее, эту рыбалку. Пошли домой. Бабушка уже, наверное, пирог испекла.

– Ладно, уговорил. Домой так домой, – махнул рукой Виктор Олегович и принялся складывать удочку, – а я-то думал, что тебе будет приятно в свой день рождения поймать какую-нибудь рыбешку, а ты... эх.

Отец вручил Паше садок:

– На, держи крепче, нытик.

Они поднялись по песчаному склону и вышли на проселочную дорогу. Паша, размахивая садком, еле поспевал за отцом. Из-за фермы шумно вырулил желтый молоковоз. Отец вытянул руку. Машина затормозила, подняв облако пыли. Паша закашлял. Из кабины высунулся усатый мужчина в грязно-белой панаме.

– Вам куда? – прикурил шофер.

– До Звягинцева подбросишь? – спросил Виктор Олегович.

– Прыгайте.

Молоковоз дернулся и резко тронулся. В кабине пахло табаком и соляжкой. Мухи бились о лобовое стекло. Из-под сиденья вывалилась монтажка и больно врезалась в ногу Виктора Олеговича.

– Да забрось ты ее обратно, – шофер выпустил носом табачный дым.

Виктор Олегович наклонился и кинул монтажу под сиденье. Водитель докурил, швырнул окуроч в окно.

– Ну че, мужики, клюет рыбешка-то?

Виктор Олегович поднял садок.

– Да-а-а, не густо, – криво улыбнулся шофер и кивнул в сторону мальчика:

– Сын?

– Угу.

– Звать как?

– Павлом.

– А годков сколько?

– Девять, сегодня исполнилось, – сказал отец и приобрел сына.

Паша дернул плечом, покраснел и уставился в окно.

– Да ну? Серьезно? Ну тогда с праздничком тебя, малец! – дружелюбно подмигнул шофер.

– Спасибо, – пробубнил Паша.

За окном сменяли друг друга пейзажи. Молоковоз промчался мимо затона, Тихого озера, оставил позади полуразрушенную фабрику.

Пожав руку шоферу, рыбаки выбрались из машины и зашагали к дому. В палисаднике развешивала белье Нина Семеновна.

– О-о-о-о! Пришли рыболовы! – всплеснула она руками. – Ну, как порыбачили?

Виктор Олегович обнял жену:

– Ты посмотри, Нинуль, какого окуня наш именинник поймал!

– Батюшки! Какой молодец! Иди, мой дорогой, я тебя чмокну.

Мать наклонилась и поцеловала Пашу в щеку. Он утер лицо ладонью.

– Ну что, Павел Викторыч, – шутливо сказала мама, – завялим твоего окуня?

– Неа, – мотнул головой Паша, – лучше зажарим.

Виктор Олегович направился к сараю убрать снасти.

– Хо-ро-шо, – Нина Семеновна расправила на веревке розовую наволочку, – а ты, сынок, беги в дом, там тебя баба Настя давно дожидается.

Мальчик сбросил на крыльце резиновые сапоги и гулко затопал по пропахшему кошачьей шерстью и комбикормом темному коридору.

В задней комнате он увидел покрытый белой скатертью широкий стол. На столе был яблочный пирог, вареная картошка с укропом, печеная курица, тонко нарезанные ломтиками ветчины на тарелке, шампанское, бутылъ вишневой наливки, графин с брусничным морсом.

Бабушка возилась на кухне у плиты.

– Бабуль, мы вернулись! – кинулся в объятия Паша.

– Тихонько, Павлюсь, не зашиби меня. Мой ручки и садись за стол.

Она сняла с крючка полотенце и набросила на его плечо.

– А далеко ль мама с папой?

– Ща придут, ба.

Сполоснув руки, мальчик прошел в комнату, стащил с тарелки кусок ветчины и юркнул в зал. Там он включил телевизор и плюхнулся на диван.

Пришли родители. Отец успел переодеться в белую рубашку и легкие светлые брюки. Мать шуршала нарядным платьем с блестками. Бабушка, по-домашнему в халате и с косынкой на голове, принесла вазу с фруктами. Пашу пригласили к столу.

– Дорогой сынок! – покашляв, поднялся с бокалом шампанского отец. – От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего! Учись хорошо и слушайся старших. А это тебе от нас с мамой! – Виктор Олегович протянул Паше небольшой сверток.

Он нетерпеливо сорвал подарочную упаковку. Под ней оказалась записная книжка с красной глянцевой обложкой.

– Спасибо, – пожал плечами мальчик.

– Туда, Павлунь, ты запишешь все свои заветные мечты, и они обязательно сбудутся! – сказала мама и пригубила шампанского.

Вечером, лежа в кровати, Паша раскрыл свой подарок и торопливо записал: «хочу быть взрослым».

Мальчик отложил записную книжку, погасил ночник и через минуту уснул.

Валерий МАККАВЕЙ

МИХЕЙ СПИТ

Мама и папа ругались.

Чаще всего это случалось в те дни, когда отец бывал пьян. В эти моменты мое сердце раненым зверем билось о жёсткие прутья грудной клетки. Думалось, что если я закрою глаза и снова открою их, то в доме будут царить мир и любовь.

Спонтанная агрессия моего отца едва умещалась в маленькой комнате фабричного общежития и никогда не вырывалась за её пределы. Обычно женщины терпеливо сносят выходки своих мужей, но только не моя мать. Из её уст упреки водопадом изливались на разгорячённую голову моего раба, но вместо остужающего эффекта провоцировали новую вспышку ярости.

Мама была миниатюрной и хрупкой, её вес едва достигал пятидесяти килограмм. Когда она стояла в своём ситцевом платье и солнце рентгеном скользило по её фигуре, то можно было видеть тонкие ноги, по-юношески плоский животик и мальчишескую грудь. Несмотря на это, она была решительной и смелой и никогда не давала себя в обиду. Отец же, напротив, был ростом под два метра с походкой деревенского увальня. Когда они находились рядом, то смотрелись как две несоизмеримые вершины, сравнимые разве что с Келецко-Сандомирской возвышенностью и Эверестом.

Расписались родители рано, по причине беременности мамы. И мне кажется, что, оставаясь наедине с собой, они размышляли о том, как сложилась бы их жизнь при отсутствии этого обстоятельства.

Детей в семье было двое: я и мой младший брат. Мне исполнилось семь лет – ему два месяца. Он был маленьким тёплым комочком с розовыми щечками, о котором хотелось заботиться. Временами мама оставляла нас одних. Я целовал его в лобик, говорил ему что-то несвязное, нежное, патокой текущее из потаённых глубин человеческой души. Он крохотным птенчиком лежал в уютном гнезде своей детской кровати в блаженном неведении о происходящем вокруг.

Я любил наблюдать за ним, когда он спит: его тонкие пушистые волосы смешно топорщились в разные стороны, словно усики телевизионной антенны, маленький носик вздорно торчал, дыхание было тихим и ровным. Мне нравилось думать, что, когда он подрастёт, мы станем делиться игрушками, вместе ходить на рыбалку, я смастерю ему удочку из гибких ивовых прутьев, предварительно очистив её от тонкой коры, и научу кататься на велосипеде.

Общежитие, в котором мы проживали, было сложено из красного кирпича, как и ткацкая фабрика, на которой работали мои родители. Нас разместили в двенадцатиметровой комнате, вытянутой как вагон метро, которую завершало большое окно с распашными решетками. Вид из окна упирался в фабричную стену с мотивирующей надписью: «Мир! Труд! Май!» и раскинувшейся ниже философской припиской: «Ты трудись и умирай!» И хотя эту строчку не раз пытались замазать, утром она снова появлялась поверх свежих потёков коричневой краски.

.....

Мама и папа ругаются.

Комната дрожит от крика и боли, а я от страха. Михей спит.

Я незаметно для всех залезаю под стол и зажимаю уши руками. Зажмуриваю глаза. Я на коленях у Деда Мороза.

Он гладит меня по голове. От него пахнет нафталином и табаком. Я смотрю в его улыбающиеся очи. Они мне знакомы. Совсем как у папы. Я читаю стишок. Пышная ёлка слепит меня блеском новогодних игрушек. Мама заразительно смеется. Михей спит.

Сильные руки вытаскивают меня из-под стола. Мать одета.

– Сынок, собирайся, мы уходим, – говорит она сквозь слёзы.

– Дура ты набитая, куда вы сейчас пойдете? Метель за окном, – еле ворочая языком, выдавливают отец. – Не пушу!

Он встает возле двери и разводит в стороны руки: то ли упиравшись, то ли повисая на дверном косяке.

Мать одевает меня. Я уже в ватных штанах, полушубке и валенках. Из рукавов свешиваются шерстяные варежки на резинках. Вязаная шапка съезжает на глаза. Михей лежит на столе одетый и замотанный шалью. Лица почти не видно. Спит.

Мать ставит меня на подоконник.

– Лезь в форточку.

– Мама, я боюсь! – слёзы градом хлещут из глаз и жгучими ручьями стекают за воротник.

– Кому сказала – лезь! Спрыгнешь и жди, пока подам Михея.

– Ни с места! – кричит отец. – Чёрт бы вас всех подрал! Я реву. Мне страшно.

Мать разворачивает и подталкивает меня в спину.

– Вылезай, кому говорю!

Я смотрю под ноги и вижу бутылку из-под шампанского, на четверть заполненную десятикопеечными. На миг перестаю плакать. Хочется вытряхнуть одну и сбегать в продуктовый на углу, купить бочковых зелёных помидор по две копейки за штуку, впиться зубами в твердую шкуру и долго держать во рту смакуя их вкус.

– Возьми тогда Михея, – говорит мне мать, и суёт в руки шалевый кулёк с моим братом. – Я полезу первой.

Отец не выдерживает и хватается мать за руку. Она резко дёргается вперед, и пальто с меховым воротником звучно

рвётся по швам. Материнская рука резонирует и наотмашь бьёт его по лицу. Тягучим потоком из носа вытекает тёмная кровь. Ноги отца подкашиваются, и он мешком падает на разложенный диван. Мать бросается к нему.

– Сережа, прости меня, я не хотела, – чуть слышно твердит она; прижимается к его впалой груди и целует губы, щёки, нос, гладит тонкими пальцами волнистые волосы. Слезы смешиваются с кровью и мутными струями скатываются по их лицам на меховой воротник материнского пальто.

– И ты прости меня. Это всё вино...

Он устало утыкается ей в плечо и безудержно рыдает. Она прижимает его к себе. Великое чувство всепрощения накрывает их с головой.

Я стою на подоконнике с младшим братом на руках.
Михей спит.

БЕЗМОЛВИЕ

Начало шестого утра. Автобус переполнен, плотно набит людьми, как трубка курильщика табаком – так же вонюче коптит. Лица пассажиров заспаны и неровны; те, кто сидит, сложились пополам, словно ушедшая ночь на прощание последней звездой дала им под дых. На задней площадке слышна нескромная речь.

– Расул, ти би каму нибуд вдул? – спрашивает один.

– Азад, ти би прикриль свой зад! – отвечает другой.

Вызывающе громкий хохот, переходящий в кашель, наждачной бумагой свозит барабанные перепонки. Мужчина, стоящий рядом, пытается отодвинуться – тщетно. Он стухнувшим мясом, как в подпорченном сэндвиче, зажат между ними и женщиной слева.

Механический голос вещает из динамиков: «Площадь Лядова. Следующая остановка площадь Комсомольская. При выходе из автобуса не забывайте свои вещи».

– При вихаде из автобус не забивай залэст чужой карман, – вторит ему тот, кого называли Расулом.

Гогот компании служит ему похвалой.

– Сматры, какой красавиц! – слышится третий голос. – Дэвушка, а дэвушка, вас как завут?

– Иё не завут, она сама прыходыт! – вторым номером, как заведено, гутарит Расул.

От избитости шуток женщину на переднем сиденье начинает подташнивать. «Беременна!» – думает мужчина напротив.

– Дэвушка, а дэвушка, нэ хочэшь пракатитса на маём канэ?

Нет ответа. Слышно, как стучат барабаны в наушниках худенького студента.

– Зачѐм малчиш, красавиц?

– Аслан, я тѣбѣ дам! – изображая женский голос отвечает за неё Азад.

– Аслам не даю, – не выдерживает девушка.

– Это ти каму сказаль? – вопрошает Аслан.

Сразу стало темно и душно, словно перед грозой.

Мужчина – «протухшее мясо» – свесил голову на грудь и делает вид, что заснул.

– Эй, я тѣбѣ гаварю! – настаивает Аслан.

Нет ответа. Аслан хватается девушку за руку.

– Пусти, козѣл! – начинает вырываться последняя. – Спустятся с гор и ведут себя здесь как хозяева.

– Слышь, овца, я тѣбѣ щас голаву сламаю...

Каждый, кто находится в автобусе, мечтает оказаться в другом месте. Мужчина на переднем сиденье проклинает себя за то, что выпил вчера пива – пришлось оставить машину у дома и поехать общественным транспортом. Худенький студент делает музыку громче. «Протухшее мясо» переходит в фазу медленного сна. Временами его посещает мысль о том, что он мог бы вмешаться если бы так крепко не спал. Женщина слева, боится, что её пырнут ножом. Остальные пассажиры потупили глаза и делают вид, что это их не касается.

– Пусти, ублюдок! – продолжает извиваться девчонка.

Автобус тормозит на остановке, призывно распахивая двери полусонным горожанам.

Девушка вырывается и выпрыгивает на улицу.

– Козѣл, вонючий! – кричит она сквозь слѣзы.

– Тварь бѣзродная! – доносится ей вдогонку.

Двери закрываются. Безмолвие выхлопными газами заполняет автобус.

Сергей БЕЛОВ

Городец

БИБЛИОСТОЯНИЕ

Незавершённая история

Заведующая библиотекой оглядела, выходя, по привычке помещение библиотеки и захлопнула дверь. Замок громко щёлкнул два раза, и наступила полная тишина.

– Наконец-то! – пронеслось по библиотеке. И через некоторое время прозвучал чей-то зычный голос: – Собираемся в читальном зале! По три представителя от секции.

Первой в полутёмном, небольшом читальном зале, освещённом лампами аварийного освещения и ярким уличным фонарём, появилась Энциклопедия. Энциклопедия была старейшей книгой в библиотеке и пользовалась непререкаемым авторитетом у остальных обитателей всех полок, стеллажей и запасников. Взобравшись с помощью молодых справочников на стол библиотекаря, она оглядела столы. С разных сторон на них взбирались книги, книжки, фолианты, толстые и тонкие журналы. На один из столов неподалёку забралась ватага детских книжек и с жаром принялась что-то обсуждать. Книги армейской тематики на соседнем столе выстроившись в ряд, неодобрительно поглядывали в их сторону. Недалеко от них собрались исторические книги и с ожесточением о чём-то заспорили. Спортивные книги ловко запрыгнули на свободный стол и тут же составили пирамиду. Прошагали маленькой колонной книги, посвящённые военным сражениям и подвигам. Походкой, полной достоинства и собственной значимости, проплыли книги по юриспруденции. Тенью

проскользнула литература, названная в своё, очень популярное, время «деревенской». Парочками, о чём-то шушукаясь, неспешно прошли любовные романы. Стремительно промчались, по ходу движения устраивая разборки, размахивая разнообразным оружием – мечами, автоматами и пистолетами, бластерами, – забрались на дальний стол книги различных «попаданцев». Не касаясь пола, паря в воздухе, проплыла группа поэтических сборников.

– И как у них так получается? – пробормотала Энциклопедия. – Впрочем, что это я. Это же так называемая «возвышенная» литература.

Строго следя за своей осанкой, прошествовали книги по педагогике и дисциплинированно расставились на столе. Перед ними на свободном столе словно пройдя какой-то пространственный портал, из воздуха, появились книги фантастической тематики. Сбоку от них, с обложками экзотических рисунков, расположилась приключенческая литература. Нечаянно столкнувшись, две книги раскрылись, и из них посыпались золотые монеты и бриллианты, которые книги стали поспешно собирать и запихивать обратно. Рядом с местом библиотекаря с трудом взобрались на свободный стол старые учебники.

– А молодёжь учебная, как всегда, отлынивает. Впрочем, о чём им беспокоиться? Ученикам, хочешь не хочешь, насильно всё равно их впихнут по разнарядке сверху. – Энциклопедия оглядела зал. – Да и классическая литература, думаю, тоже не появится. Они же элита!

Одной из последних появилась группа подростковых книг, которая гнала перед собой с гиканьем и свистом книги о животных. И последними, вразвалочку, появились три толстые книги по кулинарии. С трудом взобравшись на стол, они стали пристраиваться, толкая друг друга. И самая толстая книга, оступившись на краю стола, упала плашмя на пол, издав громкий хлопок. Книги, заполнившие уже весь читальный зал, притихли, озираясь, откуда такой грохот.

– Ну что ж, приступим, – воспользовавшись моментом, громко сказала Энциклопедия. – У меня есть для вас две новости. Одна хорошая, другая тоже хорошая, но не для всех. Хотя, если честно, эти слухи давно уже гуляют по на-

шей библиотеке, но скоро, появилась свежая информация, они сбудутся. Во-первых, наша библиотека переезжает в новое помещение. – Энциклопедия сделала паузу, надеясь услышать радостные крики, но аудитория тревожно молчала. – Вторая же новость, или точнее слух, – смогут переехать не все, из-за того, что нам выделяют помещение меньше по площади чем то, в котором мы сейчас находимся. Поэтому давайте демократическим путём, с целью помощи библиотекарям решать, кто достоин ещё послужить людям, а кого, – председательствующая запнулась, – отправим на заслуженный отдых, отдадим их в хорошие руки – как отдельным людям, так, например, в школы...

– А может, сразу в макулатуру? – выкрикнул кто-то с последнего стола. Собрание вздрогнуло. – Да и как мы донесём наше решение до людей?

– Ну, мы как-то умудряемся влиять на людей. Ведь они, читая книги, смеются, льют слёзы, негодуют и, самое главное, начинают задумываться над тем, что они прочитали. А в нашем конкретном случае необходим – последние научные исследования показывают, что это возможно, – коллективный разум! То есть то решение, по которому мы проголосуем в конце собрания, должно быть в каждой книге нашей библиотеки, и таким способом мы донесём наше желание до работников.

– Фантастика! – опять кто-то крикнул с последнего стола.

– Научная фантастика! – заступилась за свою идею Энциклопедия. – А практика показывает, что немало идей из фантастических книг было потом реализовано в жизни. Так что давайте просто приступим к обсуждению повестки нашего собрания. Начнём с самой лёгкой тематики: детской литературы. Я думаю, что вся эта секция должна полностью переехать в новое помещение. Переходим...

– Подождите! – донеслось со стола с юридическими книгами. – Если мы уж начинаем новую жизнь, то давайте начнём её толково!

– Что вы подразумеваете, Административный кодекс? – с недоумением спросила Энциклопедия.

Кодекс положил своих товарищей плашмя на стол, взобрался на них, чтобы его все видели, и начал своё выступление:

– Давайте посмотрим на детскую литературу под таким взглядом: вся ли она способствует становлению добросовестного человека? Конечно, книг правильного направления написано много. Например, «Репка» учит коллективизму, хорошим отношениям среди родственников, доброму отношению к животным, даже к маленькой мышке. «Колобок» содействует правильному воспитанию подрастающего поколения, почитанию взрослых, особенно своих родителей. «Курочка Ряба» настраивает читателей на истинные ценности, простые радости, а не на золотые горы, которые могут привести людей к непоправимой беде. А чему учит, для примера, известная сказка «Иван-царевич и Серый волк»? А тому, что для достижения своей цели можно и преступить закон! А если конкретизировать, то встать на путь мошенничества! Посмотрите, как легко соглашается главный герой пойти на подлог и не выполнять договорные обязательства, оставляя с носом других участников сделки. Может показаться, что эта группировка обманывает недостойных оппонентов и так поступать можно. Но почему кто плохой и кто хороший решают сами участники группировки, а не суд или общественность?

– И что, из-за одной сказки выбрасывать всю книгу? – прервала оратора Энциклопедия.

– Да вы внимательно почитайте все сказки! В них на каждом шагу обман на обмане или подвернувшаяся дармовщина! Что ни Иван-дурак, то для него обязательно найдётся какая-нибудь Василиса Прекрасная или Премудрая. Или Конёк-Горбунок, который решит все проблемы, вплоть до устранения конкурентов. А Емеля? Попалась волшебная щука, и всё, – катайся как сыр в масле!

– У вас всё? – поторопила Кодекс Энциклопедия.

– Нет, не всё! Но, к сожалению, то, о чём я хочу сказать, уже лежит вне компетенции нашего собрания. – И Кодекс сделал попытку слезть со своего пьедестала, но его остановили окрики:

– Сказал «А», говори и «Б». Послушаем. У нас вся ночь впереди.

Приободрённый оратор оглядел аудиторию и выпалил:

– Долой плагиат во всех его проявлениях! Коллективный разум должен восстановить справедливость. У нас

периодически печатаются такие замечательные книжки, как «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города». Но необходимо, как в кинематографии, писать на титульном листе: «Написана по мотивам такой-то книги». Пусть читатели знают всю правду!

– Да если такое писать, – Энциклопедия наконец-то узнала голос Сатиры, доносившийся с заднего стола, – то у многих на титульных листах появится такая надпись. Ну хорошо. Мы все поняли, чего вы хотите, и на этом закончим обсуждение этого пункта. – Энциклопедия решила приподнять настроение книжной братии. – Давайте поприветствуем наших ветеранов. Это учебники старой формации, которые выучили не одно поколение школьников и студентов, из которых получились замечательные специалисты и научные работники.

Она показала на ближний стол, где расположились потрепанные, но все ещё бодрые учебники по физике, алгебре, химии. Вес читальный зал поддержал ведущую громкими и продолжительными аплодисментами.

– Спасибо, спасибо, – Энциклопедия успокоила зал. – Несмотря на их солидный возраст и то, что на пятки наступает молодёжь, они ещё могут дать им солидную фору в изложении учебного материала. Тем более что основные законы природы не очень-то обновились с середины прошлого века. Впрочем, я сужу по своим, энциклопедическим знаниям. Но это моё мнение.

Ведущая оглядела зал. В глаза бросилась одна из книжек про любовь, которая украдкой вытирала слёзы.

– Любовь, не знаю, как вас по батюшке, – с задней парты немедленно послушался приглушённый голос: «Эротовна», – опять кто-то кого-то бросил? Так не в первый раз и не в одной книге такая ситуация описана. Пора уже давно бы привыкнуть. И любовь – это такая вещь, которая....

– Никакой любви нет, – неожиданно раздался голос Химии, – есть только гормоны и химические реакции. Вот их и надо описывать в любовных книгах.

– Так кто же их тогда будет читать? – удивилась Энциклопедия.

– А зачем про это читать? Надо делом заниматься, – без каких-либо эмоций ответила Химия.

– Ну, люди всё-таки не бобики, чтобы при первой же встрече заниматься, э-э, делом. Надо поговорить по душам сначала...

– Никакой души нет, – прервала Энциклопедию Химия. – Я спрашивала у Биологии. Это выдуманый человеческий орган. Поэтому всю любовную литературу надо сдать в макулатуру.

– Я думаю, что если мы выбросим из литературы понятие «душа», то исчезнет больше половины книг. И не только на любовную тематику, – задумчиво сказала Энциклопедия. – Так что давайте не будем делать поспешных выводов.

– Кстати! Удивительно, – влезла опять в разговор Сатира, – как подходят друг к другу в рифму слова «литература» и «макулатура».

Энциклопедия, не реагируя на комментарии Сатиры, оглядела зал.

– Маловато у нас книг про животных, – решила Энциклопедия поддержать тихую группу книжек, прильнувших друг к другу и прижавших свои обложки. – Столько интересного и необычного существует в их среде, даже представить себе трудно. И спасибо тем писателям, которые, не считаясь со временем, отслеживают, как себя ведут животные, и не только в природе. И доносят эти сведения до широкого круга читателей. Побольше бы таких книг. Да и, по моим сведениям, школьники охотно берут такие книги.

– Только вот что-то всё больше и больше становится Красная книга, – неожиданно поддержал разговор Милицейский Роман. – Как бы люди сами не оказались в этой книге при их отношении к окружающей среде. И что хотелось бы ещё сказать по теме нашего собрания. Необходимо уничтожить все книги по охоте и рыбалке. Если бы вы знали, сколько несчастных случаев, преступлений, проявлений коррупции существуют в этих сферах деятельности человека. И это всё только ради того, чтобы, будучи голодным, я подчёркиваю, в принципе сытым по жизни существом, похвастаться: «А я поймал это, а съел то!» Да, есть профессии, где без ружья и сетей никак, – егеря, профессиональные охотники и

рыбаки. Для таких людей выпускать обучающую печатную продукцию: плакаты и брошюры. А что предназначалось для так называемых любителей, подвергнуть реинкарнации. Или, по-простому, – отправить в макулатуру.

Лёгкий гул пронёсся по читальному залу. Одна из книг любовной лирики упала в обморок, и соседки принялись обмахивать её обложками. Энциклопедия оглядела зал, выбирая, кого бы привести в качестве положительного примера, чтобы собрание не падало духом.

Но тут пришла на выручку Головоломка: сборник загадок, шарад, ребусов.

– А почему нет представителей нашей классической литературы? Или они считают себя выше всех? Может, послать за ними пару спортивных самоучителей по карате и самбо?

– Да что могут сказать эти старые зануды, – подключилось затрёпанное пособие по столярному и плотницкому делу. – И чему они могут научить? Как под поезда бросаться и топором махать налево и направо?

– Мы заслуженные книги! – раздалось вдруг с верхней полки стеллажа новых поступлений в библиотеку. Энциклопедия хотела посмотреть, чей это голос, но в полумраке не разглядела. – И не стоит всяким чурбанам судить со своей табуретки о высокой литературе!

– Ага, – подскочило Пособие на своём столе, – поэтому тебя и засунули на самую верхнюю полку, чтобы тебя никто не видел! Да с помощью меня сделали столько табуреток, стульчиков и скамеек, что все твои читатели не заполнят и десятой части этой мебели! Вас всех надо отправить не на реинкарнацию, а на переработку – делать из вас картон!

– Друзья, друзья, не стоит так горячиться, – вмешалась Философия. – Классическая литература, я думаю, с этим никто спорить не будет, – наши заслуженные коллеги, сделавшие немало в своё время для становления культурного общества. Это замечательные памятники ушедшим временам. Это исторические источники для изучения социальных, политических, этнографических явлений той далёкой эпохи. Хотелось бы сделать упор на то, что тогда не существовало телевидение. Только-только зародилась фотография,

которая будет предтечей синематографа. Поэтому многие писатели той поры пользовались литературным приёмом, который по-простому, чтобы всем было понятно, можно называть «описалово». Писатели старательно описывали быт, природу – почему бы не описать поподробнее какой-нибудь дуб, – отношения героев, чтобы у читателей в голове складывались полноценные картинки отображаемых в книге событий. И такая манера изложения продержалась очень долго, да и сейчас есть образчики такой литературы. Но с появлением широко используемого телевидения ситуация изменилась. Картинка из телевизора несёт, и это научный факт, гораздо больше легко усваиваемой информации, чем текст. Не углубляясь в проведённые людьми исследования, скажу, что в итоге школьники, основные, если можно так сказать, потребители классической литературы, стараются изучать её в кинематографическом виде. А в настоящее время тотального появления в быту компьютеров и смартфонов, оккупирующих мозги молодого поколения, для многих выпустить из рук гаджет и взять в руки книгу сродни подвигу! Отсюда и маленький спрос на классическую, и не только, литературу. Но, кстати, метод «описалова» жив и захватил новые ниши человеческого сознания! У многих людей записалась, как утверждают биологи – в генах, потребность в скрупулёзных действиях и беседах. И этот метод с успехом подхватило телевидение. Достаточно посмотреть на бесчисленные сериалы, идущие по цифровым, кабельным и спутниковым каналам. И последний факт. Серьезные издательства наращивают количество авторских листов в принимаемых на рассмотрение рукописях. Так что, согласно теории спирального развития истории, может быть, в будущем люди опять полюбят новую классическую литературу, исполненную на новом интеллектуальном уровне!

В зале раздали энергичные аплодисменты, подхваченные многими книгами, – дух надежды в выступлении Философии собранию понравился и был одобрен. Энциклопедия снова взяла слово:

– Может, обсудим детективную литературу?

– Не трогайте вы криминал! Ещё пырнут чем-нибудь или обольют чернилами. А то ещё хуже – подожгут тебе коре-

шок, чтобы не болтал лишнего! – Сатира встала в полный рост на своём столе. – Вот давайте обсудим «деревенщиков»!

– А что их обсуждать, самое безобидное направление литературы? – возразила Энциклопедия.

– Давайте я напомним вам давнюю историю. Один писатель, уроженец деревни, написал книгу о трудовых буднях колхоза, борьбу за урожай, вредителей и передовиков. И со временем, пройдя карьерную лестницу, стал первым секретарём комитета партии в одной из республик Советского Союза. И закончил свою жизнь после громкого расследования, говорят, что добровольно покончил с ней счёты, став крупнейшим коррупционером того времени. И было это связано именно с темой его книги, колхозным направлением. А теперь обратим внимание на современное положение наших деревень. Я знаю, из газетных публикаций, что деревенское население значительно сократилось. И, естественно, часть деревень, особенно с маленьким количеством домов, исчезла, остались только деревянные срубы с зияющими окнами. И в тех местах, где деревенское население растворилось в городах, поля зарастают кустарниками и деревьями. Людей, уезжающих в города, можно понять: в квартире у тебя горячая и холодная вода из крана, не надо ежедневно ходить за водой к колодцу; газ на кухне, не надо возиться с дровами, как и с печкой; удобства под боком, а не на морозе да и развлечений несравненно больше. Почему они не прониклись духом «деревенской» литературы, которая, несомненно, является образцом литературного творчества, а выбрали мещанский, а можно сказать и обывательский, жизненный путь? И складывается такое чувство, что деревенский «шарм» – желание городских издательских и писательских кругов, в основном выросших в городе, почувствовать «сермяжную правду» незнакомой им жизни. Конечно, в жизни людей, я по себе это чувствую, не всё так однозначно. Но всё равно многое в так называемой «деревенской» литературе притянута за уши, и поэтому нам стоит хорошенько задуматься перед голосованием. И последнее. Давайте повнимательнее присмотримся к поэтическим сборникам.

– В каком плане? – уточнила Энциклопедия.

– Плодятся как кролики. От кроликов хоть какой-то толк есть – мясо, шкурка на шапку, от этих же только шум в ушах!

Пока Энциклопедия подбирала аргументы в пользу стихотворной продукции, она увидела, что до сих пор висевшие в воздухе поэтические книжицы попадали на стол. И тут ей на помощь пришла книга Садоводство.

– Вы неправы, коллега. Хотя мне и нравятся просто стихи, особенно про природу, попробую доказать аргументировано, что стихи, хорошие стихи, нужны людям. И для этого я прибегну к помощи, – она слегка поклонилась в сторону учебников, – биологии. Все знают, что у деревьев есть корни, которые удерживают ствол и крону в вертикальном положении, для хорошей работы фотосинтеза. Кроме того, корни выполняют ещё одну важную функцию – подпитывают дерево водой. Но не все знают, что эту функцию выполняют не те толстые подземные ветки, которые обычно и называют корни, а маленькие корешки, которые, толщиной чуть больше волоса, облепляют концы этих веток. Через них дерево получает не только воду, но широкий набор микроэлементов, которые делают растение крепче, выше, плодovitее. Точно так же, благодаря поэзии в том числе, человечество получает большое количество «микросмыслов», которые питают человеческие души и дух, помогая им развиваться, отрываясь всё больше от мира животных!

Некоторое время в зале стояла тишина, нарушаемая только многочисленным задумчивым шелестом страниц.

– Ну ты, мать, и загнула! – с восхищением в голосе прервала паузу Сатира; и опять повисла тишина.

Энциклопедия откашлялась и постучала уголком обложки по столу, привлекая внимание.

– По-моему, для обсуждения осталась только патриотическая литература. Про армию и военно-исторические....

– Как бы военные, – с сарказмом перебила председателя История.

– И как бы исторические, – язвительно ответила книга про войну. – Если подсчитать, сколько вы раз меняли своё мнение на те или иные события, можно запросто свихнуться. Герои превращались во врагов, враги – в спасите-

лей отечества, только их никто не понял. То были героические поступки, а потом превращались в мифы. Забывались на многие года ключевые исторические фигуры, а выпячивались заслуги прихвостней. И ещё вас можно сравнить с хорошим сыром – дыра на дыре. Сколько исторических событий не освещено вовсе или не в полной мере, не важно, намеренно это произошло или по недомыслию. Поэтому и патриотизм в этой стране у людей какой-то дырявый.

– Зато мы не кровопийцы, как вы! Вы сделали из трагедии народов хороший и долгосрочный источник для получения больших гонораров, государственных премий и льгот. Все ваши блага оплачены кровью миллионов погибших людей. И к тому же у вас самих рыльце в пуху. Вы то сами сколько мифов наплодили, подсчитывали? И дыр от исчезнувших фактов у вас тоже достаточно! Так что не надо валить с больной головы на здоровую!

– Да вы вытряхните из своей головы весь мусор, который там накопился за века, а потом говорите, что она здоровая...

– А вы...

Неожиданно, как гром среди ясного неба, щёлкнул замок входной двери. Зал замер. Загорелся свет в коридоре, и в свой кабинет прошла заведующая. Через минуту она уже вышла в коридор, на ходу пряча в сумку какие-то бумаги. Телефонный звонок остановил её на полпути к выходу.

– Алло! – заведующая прислушалась к телефонному собеседнику. – Да я вернулась забрать отчёт. Надо будет его дома доделать. – И через пару секунд продолжила. – Нет, на работе будет некогда. Мы получили новое помещение, конфискованный у проворовавшегося чиновника особняк... Да, помещение хорошее, площадь в два раза больше, чем у нас сейчас. Так что будем заняты упаковкой всего нашего фонда для переезда... Конечно, приглашу на новоселье!

Дверь торжественно защёлкнула замок. Каблочки застучали по асфальту и вскоре затихли вдаль. И по читальному залу пронеслось вдохновенно:

– Ура! Ура! Ура-а-а-а!!!

Павел ТИХОНОВ

Заволжье

ТАЛАНТ

Крик Марфы звучал на всю деревню. Женщина вышла за калитку и все звала:

– Борька! Боря-а!

Мимо по проселочной дороге на велосипеде катил шестилетний шкет. Полуодетый, в одних трусах и старой майке, которая явно была велика, он ехал медленно, вальяжно откинувшись назад, а у забора Марфы остановился.

– Что случилось, баб Марф?

– Поросенок пропал, – ответила Марфа. – Убег ли, утащили ли. Запропастился не пойми куда.

– Может, в поле?

– Не добежал бы.

– Посмотреть?

– Посмотри, Ванюша, посмотри.

Шкет покатил дальше по дереву в поля и скоро вернулся обратно. У Марфиного забора стоял милицейский «уазик», и участковый Петр Алексеевич записывал показания хозяйки.

– Здравсьте, – сказал участковому Ванюша, а потом сразу обратился к Марфе: – Нету.

Марфа запричитала:

– И в поле нет. Горе-то, горе!

– Не причитай! – буркнул Алексеич.

Алексеич казался Ванюше пузатым при его маленьком росте. Впрочем, все мужики в деревне были такими. Только им это было позволительно. Но этот-то был в форме, сразу выделяющей его из всех остальных, и должен бы был соответствовать. Хотя и Алексеичу пузо прощалось, когда тот был только соседом через три дома от Ванюши, в такой же футболке и трениках, как и все.

– Давай дальше, – продолжал участковый допрос.

– Вышел он, значит, гулять, – сквозь слезы лепетала Марфа, – а через два часа, ну как раз после обеда, я за ним вышла. Он обычно вот тут да тама бегал, в зады двора забегал, а сегодня вышла – и нету его. Ну украли, точно украли. Кроха ведь совсем.

– Разберемся, – при исполнении служебных обязанностей Алексеич всегда был строгим. Только насупившись, он опрашивал людей, только так заполнял все необходимые бумаги, так же стоял и на посту при массовых мероприятиях вроде Дня деревни. А без формы ничего мужик: добрый, веселый, душевный, то и дело детям конфеты раздает или в сад пускает яблоню со сливой обобрать, всегда какой-нибудь старушке по хозяйству поможет. А на смену выйдет – и нету строже человека.

– Сколько поросенку? – продолжал Алексеич.

– Ой, – не успокаивалась Марфа, – молодой, полугода нет.

– Записывать сколько?

– Пиши пять месяцев. Тогда, стало быть, Манька-то опоросилась.

– Ладно, Марфа Григорьевна. Подпиши здесь. Всех найдем: и вора, и поросенка. – И на службе в нем иногда просыпалось что-то от человека гражданского – сразу душевность вырывалась наружу. Хороший Алексеич дядька все-таки.

Всю жизнь он прожил в родной деревне. Уезжал отсюда только учиться, да и то ненадолго. Сельскую школу он окончил с двумя тройками: по химии и по геометрии, зато русский и литературу он знал на твердую пятерку.

Однажды из города к Алексеичу привезли на неделю племянника, и тот, от скуки исследовав весь деревенский

домик, нашел в закромах папку с дядиными дневниковыми записями периода первой влюбленности и юношества. Увидев первые стихи и признания, Леша, племянник, названный в честь деда по материнской линии, дальше читать не стал. Он сам к тому времени уже испытывал подобные чувства и понимал, что лезть в эти глубоко интимные тексты – неправильно. Но все же папку парень на место не убрал, а аккуратно подsunул дядьке, чтобы тот как будто случайно на нее наткнулся. И Алексеич узнал ее, открыл, стал читать, запершись в своей комнате, и сидел он там долго. Потом вышел довольный, счастливый, с приятными впечатлениями.

– Читал? – спросил он у Лешки.

– Нет, дядь Петь, – ответил тот.

– Посмотри, – Алексеич протянул племяннику два листочка из стопки, – вроде неплохо получилось.

Там были стихи о родных просторах. Дядька восхищался полями, рожью и речкой, голубыми облаками, небом и луной. Стихи о любви он подsunуть все-таки не захотел. Видимо, и правда слишком личное.

После Лешка той папки больше не видел. Не справляясь с любопытством, он искал ее как-то, но так и не нашел.

Вести дела Алексеичу было не в тягость. Дел здесь сложных не было. Кто-нибудь кого-нибудь ударит, собака курицу загрызет, да и то – редкость. Даже расследований почти не было. Пару раз кто-то что-то крал, и то по пьяни, а сложнее ничего не случалось. Украденный поросенок – дело тоже несерьезное. И хорошо. Но хоть дело и несерьезное, однако – уголовное.

В участок Алексеич не поехал, решив браться за дело сразу, по свежим следам. И для начала пошел к соседу Марфы Ивану. Подозрения участкового падали на него.

Иван был типичным алкоголиком. Ходил в драных подштанниках, в футболке-тельняшке, которую давно растянул. К Ивану Алексеич заглядывал часто, по долгу службы, проверял, чтобы тот не насоздавал себе проблем.

– Здорово, Алексеич, – Иван таскал у себя во дворе какие-то дрова.

– Привет, Иван, – ответил участковый. – Иди-ка сюда, разговор есть.

Отложив дровину и сбросив перчатки, Иван вынул из кармана сигарету и присел рядом с Алексеичем на лавку.

– Тут у Марфы поросенок пропал...

– Да ты что! – удивился Иван. – А я думаю, что она с обеда все кричит.

– Не видел чего?

– Не знаю, – затаившись, Иван задумался. – Все тут всегда бегал. И сегодня вроде тоже. Хрюкал. Не знаю.

– Так ты его видел сегодня?

– Вроде да. Бегал. Каждый день бегают.

– Может, украл его кто?

– Да кому он нужен! – Иван сплюнул. – Бесполезное существо. Хрюкает да гадит, больше ничего. Даже мяса с него снять – маленько.

– Уверен?

– Знаю я тебя, Алексеич, – в досаде Иван бросил окурок на землю. – Не брал я его. Нужен он мне больно. Да и если б и брал, тот визжал бы. На всю округу было бы слышно.

– Смотри у меня. Ну, ладно.

– Алексеич, может... – сжав кулак, Иван растопырил большой палец с мизинцем.

– Я на службе, – строго ответил участковый. – Да и тебе не советую. Бывай.

Опросив еще пару соседей, Алексеич убедился, что Иван был прав. Если и крали, то не рядом. Никто в округе визга не слышал.

На столе в кабинете Алексеича лежала папка с делом. Внутри – заявление от Марфы и результаты опроса. Пока ничто не выводило на нужный след. Все больше сводилось к тому, что и кражи никакой не было. Тогда куда делся поросенок?

Маленькие населенные пункты хороши тем, что в них все всё и про всех знают.

По утрам Зоя Константиновна выходила во двор. Старой и одинокой, делать ей было особо нечего. Такими же были и многие из ее соседок. Вставая с петухами, в начале девятого они уже переделывали все свои дела,

как Зоя Константиновна, выходили от скуки во двор и встречали друг друга. Шли от двора ко двору, кто к кому первое дойдет. Не ходили только к Нине – у ее дома не было лавки. Собиралось соседок много, и всегда было что рассказать.

Марфа сегодня вышла позже обычного. Вечер она проплакала и плохо спала всю ночь.

– Здра-а-авствуй, Марфа Кирилловна, – нараспев протянула Зоя, а за ней и другие старухи.

– Добрый день, добрый день, – Марфа присела рядом.

Недолго перетерли новости со вчерашнего дня, и, когда саму Марфу спросили, что она может рассказать, бабушка стала плакаться на свое горе:

– Ой, у меня же беда такая случилась! Така беда!

– Что такое? – закудахтали подруги.

– Поросянка моего кто-то утащил.

– Ой, горе, беда, да как же так?! – раздалось отовсюду, и только Нина закричала:

– Подождите, ну-ка, подождите! – Гвалт стих, и она снова заговорила: – Дочь мне вчера рассказывала. Она на реку ходила белье полоскать. Говорит, тихо все, тихо, а тут выскочил из каких-то кустов поросенок. Маленький совсем.

– Как Борька мой, – прошептала Марфа.

– Выбежал, говорит, постоял с минуту, обдумывая, да как ломанется в воду.

– Как в воду?

– Прямо так: раз – и в воду. А реку вы нашу сами знаете. Течение его и понесло. Визгу было, писку! Дочка опомниться не успела, а поросенок уже унесся, уже и голова над водой не показывается. И визг пропал. Ужо не спасти было.

– Как же так-то, господи! – прошептала Марфа. – Борька-то мой, бедный. Он ведь это, похоже. Он. Маленький. У нас ведь больше ни у кого маленьких.

– Вот и разрешилось, – вздохнула Зоя Константиновна.

Марфа еще повздыхала. Недолго посидела с подругами и пошла к себе. Из дома позвонила Алексеичу, объяснила, что произошло. Участковый посочувст-

вовал горю старухи, а сам решил доехать до Нининой дочери, выслушать рассказ очевидца. А оттуда вместе поехали на речку, где все случилось. Дело нужно было заканчивать.

– Вот тут я стояла, – рассказывала женщина. – Стирала. А он вон из-за того куста выбежал, так аккуратненько, постоял недолго у кромки воды, посмотрел на тот берег да как ломанется! Понять-то я ничего и не успела. А он уж там, на изгибе, и пропал. Унесло его, как пить дать. Да недолго мучился. Но испугался, бедный.

– Холодная хоть вода? – очевидицу Алексеич повез домой и занимал по дороге разговорами.

– Да не больно, так, – отвечала женщина, махая рукой.

– Ну, нынче тепло вроде.

– Хорошо нынче. Видели, какой у колхоза урожай? Колоски прям загляденье.

– Не обратил внимания.

– Я вчера заметила. Колхозники пели, пока работали, я их слушала. Потом поднимаю глаза: ба! Кака, думаю, красота!

– Хорошее лето.

– Хорошее. У вас растет что?

– У меня – да. Ухаживаю мало, но растет. Собрать в этом году придется...

– Как хорошо.

Доехали и попрощались. После Алексеич вернулся обратно. Открыв дверь «уазика» и, высунувшись из него, участковый смотрел на речку. Красивые здесь просторы. Чудесные. С детства он их любил. И правда хороший урожай в этом году.

Закрыв глаза, Алексеич слушал, как вдалеке, как и вчера, поют колхозники, как на их тягучую песню накладываются шум быстрой реки.

В таких местах и приходит вдохновение. Солнце в правильной фазе кладет нужный свет на природные объекты: золотит траву, отражается в изгибах реки, и картинка становится приятной для души. Красивые здесь все-таки просторы. А зачем Борька ломанулся в реку – черт его знает. Исккупаться захотел.

Песня затихла. И слава богу: надо было заполнять бумаги. Алексеич взял папку и посмотрел на часы. Потом на тот берег. Колхозники ушли. Было время обедать.

«Отказ в возбуждении уголовного дела, – написал заголовков участковый. – 20 сентября в адрес участкового Ратова П.А. от гр. Ивановой М.К. поступило заявление о краже домашнего скота, поросенка (кличка: Боря). После опроса соседей, а именно гр. Хохлатова И.В., гр. Ергуновой Г.И., гр. Петюниной М.В. было установлено, что поросенок в момент предполагаемой кражи вероятнее всего находился не рядом, а на удаленном от дома расстоянии...»

«Что ж он, сволочь, у речки-то делал?»...

Тут Алексеич еще раз посмотрел на тот берег, потом еще раз на часы, снова на тот берег... В его голове картинка начинала сходиться. И рука с пером понеслась по бумаге:

«По показаниям гр. Устюгиной А.Я., свидетеля произошедших с Борей событий, на следующий день было установлено, что кражи вовсе не было.

Поросенок Боря, выйдя, как в каждый чудесный день своей жизни, 20 сентября на прогулку, влекомый любопытством, убежал на расстояние от дома и добежал до реки (не исключено, что он незаметно увязался за гр. Устюгиной А.Я., следовавшей на речку с целью прополоскать белье). Запрятавшись там, поросенок Боря стал чего-то ждать, когда вдруг увидел колхозный урожай или почуял его запах (не уточнено). В этот злополучный момент у Бори появилось страстное желание вкушать плоды колхозного товарищества “Труд”, располагавшегося на том берегу реки Калинка, однако страх перед поющими для поднятия настроения колхозниками не давал поросенку двинуться в их сторону. Но в назначенный час все колхозники отправились на обед, и в этот миг, не в силах бороться со своим желанием, Боря решил во что бы то ни стало попасть на противоположный берег и полакомиться свежим урожаем, выглядевшим так аппетитно. Замерев в недолгих раздумьях у реки, Боря ринулся в воду, но не рассчитал своих сил. Бурное течение реки Ка-

линка подхватило бедное животное и понесло вдаль по течению. Страдающему Боре было не на кого уповать. По утверждениям гр. Устюгиной А.Я., поросенка было уже не спасти. Мучения несчастного были недолгими: коротко повизжав, поросенок с головой ушел под воду и больше не вынырнул, поэтому есть все основания полагать, что он погиб, сгинув в пучине бурных вод реки Калинка».

И официально добавил:

«На основании всего вышеупомянутого за неимением состава преступления в возбуждении уголовного дела отказать.

Дата.

Подпись.

Ратов П.А.».

У Петра Алексеевича всегда был талант.

Отказ приняли и зарегистрировали.

Виктор ЕРШОВ

с. Филинское, Нижегородская область

ОГУРЕЧНЫЙ ДУХ

В Подокстове, на берегу реки Оки, жил-был со своей семьей Алексей Мокрищев. Жили они небогато, но в достатке. На своём огороде, прямо рядом с двором, выращивали овощи. Благо во время весенних паводков талые воды, заливая его, приносили речной ил и удобряли почву. По осени семья заготавливала овощи, делала посолы, зимой торговала ими, а весной вновь готовила рассаду.

Огородный промысел перешёл к Алёшке от его отца Кузьмы, который жил вместе с сыном. По старости отец отошёл от дел, но продолжал с печи поучать сына:

«Держись за землю-матушку,

Она одна не выдаст.

Бог труды любит.

Летом пролежишь,

Зимой с сумой побежишь.

Делай не спеша, а скоро».

Единственный сын Алексея, Михаил, с детства большую часть времени проводил на огороде, помогая отцу и матери. Особенно охотно он ухаживал за огурцами. И дело вовсе не в том, что местные огурцы скоро созревали, за что их называли скороспелками. И не в том, что каждая плеть давала много огурцов, и поэтому нескольких растений вполне хватит, чтобы завалить семью плодами. И даже не в том, что размерами плоды были не-

большие, но имели особенный, без малейшей травяной примеси, вкус.

Мишкина любовь к этим овощам пришла с рассказами деда Кузьмы. Зимой, по вечерам, когда за оконцем хозяйничала лютая стужа, отрок залезал на печь к деду и просил:

– Дедка, скажи сказку.

В один из вечеров дед, побряхтев и погладив седую бороду, поведал следующее:

– Наш род огородничеством занимается издревле. И я, наследуя дело отца, выращивал овощи и делал различные посолы. Сначала вкусом они не отличались от посолов других посадских людей, пока один старый монах со Спасской обители не поделился со мной особым способом засолки огурцов. В кадку с огурчиками в качестве приправы надо обязательно положить базилик и добавить медок. Приготовление рассола – это целый ритуал, готовя его, надо думать о чем-то благодном, добром, хорошем. Можно даже молиться. Только тогда сохранится сладость ощущения чистого огуречного духа.

Михаил представил вкус малосольного огурца и, слотнув слюну, спросил:

– Деда, а зачем огурцу дух?

Немного подумав, дед Кузьма продолжил:

– С давних пор на посаде у Николеы Зарядного, проходила ярмарка. Торговать приходили гости с разных отдалённых концов Руси-матушки. Частенько заглядывали и купцы с Востока. Торг был богатым. Мы с бабкой Матрёной в лавке в соляном ряду продавали свежие овощи и различные посолы. Особенно охотно заезжие купцы покупали у нас свежие и малосольные огурцы, приготовленные по тому монашескому способу. Как-то раз ко мне подошел приказчик с государева двора. Он попробовал огурчик прямо из кадки, похвалил его за особый дух и попросил доставить на государев двор целую кадку малосольных огурцов. С тех пор я каждый год поставлял тому приказчику посолы. Он же говорил, что отправит их в Москву государю нашему, которому шибко полюбились наши сладкие огурчики. А по-другому и быть не могло, так как вкладывал я в них всю свою душу. Так что без духа, Михаил, любой овощ что трава.

В это время в сенях послышался топот, и тут же в горницу ввалился человек в овчинном тулупе. Поп Максим, а это был он, перекрестившись на образ в красном углу, обратился к Алексею:

– Я к тебе по просьбе сестёр монастырских. Хотят они на Сретенье Господне к постному столу огурчиков твоих ядрёных. Как на Крещение вкусили, так каждую трапезу и вспоминают.

– Коль такое дело, пойдём, батюшка, в погреб. Порадуем сестриц. – И Алексей, накинув охабень, вышел из горницы, сопровождаемый попом.

Некоторое время в доме слышалось лишь потрескивание сальной свечи на столе и завывание ветра за слюдяным оконцем. Михаил представил, как по весне он будет сажать в землю семена, из которых вырастет плеть, вспомнил особый – незабываемый, сладкий, с запахом росы – вкус первого огурчика. Отвернувшись от деда, он стал рассматривать пляшущие на досчатом потолке тени...

И вот он уже сидит в келье за столом с монашками Козьмодемьянской обители. Перед ними горшок с разваристой гречневой кашей, ушат с родниковой водой и лохань с огурчиками, бока которых переливаются изумрудным цветом. А над столом витает махонький старичок, завёрнутый в огуречный лист. Покачивая головой из стороны в сторону и грозя отроку пальцем, он говорит:

– Береги дух огуречный! Дух! Дух!

С тех пор Михаил ухаживает за огурцами с особым усердием. Кому, как не ему, продолжить дело деда и отца и сохранить особый дух муромского огурца.

Евгений ШЕСТОВ

ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА

Детектор лжи

Руки удлиняются, поднимаются выше и выше, вот они уже дотянулись до лица. Пальцы холодные и дрожащие. А тот, что тянет пальцы к лицу Тани, гудит низко как шмель.

Таня замерла. Сейчас ее очередь. За ее спиной две подружки. Сегодня они решили проучить хвастуна Петьку.

– Да я, как настоящий сапер, могу на ощупь определить, какой орех вы мне положите на пень.

– Это он специально так говорит, – ехидно произносит Маша. – Орех хочет получить на халяву.

– Очень надо! – возмущенно хмурится Петька. – Не хотите орех, я могу по руке узнать каждую из вас.

– По руке? – Зиночка поворачивается к подружкам. – А по лицу слабо? С завязанными глазами?

На пару секунд герой приосанивается и медленно произносит:

– По лицу? Ха, вот так задачка. Да пожалуйста.

Зиночка снимает с шеи косынку, завязывает Петьке глаза.

– Не подглядывай. Мы жребий бросим, кого ты будешь узнавать.

Петька вытягивается. Стоять одному с завязанными глазами страшно, тем более когда рядом девчонки. Но он не подает виду.

Девочки отходят в сторону, шушукаются.

Наконец, вперед выходит Таня. Она приближается к Петьке и берет его за руку. Петька вздрагивает. И тут он начинает гудеть как шмель. Он представляет себя детектором лжи. Сейчас он расшифрует иностранного шпиона. Гул становится все громче. Таня еле сдерживается, чтобы не прыснуть со смеху. Но холодные Петькины пальцы уже коснулись ее подбородка, шеи, носа, легко переходят к бровям, ушам.

Вдруг Петька опускает руки.

– Не буду я с вами играть. Что вы мне все время Таньку подсовываете!

– Дурак! – чуть не плача кричит Таня и убегает.

Зиночка забирает косынку.

Стрекозел

– Стрекозла вы все равно не поймаете.

Петька смотрит на девочонку свысока. В его руке банка, в которой мечутся и хотят вырваться на свободу две стрекозы. Одна серенькая, с большой палец Петьки, с сиреневыми крылышками. Другая поменьше, с желтым тельцем, огромными коричневыми глазами.

Девочки смотрят на стрекоз, пытаясь разглядеть их во всех подробностях.

– А какой он, стрекозел? – вдруг спрашивает Маша.

– Какой-какой! – Петька недовольно жмурится. – Вот идите и ловите. Чего спрашиваете?

– Вот и пойдем, – тут же парирует Зиночка. – Пойдемте, девочки. А то тут некоторые такие деловые!

– Побежали на поляну! – говорит Таня, и первая устремляется вперед.

– Таня, подожди нас. – Маша и Зиночка бегут следом.

Петька некоторое время стоит у подъезда, потом медленно, крадучись, идет в сторону поляны.

Трава в этом году выросла высокая. Дворники не добрались до нее, не скосили. Поэтому живности всякой в этой траве много. И бабочки, и стрекозы, и жуки-букашки всякие. И даже пауки.

Таня не боится никаких жуков. Разве только пауки ее пугают. Совсем чуть-чуть. Но ведь они появляются бли-

же к вечеру. Днем-то их нет, они в своих норах прячутся. А бабочки все какие-то бледные, белые. Даже неинтересно. Вот стрекозы – другое дело. Тут есть на что посмотреть. Они красивые. Две пары крыльев, как у вертолета, длинный-предлинный хвост и глаза навывкате. Чудо!

Только все-таки непонятно. Что еще за стрекозел такой? Стрекоза, понятно. А стрекозел? Это ее муж, что ли?

И какой он?

Петька так ничего про него и не сказал. Ну и ладно. Вот сейчас наловим стрекоз, а потом будем разбираться, есть среди них стрекозел или нет.

Недолго думая, девочки поймали по одной стрекозе. А Зиночка захотела поймать еще одну, а свою передала Маше.

– Подержи.

Когда они вернулись к подъезду, Петька со скучающим видом сидел на скамейке. Банка со стрекозами стояла рядом с ним.

Подойдя почти вплотную к мальчику, Маша вытянула руку со стрекозой к его носу.

– Вот, смотри.

– Ну и что. Это стрекоза.

– А это? – Зиночка протянула сначала одну, потом другую.

– И это тоже все стрекозы, – заметил Петька.

– А у меня? – спросила Таня.

– Эх вы, – рассмеялся Петька. – Стрекозел-то, он знаете какой? Голова зелено-синяя и глаза такие же яркие, зеленые.

– А такие бывают? – спросила Таня, не очень-то доверяя Петьке.

– Конечно, бывают. Вон, смотрите, дядя Вася сидит. Бейсболка синяя и очки зеленые. Настоящий стрекозел.

Кто что видит

Петька нацелился на воробья. Маленький клюв воробья стал как огромная пасть пеликана, а глаза напоминали черные озера Африки. У серого кота Мурзы нос стал

похож на переспелую сливу, а когда кот облизывался, по сливе со скрежетом проползал розовый ершик вправо-влево, потом опять вправо-влево.

И тут хлопнула дверь подъезда, и из темноты выплыла копна прошлогодней листвы, которая, если хорошенько приглядеться, была волосами соседки Маши.

Маша подошла к Петьке и спросила:

– Чего разглядываешь?

Петька выждал секунд пять, потом показал Маше бинокль.

– Смотри. Настоящий. Командирский.

– Откуда такой артефакт? – Маша восторженно смотрела на бинокль, боясь прикоснуться. – А можно посмотреть?

– Можно, – разрешил Петька и протянул бинокль девочке.

Маша с трепетом взяла дорогую вещь.

– Тяжелый.

– Ну, еще бы, – откликнулся Петька, – настоящий.

– А куда смотреть?

– Куда хочешь.

Маша поднесла бинокль к глазам и долго водила из стороны в сторону, издавая какие-то нелепые звуки.

– Вот это вещь! Откуда?

– Бабушка сегодня разбирала в сундуке, достала. От деда. Он у меня пограничником был.

Снова хлопнула дверь, и во дворе появилась Зиночка.

– Что вы тут рассматриваете? Ух ты, бинокль! Театральный?

– Какой театральный? – возмутился Петька, забирая бинокль из рук Маши. – Самый настоящий.

– И что ты в него увидела? – спросила Зиночка Машу.

– Как что? Деревья, дом наш, а еще как в магазин вошла учительница Алевтина Петровна.

– Вот уж кого я не хотела бы видеть до сентября, так это Алевтину Петровну. Опять учить начнет.

Зиночка остановилась, помолчала немного, потом спросила:

– Петя, а что ты в нем увидел?

– Я? – Петька поперхнулся. – Ну, не знаю... Звезды, например.

– Вот если бы мне попал бинокль в руки, я бы точно знала, что рассматривать.

– Что? – спросил Петька.

– Дашь посмотреть?

– Пожалуйста.

– Вот здорово, – воскликнула Зиночка, водя биноклем по земле. – Красота какая!

– Что там красивого на земле? – спросил Петька.

– Не на земле, бестолочь, – ответила Зиночка, – на мне. Смотри, какие туфли. А пряжечки...

– Отдай, – крикнул Петька, вырывая у Зиночки бинокль. – Нашла что разглядывать.

– Ну и не надо. – Зиночка надула губки и ушла.

Через минуту во дворе появилась Таня.

– Ты чего Зину обижаешь?

С ходу Таня чуть не толкнула Петьку.

– А чего она. Взяла бинокль и туфли свои разглядывает. Нашла красоту!

– А он для чего? – спросила Таня.

– Чтобы видеть красивые вещи, – ответил Петька. – Вот ты что можешь в него увидеть?

– Я? – Таня задумчиво оглянулась, ища объект, который она хотела бы увидеть поближе.

– Я бы, наверное, стала наблюдать за облаками. Они такие разные. Проходит всего минута, а они уже изменились. Вон смотрите, сейчас там слон с длинным хоботом.

– Да нет, это не слон. Это утюг, – возразила Маша.

– А вон там над домом настоящий парус, – вставил слово Петька.

– Можно мне посмотреть? – попросила Таня и, получив бинокль, направила его в небо.

А по небу плыли белые облака на голубом фоне.

Дуэт кошек

– Таня, конечно, хорошо поет, ничего не скажу, но когда я услышал, как они мяукали с Зиночкой, это улёт!

Петька прищурился и заговорщицки поглядел на Машу.

– Ты тоже поёшь?

Маша растерянно повела плечами:

– Не знаю.

– А чего тут знать? Или поешь, или нет. Другого просто не бывает.

– А вот и бывает. И вообще, хватит врать. Они не мяукали. Что они, кошки, что ли?

– Не веришь, можешь их сама спросить.

– Вот и спрошу.

Маша повернулась к Петьке спиной, прошла два шага, потом остановилась и через плечо проговорила:

– Они к концерту готовятся. Какой же ты болван, Петька. И ушла.

Вот так всегда, подумал Петька, скажешь какую-нибудь шутку, а тебя тут же болваном награждают. Как будто орден дают. И про какой концерт она говорит? Летом? У нас во дворе?

Петька подобрал комоч земли, повертел в руках, растер его в порошок.

А все-таки интересно, что за концерт такой?

Несколько дней подряд девочки все время куда-то уходили, потом, когда возвращались, загадочно улыбались. Но ничего не рассказывали.

Так продолжаться не могло.

Как-то вечером Петька остановил Таню во дворе, спросил:

– Вы чего готовите? Про какой концерт Маша говорит?

– А ты зачем спрашиваешь? Опять будешь смеяться?

– Ну почему смеяться. Я, может, послушать хочу, как вы поете.

– Завтра в клуб приходи. В два часа. Придешь?

– А можно?

– Конечно. Концерт бесплатный.

Невозможно дождаться середины следующего дня, тем более когда тебя позвали на такое. Петька плохо спал, ворочался всю ночь. А утром проснулся ни свет ни заря.

Бабушка тоже встала, что-то колдовала на кухне, чуть напевая вполголоса.

- Бабуль, а ты в детстве тоже пела?
- Конечно, пела, кто ж в детстве не поет.
- Я не пою, – проговорил Петька, но тут же поправился. – Ну, почти никогда.
- Все поют. – Бабушка сказала это так уверенно, что Петька поверил.

В полдень приехал отец на машине, попросил Петьку поехать с ним, помочь. Надо было привезти пленку для новой теплицы. Петька не мог отказаться. Это же батя. Но пока они ездили, пока вернулись, прошло очень много времени. Петька глянул на часы – три часа с тютелькой.

Опоздал!

Не заходя домой, Петька кинулся к клубу. Запыхавшийся, прискакал на крыльцо клуба, с силой открыл тяжелую дубовую дверь, вошел в тихий зал. На сцене читал стихотворение какой-то мальчик. Когда он закончил, вышла школьная вожатая Наташа Крылова, объявила:

– А сейчас для вас прозвучит шуточный дуэт кошек Джоаккино Россини. Исполняют Таня Вербина и Зина Стрелкова. За роялем Алла Мельникова.

Петька замер. Такого он не ожидал. Чтобы это было реальностью, надо было проснуться и нырнуть в ледяную прорубь.

Зиночка поет? Этого не может быть. Но ведь вот она, выходит на сцену. А где же Таня?

Зазвучали первые аккорды. Зиночка начала петь. И так забавно. Весь зал засмеялся. И Петька тоже. Вот это выдает! Вот это да!

И вдруг из-за кулис послышался тонкий голосок Тани. Она вышла, подходя к Зиночке, запела что-то кошачье. И так мелодично, так точно. Петька захлопал. Но его тут же остановили, зашикали со всех сторон.

Они так забавно перекликались в этом странном, но захватывающем дуэте. То одна, то другая, а то и вместе. Это было что-то.

Такого Петька точно никогда не слышал. Он как вдохнул вначале, так и стоял не выдыхая. Только когда уже девочки допели, послышались громкие аплодисменты.

И Петька тоже громко хлопал, наверное, громче всех. Все ладони отбил.

А после концерта первым выскочил из зала и сорвал с клумбы шесть ярких цветков. Кажется, это были гвоздики. Пять Тане, а один, так и быть, Зиночке. Еле протолкался опять к сцене и общей охапкой протянул цветы девочкам.

– Вот!

Таня и Зиночка зарделись, поблагодарили и разделили цветы правильно – три и три.

Петьку потом еще неделю ругали за испорченную клумбу.

Дина ВЕДХЕЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дом стоял среди тенистых деревьев, издалека его почти не было видно. Когда я просыпалась, ветви яблонь бились об стекло, словно желая доброго утра. Я была частью этого дома – этих огромных окон, моей спальни с выцветшими розовыми обоями, даже старинных часов с боем и немного потертых кресел в гостиной, где по вечерам горел камин.

Особенно я любила его весной – когда цвел наш яблоневый сад и по вечерам пахло травами. А в дождливые ноябрьские вечера, когда весь мир вокруг был серым и промозглым, затапливался камин – около него было так уютно. Я любила, закутавшись в плед в своем любимом кресле, смотреть на догорающие угли и отдыхать от проблем уходящего дня.

Дом был пристанищем, когда очередная любовная драма загоняла меня в угол, и я, словно раненый зверь, искала места, чтобылизать свои раны – и воскреснуть для новой жизни. Только на этот раз ни моя семья, так горячо любимая, ни дом, полный звуков, воспоминаний, впечатлений, наверно, не смогут мне помочь. Так я рассуждала, когда все было кончено.

Мы встретились на выставке какого-то ужасно модного той пахнущей тополями весной художника. Пили кофе в удивительном летнем кафе – все так празднично и красиво: клейкая молодая листва на деревьях, солнечные блики

вокруг – и он. Такая странная тонкая нить словно протянута от меня к нему, невозможно оторвать взгляд от его лица – как будто именно этих глаз я ждала, вот этих рук, вот это он должен сказать – и говорит. Я узнаю его – словно видела когда-то во сне. Он провожает меня домой по пустынным гулким вечерним улицам, и я вижу, Дом рад – как-то особенно приветливо кивают деревья, особенным теплым желтым светом встречают окна. А дома пахнет испеченными пирогами, как-то нарядно и светло – все так чудесно, как бывает раз, наверное, только раз в жизни. Странное, непостижимое чувство – словно только начинаешь жить. Столько всего внутри – смятение, уже грусть от недолгой разлуки и такое желание обнять весь мир – или полететь? Это чувство не дает уснуть, хочется грезить наяву – воскресить в памяти его лицо, нет – не воскресить, он же все время перед глазами. И вот наконец-то мы – я и Дом сладко засыпаем.

Мы встречаемся каждый чудесный весенний день. Какое счастье, просыпаясь, знать, что каждый день принесет встречу – прогулку по вечерним городским улицам, обед вдвоем в кафе, вечер у камина дома – или безумную ночь вдвоем. Один взгляд его глаз – и перестаешь принадлежать себе, словно тебя нет, словно в нем магнит, странное и редкое чувство. Даже воздух – обычный воздух позднего мая – кажется прозрачным, волшебным.

Страшны его отъезды, у него бывали недолгие командировки по работе – нечем дышать, не хватает воздуха, незачем жить. Теплые, уже летние вечера, пение соловья в нашем саду, все кажется напрасным – и в то же время всего этого ужасно жаль – жаль каждого потерянного общего мгновения. Вся моя прежняя жизнь – мой старый Дом, моя семья, друзья – исчезла. Без него меня нет, мы одно, мы едины. Счастье, счастье, счастье – и лето, напоенное запахами трав и жужжанием пчел, ночная прохлада, льющаяся в окна вечерами – счастье.

Прошло три года, два – как мы расстались. Я не знала, зачем вставать по утрам и, собственно говоря, зачем вообще нужна жизнь, если мы не вместе. Потребность видеть его была сродни желанию пить при сильной жажде. Сны

мучили постоянным его присутствием, и от этого просто невыносимо больно было просыпаться. Два года я медленно, но верно возвращалась к жизни. Смешно сказать, тоска сердечная, как боль зубная, спустя время после разлуки приходила редко, но мучила сильно. Только приходила все реже и реже – как раскаты грома в конце грозы – равнодушные идет на смену ностальгии.

У каждой страсти одна и та же история, ни у кого не получится ее переписать. Никогда. Весна – знойное лето – и осень охлаждения. Иного не дано, все остальное – удобная ложь. Я вернулась, только не слишком ли большой срок и степень вины? За то время, что мы были вместе, все и вся были забыты. Мама, отец, дом, ты – простите ли вы меня?

Дом словно ждал меня, ждал, когда я вернусь, когда он примет меня в объятия своих потертых кресел, ждал камин, готовя для меня свои самые яркие угли, ждал сад со всей своей осенней красотой. И вдруг понятно стало очевидное: страсти сильны и быстротечны и уносят нас в бурлящий водоворот счастья, но важнее всего Дом – где всегда тебя ждут шелест деревьев, потрескивающие угли в камине и теплый плед в кресле.

Лирический портрет

Елена КРЮКОВА

ТЕРМИНАЛ

Фрагменты

Штиль. Ночь

Тишина. Это штиль. Это полный штиль.
Это невыносимо. Залеплен слух
Тишиной. Наша жизнь – легенда и быль.
Океан, и над ним летит птица Рух.
Ни тире. Ни точек. Ни вздрога волны.
Эта азбука Морзе... молчи, дитя.
Это только сны. Подводные сны.
Проплывают мимо, плавниками светя.
Мои руки, улыбку, сердце, ступни
Кровеносные водоросли оплетут.
Толща вод. Водяные лилии-дни.
Я со дна шепчу вам: я жива, я тут.
Отбиваю сердцем точки-тире.
Белый шум. Синий шум.
Дрожь черной свечи.
В Марианской впадине, в черной дыре
Я – антенна. О помощи не кричи.
Слишком яркая артериальная кровь.
Слишком вечно мы между звезд плывем.
Океан – это просто расстрельный ров.
На краю обнимемся – мы, вдвоем.
Неужели все кончено? Грохот внутри.

А снаружи – клятая тишина.
Утонула я, а плыву, смотри,
Среди рыб золотых никому не нужна.
В океане, среди прилипал и звезд,
Может, тихо, бормотно – все началось?
В мою правую руку – по шляпку гвоздь.
В мою левую руку – по шляпку гвоздь.
Эти гвозди, заклепки, шурупы, болты...
Льдяной коготь клеймит обшивку насквозь.
Ты молчишь, океан. Значит, нам кранты.
Не скрипит гнилая земная ось.
Хруст: ломаются кости. Ржавая сталь
Разымается. Тонет в густой тишине.
Скрежет: лед уходит в немую даль.
Белый бинт замотает мой крик на дне.
Затолкают мне в глотку белую бязь.
Марлю резко швырнут на пирушкин стол:
Ты, утрись!.. А я еще не родилась.
Мой корабль на дно еще не ушел.
Вот минога с лимоном. Утка в яблоках вот.
Осьминоги пальцев ползут по столу.
Услади напослед копилку-живот.
Къянты – в рот. Халдей хохочет в углу.
Музыканты! Эй! Корабельный оркестр!
...все уснули. Могильная, ртутная тишь.
А на дне, слышишь, нету свободных мест.
А на дне, слышишь, там никогда не спишь,
На безвинную, тинную явь обречен.
Ты все знаешь там. Да! Всех червей и рыб.
Да еще плывет твой железный челн.
Да еще в каюте – неслышный всхлип.
Это плачу я. Отражение мое:
Там, в полночном зените, на синем дне.
Тишина. Перед зеркалом – сдернуть белье.
Мой корабль парит в зеркальном огне.
Я во времени гиблом отражена –
Оголясь, в панталонах, смешных кружевах.
Все уснули. Пачулей дух. Тишина.
Я напрасно смехом побеждаю страх.

Где-то в яме трюма, в огнекрылом аду,
Пьяно хлещет вода в железный бокал.
...на колени перед зеркалом упаду:
Жить оставь! Никто гибели не искал.
Еле слышно, бессонно земля дрожит.
Еле слышно, смешливо дрожит вода.
Тишина. Господь берет жизнями мыт –
За доставку груза в никуда, навсегда.

* * *

это только окно. и оно горит
над поверхностью палубы. нет судьбы,
кроме этой минуты. а трюм открыт,
он стальной Аид, где плывут гробы
или рыбы. жемчуг глаз под водой
наливается кровью, и больно глядеть.
ты ж мечтала так умереть – молодой,
отрубив от жизни хвост ее, треть.
ты ж мечтала так – на Титаник взойти
по упрямому трапу, по лестнице той,
что Иакову снилась птицей в горсти,
гарью пахнувшей, елочной, золотой.
люди в шлюпки садятся, орут, блажат,
я кричу, хоть я умерла давно,
а корабль все равно не пойдет назад,
и вперед не пойдет, так заведено,
и сухие выстрелы будущих войн,
и стальные вздутия якорей,
я ж мечтала вот так – ледяной конвой,
капитан и ангел у белых дверей,
и тони скорей, эти ночи-дни
жемчугами четок тyani-считай,
а быть может, слушай, повремени,
и любви хлебни, стыдясь, через край.

* * *

синий мой лед лучезарный мой скол
ты ли Титаник отсюда ушел

гаснувший дым за кормою
ты ли вернешься построят тебя
наново
грянет гудками труба
боли мычанье немое

пена кудрявая выгиб кормы
так постоим и обнимемся мы
над перехлестами соли
волен Титаник и время-Титан
грудью таранит слепой ураган
пашет соленое поле

ты же бессмертен ты жизнь подгадал
Феникс железный ты нынче восстал
можешь смеяться победно
трубною глоткой всю хохотать
дымной уютить лазурную гать
спать муравейником бедным

смерть тебе новый мой вечный смешна
я лишь на палубе – птичка одна
волосы в инее ночи
ну же плыви все вперед и труби
пусть нам во тьме партитура судьбы
ноты огня напропорочит

я оглянусь: о любимый ты здесь
я удивлюсь: Боже вместе донесешь
ну обними хрустнут кости
хрупкого льда и железная ржавь
грудь и спина и горячая явь
крест мы живой на погосте

наш океан наша синяя даль
бабочка-сталь сумасшедший корабль
ветра рентгеновый зуммер
мы до скелета просвечены вмиг
крепче навеки вперед крик и крик
там над бортом над безумьем

ИРКУТСКИЙ РЫНОК

Частушки и зимние песни

Из новой книги стихотворений

*Моему Иркутску
Моему Байкалу
Ушедшим любимым
Живым друзьям*

Рынок, гордая статья,
Распрями-ка спину!
Я пришла к тебе – мать –
За куском для сына.

Дым из труб, будто чуб,
Все по ветру носится.
Душу выдохну из губ –
Сразу заморозится!

Снег искрится мне в лицо,
Ровно сотня ножигов.
Рынка крепкое крыльцо
В каком веке рожено?

Я по рынку пройдуся,
Разольюсь, как вино.
Ни в кого не в влюблюсь –
Сердце сожжено давно!

Снег упорный такой –
Насмерть хочет ослепить!
Я стою, гляжу с тоской:
Что мне на обед купить?

Все на славу, все путем!
Небосвод высокий.
Я пришла к тебе дитем –
Оботри мне щеки...

Лодка

Я лодкой смоленной переплыла
Селенгу ли ах Анггару
Мерцала бутылъ на краю стола
Металась простынь в жару
Убийцу голубила
С ведьмой пила
Молила зверям – костей
Баранья доха мне была мала
И мал пирог для гостей
А как я стариться зачала
Пьянчужка-плотник забрел
И лодку сладил и два весла
Из духа что бос и гол
Из жестких плеч из дощатых ног
Плачь горностаи колонок
И стала я лодкой и бедный Бог
Рыбалил во мне одинок
Я только лодка под звездами я
Венера Вега Денеб
Волна – не вода а ветхость белья
Ветхозаветный снег
Шаман танцует и в бубен бьет
Каменным кулаком
Я только лодка взрезаю лед
И в крохи крошу бортом
Топаз Мицара Алькора жесть
Сириус – в борозде
Я лодка я у реки еще есть
Пустая а люди где
Садись народ не пускай слезу
Молись замерзнем пускай

Терпи народ я перевезу
Тебя за полярный край
За тракт безлюдный где плачет волк
Моими слезами друг
Где ляжет мир мой боярский шелк
В окрестье тяжелых рук
И кинут весла
Таймень на дне
Застыл то ли жив то ль нет
Мороз я лодка забудь обо мне
Я просто дощатый свет
Я просто везучий шалый ковчег
Везу вас во времена
Где валит серебряный Божий снег
Где вмерзну я в лед
Одна

(мать с ребеночком)

Бабье тесто всходит тяжело –
Опадает в миг один.
Не изношена рубашка
Со годин моих родин!

Несу ты на локоточке,
Доченька рожоная.
Ох, опять бессонна ночь,
Глоточка луженая!..

Ты прижмись ко мне тесней
Пальтецом немарким.
Вот пройдет немного дней –
Глянешь краше мамки.

Вот куплю тебе игрушку
За копейку да за двушку,
А внутри гром и хруст –
Аж гремит на весь Иркутск!

Багульник

Закрываю глаза. Это мука. Это радости злой малахит.
Я живу – от рыдания до звука. Я звучу – значит плачу навзрыд.

Я – мерцанье Саянских опалов, хорда синяя, Хамардабан.
Чудотворный Ольхон целовала – нежным сердцем
покинутых стран.

Я – все пихты, и кедры, и ели, вся смола, перелита в слова,
А спилить вы меня не посмели, расколоть на шальные дрова!

А согласна была жадным жаром, вечной печью
тебя согревать,
Многодетным, стоцветным пожаром, иван-чаем,
целующим гать!

Орион, ты взойди над тайгою... Волю дам
бестолковым слезам...
Меч на поясе – жизнью другою так сверкает,
что больно глазам...

Звездный парень, великий Охотник, язычок
староверской свечи,
О букашках небесных заботник – легкой смерти
меня научи!

Ты стреляешь – изникли столетья. Целишь метко –
и в пепел года.
Ты же зришь: я одна в целом свете, не вернусь я к тебе
никогда!

Я по дну древних царствий гуляю. По латуни земного котла.
А когда попрощаюсь – не знаю... изожгу воск соленый дотла...

Мой безумнейший мир! Я вдохнула твой железный
и каменный лес.
Обвязала я голову гулом. Сталью – по сердцу – алый надрез.

Перепутала рельсы и тропы. Испила не вина, а бензин.
И сижу, тку ковер Пенелопой – в жемчугах,
во поземке равнин...

Ах, узлы, и под пальцами – нити, жилы арфы,
свирелевый путь,
Вы спасите меня, сохраните, дайте ветер влюбленный
вдохнуть!

Я в тюрьме, среди блуда и стона, иссеченно срываясь на крик,
Снежным бисером вышью икону – чуть раскосый
раскольничий лик...

Утоли ты моя вся печали! Мне немного осталось во тьме.
Дай побыть хоть немного в начале – в шубе детства, в лазурной зиме!

Я одна о Сибири молитва – на увалы ее и хребты.
Я одна – вся Сибирская Битва: на сражение гляди с высоты.

Я багульник роскошно-лиловый, бью прибором,
качусь по кругам!
Жжет набат, и разбиты оковы, и жар-птицей –
осенний мой храм!

Я твои разливанные реки! Я пожаром таежным воплю!
...лишь закрою тяжелые веки – умираю, прощаю, люблю.

И лицом упадаю в подушку, и лежу одиноким пластом:
За душой ни гроша, ни полушки, а на свете на этом, на том –

Лишь любовь моя, неутолима, тише воздуха, ниже травы,
Лишь любовь моя, мимо и мимо, в зазеркалье
тугой синевы,

В толщу вод, где искрит голомянка, мое голое сердце
насквозь,
Где тайги всенебесная пьянка, где мне Бога
любить довелось.

Лимон

Я хочу очень, очень тихо сказать,
Не сказать даже – тихо пропеть:
Люди, люди, каждому – исполать,
Распахнуть голубиную клеть.

Век мой выпорхнул весь – да и был таков.
Хлеб любви, Боже, даждь нам днесь!
Я учусь молиться за всех врагов,
Кто мне смерти желает здесь.

Люди, ну и что, коль я тут умру.
Это – больно. И это – всем.
Постою на кедровом, вечном ветру,
Ничего о смерти не вем.

Погляжусь в бирюзовый, зеркальный лед:
Я красива, сильна, как встарь!
Время тихо плывет, мой еловый плот,
Белый флаг воздымает январь.

И беру, хулиганка, лимон с лотка,
В мерзлом золоте – инея нить,
На судьбу, на гибель, на все века,
Где мне чистый огонь испить,

Где я буду, незримая, среди вас
Тихо, нежно идти-брести,
Улыбаться, плакать звездами глаз,
С молодым лимоном в горсти.

Лариса БУХВАЛОВА

БОГ РИСУЕТ НАС
В СВОЁМ БЛОКНОТЕ...

* * *

Осень совершает переход
сентября мятущегося в небо,
где горизонтальной строчкой белой
тонко проявляется испод.

Человек – берёзовый листок
или грач – вот глаз его прожилки,
прижимает скудные пожитки:
чтобы это тоже взять в полёт.

Чаще он пугливый однолюб.
У него всё в жизни на исходе.
Но по парку горделиво ходит,
собирая пищу в твёрдый клюв.

– Ласточка, любовница моя,
кружит осень сердце человека.
Суп грибной сварите для меня,
чтобы вспоминать нам время это.

И обратно – взгляды на окно.
Мир осенний там перевернулся.

Озера оранжевое блюдо,
пролито янтарное вино...

Так, тихонько ноги оторвав,
и взмахнув, как дирижёр, руками,
человек от ветки отлетает,
не имея на полёты прав.

* * *

Из ветвей достаёт жираф
жёлтый плод, будто сам он змей.
Ева думает – это ей.
И ныряет в одежный шкаф.

На крыльцо заползает плющ,
словно здесь и его жильё.
Ева думает про своё,
в мире много щемящих душ.

Бог забыл этот дом и сад,
словно мир накрыла волна.
Эта Ева живёт сама.
А за стенкой – крошечный ад.

На другой женился Адам.
Ева мнится ему во сне.
А он едет домой к жене.
Жизнь менять им не по годам.

В злой машинке порвана нить.
Только наволочка больна,
в ней прореха ночей без сна.
И прореху надо зашить.

А в окне крутит мир кино.
А в окне листва зелена.
И пасут на небе слона,
хоть слоны не летали давно...

* * *

Бог рисует нас в своём блокноте.
Говорит: «Живите, не помрёте...»
Вот и я, анфас, вполоборота
на странице бога блокнота.
В нём пометки, ангелы и черти,
И проект судьбы моей расчерчен.
Перспективы смутные весьма...
Завтрак в небе: кофе, шаурма.
Техника: то ручка, то фломастер.
Вот цветы и кресло на террасе.
Бог устал. Чтоб отдохнуть немного
он рисует: котики, арт-йога.
А какой-то маленький шалун
вечно задевает нервы струн.

* * *

Это, люди, провода –
электричество зимы.
Мы ж снегурку навсегда
сотворяли для земли.

По райцентрам и садам
расселяли снегирей.
И снегурок, как детей
создавали тут и там.

Это, выстроив всерьёз
над домами купола,
мы ж подавимся от слёз,
от свершённого добра.

На языческом огне
ты гори, как жизнь моя,
ты гори, сверкай во мне
суетою бытия.

Это проводы земли
на пейзаже городском.
Поднимаются огни
в одеянье золотом.

И снегурочка летит...
Шлёт прощенье городам
детской шапочкой в зенит,
в чёрный космос навсегда.

* * *

Архангел в отпуске и крылья отстегнул,
и с облачка отчаянно шагнул,
скорбя узреть деяния народа...
А на Земле, в непреходящей мгле,
все преклонялись граблям и метле,
и, как бы, ждали Нечто с небосвода.
И предвкушали праведники рай,
а грешники предчувствовали край.
Иные же не ведали позора,
о том, что вдруг придётся отвечать...
Срезали ветки, драили печать
и ожидали злого ревизора.

Борис ЛУКИН

Москва

ЧЕРНЕЦ

Главы из поэмы

Пролог

На скамеечке у храма повстречались в час покоя
гость болезненный столичный и наместник крыпецкой.
Разговор зашёл о всяком да с присловьем «Слава Богу».
Разговор зашел о всяком, что так душу бередит.
Взглянет ангел с поднебесья и нашепчет про простое,
пусть владыка не сердает на «чащобу» впереди.
А пока просторы ширят и болота осушают,
кельи строят и на звоны подвезли колокола,
есть ещё одна забота у печерского монаха:
про обитель рассказать всем, как живёт и как жила.
«Ты, писатель, так и взялся б».
«Буду ль жив ещё, как знать...»
«Не о том печёшься. Разве тело вырвалось из праха?»
Не дискуссия, конечно, но житейский разговор.
Напряжён один, и болью озабочен он телесной,
а другой, всё понимая, по писанию твердит.
А от храма и до леса, к небесам диагональю,
и от леса и до храма ласточек резвится стая.

«...Если же болезнь осилю, обещаю написать я,
шесть веков перелиставши монастырского сказанья».

«Ты сходи-ка на могилку к преподобному монаху
и Корнилия от сердца о здоровье попроси.
Много страждущим подобных исцелений
даровал он», –

и рукой мастерового направление указал.
На границы горизонта, там кончалася равнина,
у лесов послевоенных и болотистых трясин,
холмик виделся в оградке, где, столетия в финале,
обрели святого мощи, как блаженный завещал.

«А ещё святого Савву, основателя, Отца нам,
не забудь всечасно славить и о здравии просить».

Как уж там молил я чуда исцеления – не знаю,
но когда кудесник-лекарь щедро жизнь мою продлял,
день за днём читал я книгу «Житие святого Саввы»;
он, обитель основавши, защищал её в веках.

А полгода миновало, устремился я в обитель
в прославления день чудесный и святое Рождество...

Пусто место на скамейке. Лишь могилку я увидел.
Словно мне в предупреждение вдруг почил
наставник наш.

Так в наследство получил я поручение о книге.
И она слагаться стала. И не ведом мне финал...

К целителю души и тела

*Ты скажешь мне: «За что же ещё обвиняет?..»
А ты кто, человек, что споришь с Богом?*

Рим. 9:18–33

Лучше прослыть убогим,
Чем не бывать в раю.

У тех, кто пришёл молиться
За здоровье и упокой.

Просят целителя люди:
«Нас под защиту прими
И отмоли, покуда
мы не сошли с земли».

Сколько бесу не виться,
репъём сколь не клейся он –
водицы святой испъём,
веруя, исцелимся.

Что
 большее сделать,
 чем это?
Всё сказано...

 и не раз.
Помолимся мы о предках.
Помолятся и о нас.

Шепчем слова заветные –
Всё кровные имена...

О монастырские стены
Крошатся времена.

Эпилог

Как земля не похожа сама на себя:
почва пряная, камень остылый,
люди нежат её или в комья дробят
и любимой зовут и постылой.
Так похожа на жизнь эта почва у ног:
от избытка даров – плодоносит
и ущерба не имеет;
 не знать бы иной
от рожденья дарованной гостьи.

Но взглянув за столетий крутую грядку,
солнцем палит томление духа:
свет его на добро, жар его на беду,
и они не живут друг без друга.

Так и мир с монастырским житьём заодно,
то в молитве единой стеною,
то гоненья начнутся, разруха, огонь,
хоть ковчег готовь новому Ною.

Вот и Крыпец не минула чаша сия.
Есть сказанье... об этом прочти в Житиях,
как спасались верою в Бога
от тюрьмы и сумы за порогом.
Как разбойники, каясь, брели в монастырь,
сложат песни последней надежды;
нет страшнее безверия

в жизни беды,
замыкавшей сердечные вежды.
И глухими к пророчествам станут цари,
отрекаясь креста своего.
Разве тихо блаженный монах говорил?
Век спустя лишь расслышат Глагол.

По кровавым следам революций и войн
Ярославым мостом ко земле святой
доберутся по двое, по трое –
племя новое, племя младое.
Из развалин поднимут они монастырь –
к вечным вечных добавив чудес;
будет Крыпецким зваться отец Дамаскин.
Жаль, что жизнь лишь даётся в обрез.

Далеко я от них – чернецов крыпецких,
но обыденных дел миновавши,
слышу их голоса среди хоров людских,
вижу взгляды средь спутников наших.
Современники, память о вас мне дана,
как родители, дети, погост и страна,

Ангел мой и страстей моих демон.
Эта память – поэмы будь темой.
Шаг за шагом, строка за строкой...

Что спешить?

Мирно в келье душе,
завершить бы здесь жизнь,
как поэму мою – многоточьем...

Ты, поэма – живи...

Ты – молитва моя,

над тобою

звездой

горит Крыпец маяк

путеводный

в болотном урочище

жизни бренной.

Молитвой в пути
всем живущим,
чернец,
посвети...

Из свежей прозы

Юрий ПЕРЕВАЛОВ

Владимир

СОБАКА

Однажды зимой я дрессировал своего рыжего пса. Он был тогда щенком-подростком. Когда он выполнял команду «лежать», его тонкие лапы разъезжались на снегу. Пес припадал к земле и тут же вскакивал, вытягивался в прыжке, показывая белое брюхо, и выхватывал кусок хлеба из моих рук.

В первый же день щенок научился сидеть и лежать, но он путал эти команды. Я не осуждал его за несмышленость – все же он учил новый язык. Я набрался терпения и командовал до хрипоты, и на второй день пес уже различал приказы. Дед удивлялся тому, что пес такой умный. Ведь в начале зимы, всего два месяца тому назад, его переехала грузовая машина. На дороге в тот день лежал глубокий снег, и это спасло щенка. После мой пес хворал больше месяца. Он только ползал, таская задние лапы по земле, и скулил днями напролет. Я подолгу смотрел, как он лакает молоко из миски, и гладил его по голове, ожидая со страхом, что щенок вот-вот умрет.

Дед перед домом пилил дрова. Из лесу их привез его приятель: бывший танкист и участник какой-то засекреченной войны в далекой Африке – про эту войну приятель

деда говорил только, что сидеть в стальной коробке посреди пустыни и ждать приказа – все равно что жариться в печи. Он привез нам дрова на трелевочном тракторе. Этот мужик и трактор водил так же лихо, будто ездил на танке. Толстые березовые бревна он подтащил к дому и отцепил их. После запрыгнул в кабину, и трелевочник закружился на месте, поднимая облако колючего серебристого снега, взрыл снег и укатил – еще долго слышался перестук железных гусениц и рокот мотора.

Итак, через три дня мой пес освоил команду «дай лапу» – к тому времени он съел три буханки хлеба. Дед приходил ко мне под тополь покурить и посмотреть на собачий цирк. Дед заметил, что пес изрядно потолстел.

На четвертый день пришел Витька. Увидев друга, я стал командовать громче. Витек понаблюдал за моим щенком и сказал:

– Немецкие овчарки – самые умные собаки на свете. А твой рыжий ворюга просто выпендривается. Он ничего не понимает.

– Мой пес – на одну четверть овчарка, – ответил я. – Глянь какой здоровый лоб – он умный, как собака-водолаз.

Зима раскинулась кругом. Было морозно и выюжно. Сверкал снег. Однажды дороги так занесло, что целый день гусеничные трактора с ковшами расталкивали завалы, и в итоге дорога превратилась в подобие снежного тоннеля.

Витька, Серега и я катались на лыжах по насту так долго, что дыхание спирало, из-под шапки пот заливал глаза и хотелось пить. Еще мы нашли у реки громадную горку и катались с нее на санках. Полозья саней мы с вечера заливали водой.

И все время мы обсуждали породы собак. Всем понравилось, как я натренировал своего щенка. У Сереги собаки не было, и он завидовал, а вот Витька приволок на веревке свою вислоухую шавку и тоже стал ее учить, но эта псина была стара и умна – ей не хотелось прыгать и гавкать за еду. И так дадут.

Наш сосед, худошавый и молчаливый охотник, держал гончих. Гончие сидели в конурах. Сосед выносил им еду в жестяной лохани. От варева поднимался на морозе густой

белый пар. Гончие, худые длиннолапые собаки, спали в конурах, чесались, ловили блох. Глядели на нас внимательными карими глазами.

Витька любил поговорить с моим соседом. Мы с Серегой побаивались этого угрюмого худого мужика. Но дядька у Витьки тоже охотился, и нашему другу удалось найти с этим мужиком общий язык. Поболтав с ним, Витек с важностью говорил:

– Гончие хорошие собаки, рабочие, – эти слова он своровал у охотника.

– Овчарки лучше, а вот еще есть лайки – те вообще ума палата, – добавлял Серега уже от себя.

Мой дед пилил дрова. Пила врезалась в дерево, словно в масло. Гончие лежали на снегу, затевали игру, брякали цепями и мисками. Вечером они смотрели на запад, где садилось алое зимнее солнце, на синий лес. Гончие ждали весны. Зима все не кончалась. Она, казалось мне, обнимала белыми крыльями и баюкала весь земной шар.

От одного взгляда на наш лес становилось зябко, и я чувствовал сказочную и суровую тайну – словно знал, что в лесу прячутся жуткие, древние исполины. Они застывают зимой и превращаются в деревья – я представлял, как из дупла у такого дерева идет пар клубами и вокруг ствола тает снег, как весной.

Когда я смотрел вечером на лес, зимние поля и блестящую на закате укатанную ледяную дорогу, что петляет и скрывается в лесу, меня охватывала печаль – я раньше такой никогда не испытывал. Словно кто-то в ответ глядел на меня огненным оком, прожигал меня насквозь, и я не мог ничего от него скрыть. Алый закат, лес, гончие, мороз и жгучая тишина вокруг, – я искал лишь одно слово, чтоб обозначить все это, и никак его не находил, – заставляли юную душу застыть и смотреть в собственную глубину.

* * *

В самом начале марта с высоты на мир с огненной лаской рухнула весна. Гончие заерзали. Они взлохматились и стали грязны. Гончие дрались. Сосед отвязал их – соба-

ки с лаем умчались к лесу. Сосед пошел за ними с ружьем на плече. Он скрылся в тумане, что стелился над полями.

Повеяло теплом и запахло землей. Дрова, что дед напил и наколод, за зиму частью истопили, а часть сложили в поленницу. Ручьи смыли снег. Дымкой окутался лес. Березняки в поле порозовели.

Славно разлилась река. Она подтопила дома в пойме. С утра в реке отражались облака.

Косяком пролетели над селом гуси. Закаркали вороны. Откуда-то появились громадные стаи галок. Грачи бродили по обочине дороги. В общем, все словно сговорились.

Мой пес вымахал и пугал соседей своим лаем.

– Весна – весной они размножаются, – сказал Витька.

Витька, Серега и я посовещались и решили разводить собак: мой дед, сосед и Витькин дядька, да и вообще все вокруг, говорили о том, как хороша умная собака. Она и сторожит, и к охоте она пригодна, и гладить ее приятно.

Мы порассуждали и решили – разведем собак летом, а осенью продадим всех щенков. Собаки едят что попало – держать их легко. А мои навыки дрессировщика должны сыграть важнейшую роль: мы их так натаскаем, что к осени они станут как служебные и каждый захочет себе такую собаку.

Я подошел к вопросу основательно. Целый день я рылся на чердаке и в чулане, где лежали связки пыльных книг. Там были книги на любой вкус, и я нашел учебник по кинологии. Я прочитал его насквозь и после приводил Витька в восторг словами «инбридинг», «рефлекс» и «нейронная дуга» – хотя я сам плохо понимал, что это такое.

Витек любил повторять:

– Нароботаем рефлексы и будем избегать инбридинга!

А вот Сереге мои новые слова не нравились. Он придирался и спрашивал, что они означают. Я отвечал как мог. Серега снова придирался. Так мы с ним один раз даже чуть не подрались.

Щенков мы решили купить на рынке и поехали на автобусе в ближайший городок.

Еженедельная ярмарка раскинулась на площади и захватила соседние улицы. Из-за рваных облаков показывалось

солнце. Над блестящим куполом церкви вилась стая галок. Рынок гудел, словно становище кочевников. Шумела под ногами и под колесами машин слякоть. Играла музыка из ларьков.

Мы прошли мимо мужика в громадной лохматой ушанке, что продавал на входе жареные семечки из мешка, пробрались через мясной ряд, после пробежали мимо инструментов и дымящегося чана, из которого разливали кофе и где продавали жареные пирожки, и наконец попали на замощенную булыжником улицу. Тут стоял целый фургон крикливых кур. В клетках сидели белые гуси. В ящиках поросята. Пищали и возились котята в размокшей картонной коробке. Мы искали чистопородных щенков, но таких никто не продавал. Торговцы смеялись над нашими вопросами.

Мы обошли ряды несколько раз. Прочитали все объявления на ларьках и столбах вокруг рынка, но ничего не нашли.

Тем временем рынок разъезжался. Музыка смолкала тут и там. Через ворота, раскачиваясь, выезжали забрызганные грязью грузовики и каблуки. Вскоре площадь, вся в черных следах от машин, в слякоти и глубоких колеях, опустела. Тут же на площадь прилетела стая галок. Птицы принялись рыться в мусоре.

Мы купили пирожки и газировку и побрели обратно, сбитые с толку. Солнце пригревало. Шумела улица. Дворник ломом разбивал сверкающие глыбы льда, упавшие с крыши.

– Возьмем у кого-нибудь в долг двух собак. Они размножатся. Щенков возьмем себе, собак вернем обратно, – сказал предприимчивый Витек.

– А еще можно так просто насобирать. Раздают ведь щенков. Насобираем и составим команду. И разводить не надо, – предложил Серега.

– Пускай и не чистопородные будут, зато мы их научим. Будем двух вместо одного давать, – добавил я.

Мы вернулись на остановку. Пили газировку, уплетали пирожки и ждали своего автобуса.

Рядом стоял грузовик. Под ним, свернувшись в клубок, лежала белая собака. Автобус долго не приезжал. Витек от

скуки стал насвистывать, и белая собака, услышав свист, подбежала к нам так, словно мы и были ее хозяева – знаете, не спутать это выражение собачьих глаз и походку, и манеру вилять хвостом – в ней не сквозило ни капли подхалимства, каждое движение этой псины говорило: вы мои хозяева. Она подбежала и, о, нет, не бросилась к нам на плечи, не стала лизать нам руки и вымаливать подачку – она улеглась у наших ног. Когда кто-то из нас троих смотрел на нее, она виляла хвостом и в ответ смиренно глядела в глаза.

– Вот тебе и раз, – сказал я. – Вы, парни, видели когда-нибудь такую умную псину?

– По глазам видно: собака – зверь, – сказал Витек.

– По-моему, она не похожа на гладкошерстного фокстерьера, – пробурчал Серега.

Белая собака лежала у наших ног. Мы ждали автобуса. Когда автобус приехал и мы забрались в него и уселись на сиденье, собака вскочила и вся вытянулась. Лапы ее дрожали от радости. Она помедлила и вдруг кинулась за нами, запрыгнула в автобус и улеглась у наших ног. Пассажиры заворчали, но псинка вела себя так спокойно, что хоть наступи на нее – не укусит, и вскоре наши грубоватые, но в целом отходчивые попутчики успокоились.

– А ведь это сука. Нам повезло – она нам щенков нарождает, – сказал внимательный Витек.

Мы решили поселить собаку в заброшенной конюшне на берегу реки. Здесь была окраина села и щенков никто б не потревожил.

Собака послушно пришла за нами в конюшню, и мы привязали ее на веревку в углу. Чтоб ей теплее спалось, притащили старый матрас.

– Нужно искать кобеля. Главное – избегать инбридинга, – повторял Витька всю следующую неделю.

Мы бросились разыскивать чистопородного пса, потому что собака наша была дворнягой. Ни гончего, ни лайки мы не нашли. Зато мы нашли овчарку. Мы одолжили пса у разгильдяя лет семнадцати по кличке Палец. Он жил один с собакой в квартире и был наркоманом. Палец посмеялся над нами, но все же одолжил нам кобеля.

Кобель был стар и ленив. Он смотрел вокруг грустными и безучастными глазами. Он часто садился отдохнуть, зевал и с удовольствием чесал задней лапой за ухом. И когда Витек дергал его за поводок, чтоб тот поторавливался, пес смотрел на него с укоризной в глазах.

Но слишком долго мы разыскивали пса: пока мы сажали его на веревку, а после с трудом тащили к нашему вольеру, собака в конюшне ощенилась.

Мы вошли в полутемную конюшню, затаскивая туда же упирающегося кобеля, но белая собака так зарычала на пса, что тот вырвал у Витька из рук поводок и сиганул в дверь.

Мы уселись вокруг белой собаки. Мы с удивлением и радостью смотрели на щенков. Они повизгивали и копошились под брюхом у нашей псинки.

– Я сразу увидал, что она больно жирная, – сказал Серега.

– Ну и ладно. Даже кобеля не надо, – ответил Витька.

– Она ощенилась не вовремя, – сказал Серега.

– Вовремя, не вовремя, зато большой приплод, – сказал я.

И я радовался тому, что смогу теперь отрабатывать свои навыки дрессировщика на столь многочисленных псах.

* * *

Река разлилась широко и подтопила дома в пойме. С утра в большой воде отражались облака. Когда мы с Витьком брели утром в школу, то подолгу стояли на мосту и опаздывали. Мы смотрели на буруны и осколки темного льда, и оттого, что все вокруг перевернулось в воде: облака, небо, деревянные дома и конюшня вдалеке на высоком берегу, где жила наша собака со щенками, голова у нас кружилась. А вечером вода алела от заката, и река текла спокойнее, и на подтопленных домах темнела мокрая полоса от спавшей за день воды.

Мы приходили к щенкам вечером. Приносили собаке молоко и хлеб. Карие глаза белой собаки блестели в полутьме конюшни. Щенки пищали, и от них пахло щенками.

Мне казалось чудом, что из одной собаки вдруг выпрыгивает целая стая щенят. Я сказал об этом друзьям. Витька понял суть моего вопроса, надолго задумался и ответил, что объяснить это можно, но пока он не знает как. Серега же буркнул, что нечего тут рассусоливать – все так рождаются: и грибы, и трава, и рыбы в воде, и даже люди иногда.

Вскоре потеплело. Разорванные серые тучи унесло ветром. Небо прояснилось. Из мокрой земли появилась первая трава. Река вошла в берега.

Белая собака лежала в углу на пропахшем псиной матрасе, и щенки возились вокруг нее и сосали молоко. Мы нагородили вольеры из досок и вбили в стены крючки, чтоб привязывать к ним собак на ночь, когда те подрастут.

Брошенная конюшня стояла на высоком берегу реки среди старых берез. С обрыва открывался вид на реку, заливной луг, улицы на том берегу, церковь, мост и дорогу. В нашей конюшне давно уже не жили лошади, зато напротив, за рекой, паслись две – черная и белая.

Со стороны леса ветер приносил запах мокрой земли, болота и хвои, со стороны реки – рыбы, воды и мокрой осоки, со стороны пекарни через реку – запах хлеба. Собака чужла запахи намного лучше нас. Поэтому она убегала из конюшни. Щенки пищали без нее. Собака уходила по мосту в заливной луг, пробегала мимо лошадей и вечером возвращалась.

– Это бродячая собака. Она все время бродит, – говорил Серега. – Покормит своих щенков и снова шляется.

В мае распустились березы. Вечером, теплым вечером, когда пахло травами и от реки несло холодом, мы пошли ловить майских жуков. Они жужжали и путались в ветвях плакучих берез. Натыкались на деревья. Сталкивались друг с другом. Копошились в траве. Бестолковые жуки словно только что научились летать.

Я чувствовал, как это странно: в один день появляются жуки. Я сказал друзьям, что это настоящая тайна. Но тогда Витька ответил, что они вылазят из земли. Серега держался того мнения, что они живут под корой деревьев.

Вскоре к нам подъехал на мотоцикле Леха. От его мотоцикла несло жаром. Леха снял старый шлем, облепленный

пылью. Мы тут же попросили нашего старшего приятеля рассудить наш спор о зарождении жуков. Леха закурил и в своей неторопливой манере рассказал нам всю правду: парень знал о насекомых все.

Недавно он вернулся с войны насовсем. Он хвастался, что может пока не работать. Он только ездил помогать отцу на дальний поселок около железной дороги.

Леха достал из рюкзака короткий складной сачок. Он везде брал его с собой.

– Пока нет никаких, – посетовал Леха вполголоса, разговаривая больше с самим собой, – Только воловьи глаза по полям шастают. Но кому они нужны?

Леха с хохотом весь вечер пробегал вместе с нами и наловил своим сачком, наверное, сотню жуков.

Щенки вылезли из конюшни. Они тявкали и боролись в траве. Наконец мы их пересчитали: щенков оказалось семь.

* * *

Летом в небе над селом кружили коршуны: один над верхушками деревьев, громадный и величавый, другие – повыше и еще несколько – совсем высоко, еле видные.

Щенки вымахали поразительно. Думаю, причиной тому послужило отличное питание: мы таскали из дома хлеб, молоко, картошку и все, что только под руку подвернется.

Я дрессировал щенков каждый день. Мне нравилось наблюдать, как собаки усваивают новый язык. И я натолкнулся на сложнейшую задачу: не мог никак объяснить себе, понимают ли щенки мои слова настолько же, насколько эти же слова понимаю я сам, или же они подчиняются моим командам просто потому, что так устроена простая механика их собачьих мозгов. Первая мысль мне нравилась, но сам я в такое плохо верил. Вторая догадка меня расстраивала. Тогда я подумал, что как-нибудь выберу одного щенка и буду учить его по-другому: делать он будет то же, что остальные, но подчиняться будет совсем другим словам.

Я пытался научить белую собаку команде «сидеть». Но собака смотрела мне в глаза со вниманием и ничего не де-

лала. Просто ждала, когда я брошу ей хлеб. Если я давал ей хлеб, она ждала следующий кусок. А если я терпел, долго командовал и пытался ее усадить, белая собака понимала, что еды не дождется, и убегала по своим делам.

Вскоре мы поняли, что среди щенков у нас одни кобели.

– Быть не может. Хоть одна должна быть собака, а не кобель, – все удивлялся Витек, по очереди в который раз переворачивая щенков и разглядывая у каждого живот.

– Нам повезло. Кобеля всякий возьмет, – сказал Серега. – Женские собаки никому не нужны – только успевай приплод раздавай.

Вдобавок все наши щенки отличались друг от друга мастью, размером и характером.

Один, черный с белым воротником, особенно неуклюжий, толстый и коротколапый, как-то упал в реку с деревянного моста, под которым мы кололи пескарей. Мы стали звать его Бецман.

Два щенка, белые в черных пятнах, с висячими ушами, везде бегали вместе. Отличить их друг от друга мы могли только с трудом, поэтому мы назвали обоих одним именем – Тарзан.

Один щенок, худой и длиннолапый, все время без усталости бегал. Первым выпрыгивал из конюшни и бежал по деревянному мостку через реку в луга. Бежал за машинами. Бегал вокруг лошадей на лугу. Даже если вся псиная шайка дрыхла в тени дерева, он наворачивал вокруг этого дерева круги. Природа дала этой собаке талант бежать. Золотая шерсть этого пса переливалась на солнце, у него была длинная морда и висячие уши. Мы назвали его – Флюгер.

Еще один пес, которого мы прозвали Лайка, был умен и красив. И назвали мы его так, потому что он более всего напоминал чистопородную лайку: его хвост закручивался в кольцо, уши стояли торчком. Одно в его внешности подводило: слева он был черный, справа белый. А глаза окрасились наоборот: левый глаз в черном кругу, а правый в белом.

Кроме этих вполне нормальных псов наша белая собака породила на свет черного мелкого уродца. Шерсть его топорщилась в разные стороны. Одно ухо торчало вверх,

другое висело. Он хуже всех учил команды. Вечно лаял. Кусал нас за руки. Остальные псы сторонились его. Мы назвали этого поганца Лишай.

Гордостью нашей стаи являлся пес по имени Акела. У него были стройные лапы, большие острые уши и длинная волчья пасть. Его шерсть отличалась благородным серебристым оттенком. Он верховодил в стае: если Акела шел куда-то первым, все щенки спешили за ним.

Когда щенки крепко усвоили несколько команд, мы решили: дело сделано. Осталось только, чтоб они приносили по команде палку – этот фокус всегда впечатляет.

* * *

Мы часто ездили на велосипедах в лес на большой песчаный карьер. Однажды целый день и ночь шел ливень. Карьер залило водой, словно гигантскую чашу. Песок со стен карьера целыми пластами с шумом осыпался в воду. Темные ели и сосны стояли над мутной оранжевой водой. Увидев такое преобразование карьера, мы изготовили плот. Наш плот с трудом держал одного человека, и мы по очереди катались на нем по воде.

Щенки бегали в лес вместе с нами. В первый раз увидев лес, они совершенно одурели от запахов: разбежались во все стороны, с лаем носились по поляне и катались в траве. После они всей стаей окружили огромный муравейник с рыжими муравьями, гавкали, приняхивались к нему и чихали.

Боцман уже побывал в воде, поэтому Витька затащил его на плот. Но Боцман испугался, прыгнул посреди карьера с плота и поплыл к берегу. Он кое-как выбрался на сушу, отряхнулся и долго фыркал из-за того, что наглотался воды.

Однажды по пути из леса домой мы встретили нового человека. Этот человек носил звучное имя – Мартин. Он появился еще в начале лета, но тогда мы впервые встретились с ним лицом к лицу.

Мартин сказал:

– Прекрасная погода!

– Ага. Ну да. Погодка ничего, – ответили мы вразнобой, потому что такими фразами, как Мартин, никто у нас не говорил.

Мартин был хромой мужичок с покатыми плечами, однако же он так проворно бегал по улицам, появляясь то тут, то там, словно хромота помогала ему в ходьбе, а не мешала.

В начале июня Мартин поселился в черном доме с выбитыми стеклами на окраине, за пустырем позади нашего дома, где в тени рябин и кленов раскинулся большой темный пруд с гусями. Вскоре в доме появились стекла. Забор поднялся из зарослей крапивы. Наличники окрасились в синий цвет.

Изредка Мартин проходил мимо конюшни на ту сторону реки. Всегда тащил рюкзак за спиной, в руках держал топор или пилу, а в его рюкзаке звякали инструменты и детали.

Как-то раз он постучал в окно нашего дома. Дед вышел на его стук и вернулся со словами:

– Калымщик приходил.

Сергеа говорил, что Мартин – темная личность и еретик. Кто такой еретик, Серега плохо понимал. Еретиком же Мартина называла бабка Сергеи, набожная резкая и горластая старуха, слегка сумасшедшая и похожая на долговязого кощея в черной юбке.

Когда Мартин поздоровался с нами и мы разминулись на дороге, наша стая с интересом окружила его и проводила до поворота. Собаки то нюхали его подвернутые пыльные сапоги, то прыгали, выпрашивая подачку.

* * *

Я учил щенков бегать за палкой, но не особо старался. Мне было жаль с ними расставаться. Поэтому, если парни спрашивали, когда я наконец научу собак этому фокусу, я отвечал уклончиво. В любом случае про запас всегда оставался Лишай, который никогда палку не приносил, а вместо этого норовил подпрыгнуть и вцепиться в нее, пока я держал ее в руках перед броском.

Но вскоре наша стая показала характер. Оттого что щенки росли на воле, они стали сильны и своевольны. Они убегали далеко от конюшни и возвращалась только к вечеру. Начали они свои славные походы с того, что всей стаей перешли по мосту на тот берег, пробежали мимо лошадей, залезли в чей-то огород и стали гоняться там за козами.

Мы рыбачили на нашем крутом берегу и наблюдали за ними с высоты.

Щенки впервые увидели коз так близко. В них сработал волчий инстинкт. Они прыгали вокруг бедных коз и тявкали. Лишай даже вцепился одной в ногу, а умный Аке-ла стал грызть веревку. К нему присоединился Флюгер и Боцман, и веревку они перегрызли. Другая коза сорвалась с привязи и убежала в ограду. Лишай с лаем бросился за ней вдогонку. В ограде этот беспутный пес придушил белую курицу, выскочил из дома с добычей в зубах и побегал через огород в нашу сторону.

– Вот так дела! – присвистнул Серега, то ли радуясь за наших щенков, то ли осуждая их поступок.

Из дома появился старик с вилами. Старик страшно гневался. Он швырнул свой трезубец, словно копье, в Лишай. Лишай отпрыгнул и выронил дохлую курицу из пасти. Трезубец вонзился в землю и закачался. Щенки тут же сиганули прочь и скрылись в густой ивовой роще за огородом.

Старик отменно, художественно матерился.

– Ты же учил их команде «фу»! – возмутился Витька.

– Я знаю методику, но результат зависит от практики, – ответил я словами из учебника по кинологии, – а практики мало. И вообще – никто им не кричал «фу».

– Это не щенки – это дикие собаки динго, – добавил Серега со свойственной ему мрачностью.

Наши собаки выскочили из кустов у реки мокрые и растрепанные. Они отряхнулись, полакали воду у песчаного берега, вереницей перебежали мост и потрусили по своим делам через березовую рощу.

Тогда я приналег на дрессировку. Все как один щенки отлично выполняли простые команды, и я удивлялся: так притворяются, что все понимают, а после бегут через реку

и творят что вздумается – эти псы явно умнее, чем мы думаем.

Помню жаркий день. Я проснулся рано. Витек прибежал ко мне, и мы пошли на реку, захватив с собой вилки на пескарей. Мы побродили по мелководью. Витьку везло: он набил десяток рыбин. Я все время мазал. Тогда я бросил вилку, забрался на обрыв и достал из кармана бинокль – я своровал его у деда уже в десятый раз.

Я глядел в бинокль: на той стороне реки, во дворах, вдруг кланялся то один, то другой журавль-колодец. Я перевел взгляд на лошадей – даже видел, как оводы кружат вокруг них. Посмотрел вдаль на дорогу, где проехал лесовоз, груженный бревнами.

Пока я смотрел в бинокль, в голову мне пришла неразрешимая мысль. Я подумал: что такое время? Вопрос глупый и важный. Вот время идет, и щенки растут. Время идет, и кланяются журавли-колодцы на том берегу.

– Витян, что такое время? – спросил я своего друга, который лез на берег с полным пакетом пескарей

– Оно лежит в часах, – ответил Витек невозмутимо.

Тут я увидел в бинокль, как Серега изо всех сил мчит-ся по дороге на велосипеде. Он пролетел сквозь пыльное облако, что оставил за собой тяжелый лесовоз. Промчался по мосту, привстав над седлом, чтоб не отбить себе зад на колдобинах и ямах. Он не поехал по песчаной дороге, через сосновую рощу вдоль реки, а срезал путь и свернул на тропу, которая вела через луга.

– Серега гонит, – сказал я, – сказать чего-то хочет нам, поди.

– Опять от отца получил, – ответил Витька.

Затем на дороге из-за поворота показалась наша стая. Впереди трусил и гавкал, словно глашатай, Лишай. За ним вышавивал Акела. Затем шли Тарзаны и Боцман. Вокруг стаи носился Флюгер. Все псы, кроме Лишая, тащили что-то в зубах.

Серега промчался по тропе, спрыгнул с велосипеда, бросил его около моста и бегом взобрался на наш обрывистый берег. Он был сразу испуган и радостен. Он уселся рядом со мной и показал пальцем на собак вдали:

– Вижу, – ответил я.

– Они хлебный фургон обокрали, – сказал Серега, задыхаясь, со смесью гордости и волнения в голосе, так что я не понял, он против щенков или за.

– Дело плохо, – сказал Витька.

– Еще как плохо, – ответил Серега. – Как бы их не перестреляли за такие дела.

Серега отдышался наконец и рассказал.

Серега жил недалеко от магазина в двухэтажном доме. Пока он утром уплетал яичницу, то видел через окно вот что. Подъехал к магазину хлебный фургон. Из него, как обычно, выскочил парень. Открыл фургон, надел голицы и стал таскать в магазин деревянные подносы с хлебом. Вот тут-то наши щенки и появились из канавы под липами. Все псы запрыгнули в фургон, а мелкий Лишай уселся перед дверью в магазин.

Когда парень вышел из магазина, Лишай принялся гавкать на него. Парень попытался его пнуть, но злобный Лишай бегал вокруг и старался парня укусить, и пока парень вертелся, наши псы повыскакивали из фургона с добычей в зубах и понеслись галопом прочь, а Лишай припустил за ними.

– Может, они такие умные из-за того, что ты перетренировал их, а? – сказал мне Серега, закончив свой рассказ. – Они теперь собаки-вундеркинды.

– Чего мелешь, конопатый! – набросился на него Витек.

– А чего? Мозги выросли от напряжения, понял! – ответил Серега.

Тут мы принялись галдеть и спорить, отчего собаки так нахальничают, но все же в глубине души мы гордились сноровкой и острым умом наших псов.

* * *

На следующий день мы решали судьбу щенков.

– Надо продавать, – повторил Витька в сотый раз.

В углу конюшни Лишай сладострастно рычал и глодал корку от буханки. Огрызки хлеба валялись на земле вокруг. Другие собаки спали вповалку в тени берез. Флюгер на том берегу гавкал и бегал вокруг лошадей.

Витьку жалко было отдавать собак, но деловая хватка в нем побеждала сердце. Тогда мы взяли обоих Тарзанов и привели их к дяде Валере, родственнику Витька.

Дядя Валера строил гараж. Он мерил рулеткой бревна, стоя в сапогах среди гор из щепок и опилок. В тельняшке, со своими толстыми сильными руками, мокрыми от пота, среди инструментов, бревен и гор щепы, он напоминал корабельщика, что в одиночку способен возвести парусник.

– Дядь Валера, купи щенка, – сказал Витек без всяких вступлений.

– На кой мне? – ответил мужик.

Витька и Серега разом посмотрели на меня, и я стал командовать, потому что моему голосу щенки подчинялись лучше всего.

Два Тарзана, повинувшись мне, сели, встали, снова сели, проползли на брюхе и сбегали за палкой. Дядя Валера даже не смотрел, он записывал карандашом цифры на клочке бумаги.

– Ну как? – спросил Витек.

– Циркачи, – фыркнул мужик. – Беру вон того, с пятном на лбу. На испытательный срок, – ответил охотник, также продолжая писать карандашом и мерить рулеткой.

– По рукам! – согласился с радостью Витек.

Мы отдали щенка. Его привязали в ограде. В глазах его затаилась бездонная грусть. Он скулил и рвался с цепи.

Однако на следующий вечер я пришел в конюшню и увидел, что оба Тарзана на месте. Мрачный Витек сидел на обрыве над рекой, подперев подбородок кулаком. Он рассказал, что прошлой ночью дядя Валера выскочил из дома на шум, грохот и лай собак. Похоже, второй Тарзан не выдержал разлуки и привел к дядьке в дом всю псиную шайку. Щенки прокрались в ограду и устроили там разгром. Наши brave псы подрались с двумя дядькиными лайками. Опрокинули набок мотоцикл. Сорвали в сених с веревки сушеную рыбу. Хозяин разозлился, отвязал Тарзана и пинком вышвырнул его из дома, а Витьку сказал, что пес испытательный срок не прошел.

– Собака – дрянь! – произнес Витек, передразнивая дядьку, и добавил, оправдывая Тарзана: – Ему надо привыкнуть к новому месту, а дядь Валера так сразу!

* * *

Часто по вечерам к нам заезжал Леха.

Каждый вечер я давал себе обещание, что обязательно спрошу его о войне. Но когда я, набравшись смелости, спрашивал его о службе, Леха пропускал мой вопрос мимо ушей.

Он помогал мне дрессировать щенков и всегда рассказывал о своей страсти – о бабочках. Леха так подбирал слова, что в его рассказах эти создания становились каким-то дерзкими, своенравными и почти жестокими существами. Он говорил о них с уважением и восхищением. И всегда называл бабочку «он». «Он летит». Или «я иду, а он перерезал мне дорогу», – говорил Леха так, словно какой-то невиданный олень кинулся ему наперерез из чащи.

Однажды посреди своего рассказа Леха поднял Лайку на руки и сказал:

– Отдай мне щенка.

– Бери, – сказал я, очарованный его историями. – Их у нас еще много. Еще семь человек.

Мы соорудили из веревки поводок, и Леха увел собаку за собой. Щенок оглядывался на конюшню, смотрел на нового хозяина и косился на веревку. Даже немного ее погрыз. Но вот они прошли по деревянному мосту и пошлагали по тропе в лугах, и вот – за поворотом тропы они скрылись за ивовой рощей.

На следующий день Витька и Серый обнаружили пропажу.

– Где Лайка? – спросил Витька.

– Да, где? – вторил ему Серега.

– Я отдал его Лехе, – ответил я.

– Ты дурак, что ли? – возмутился Серега. – Так всех раздадим!

– Надо с Лехи за собаку денег взять! – придумал Витька.

– Да, ты чего сразу не взял? – сказал Серега.

– Потому что я подарил, – ответил я.

– Все. Идем к Лехе, – сказал Витька.

– Да, идем. Зачем вообще щенка растили? Он с молока стал вон какой пухлый, – возмущался Серега.

– Езжайте, я не поеду, – ответил я. – Щенки тоже мои. Я просто так отдал. Как хочу, так и отдаю.

– Ну и дурак. Мы скажем, что пес наш. А раз наш, то мы и распоряжаемся, – сказал Серега.

– Ну и езжайте. А я тут посижу, – сказал я.

– Ну и сиди, – сказал Витька.

– Ну и буду сидеть, – ответил я.

– Ну и сиди посиживай, – сказал Серега.

Они укатили не велосипедах по тропе через луга – к Лехиному дому напрямик.

Я спустился с обрыва и уселся на деревянный мост, свесив ноги. Смотрел на пескарей, что плавали стайками у песчаного дна. Но в гневе нет покоя – я вскочил, запрыгнул на свой велосипед и умчался прочь.

Я долго крутил педали и уехал далеко. Солнце садилось. По обе стороны дороги, вдалеке, высились тут и там желтые стога. У обочин из канав, полных дождевой воды, густо поднимался розоз. Толклись комары.

Когда я совсем задохнулся, повернул обратно. Солнце светило теперь со спины. Глубокие синие тени залегли в полях у ивовых рощ, и вдали у леса поднимался туман. Стая птиц низко пролетела над дорогой. И оглянувшись, я увидел: исполинское алое светило падает в бездонном космосе, скрываясь за кромкой леса. И я подумал: лето быстро проходит и все живое скрывается и жухнет. А после трава снова пробивается сквозь лед и снег и оживают мириады тварей. Что это такое вообще? Бесконечная попытка жизни, борьба огня с холодом и льдом? Вдох и выдох? Мысли эти возникали как внезапные резкие чувства, а не просто слова, и от них у меня кружилась голова.

Я медленно ехал обратно. Сгущались тени. Закричал у самой дороги козодой. И далеко в поле, в тумане, – прокричал еще один.

Проезжая в селе через мост, я увидел костер. Он горел под обрывом у нашей конюшни. Я повернул и поехал на свет костра по песчаной дороге через рощу.

У костра я увидел Витьку и Серегу. Они натаскали из реки ракушек. Серега вскрывал ракушки ножом, чтоб нажарить языков. Витька вертел в руках мертвого рябчика. На лицах моих друзей застыла смущенная гордость.

– Леха рябчика отдал за щенка, – сказал Серега.

– Сказал, уговору не было, – продолжил его мысль Витек, так и этак переворачивая рябчика. Витька достал из кармана и раскрыл громадный складень – он собирался рябчика этим ножом распотрошить.

– И правильно сделал, – ответил я.

– Но рябчик ничего, жирный, – сказал Серега. – Хоть суп вари.

– Пожарим сейчас, – добавил Витек.

Рябчик напоминал худую, мелкую курицу.

Витька и Серега разделяли добычу на доске от забора. Они фыркали от перьев и ругались. Наконец насадили бедную ободранную птаху на железную проволоку и стали жарить.

Запахло жареным мясом. Щенки наши изредка показывались из тьмы. Их умные морды появлялись в свете костра. Они принюхивались, но близко не подходили. Мы слышали, как они играют и возятся вокруг в траве.

Меня медленно отпускала та мысль-ощущение: редкое постижение единства мира – назвал бы я его сейчас. Но слова – только слова. Они не могут изобразить, что человек шкурой может чувствовать, как огненное светило с необратимостью рушится за горизонт и что тени деревьев глубоки и прекрасны.

Потрескивал костер. Мы услышали шаркающие неровные шаги – кто-то прошел в темноте по деревянному мосту, который наравне с заброшенной кузницей, щенками и этой березовой рощей, мы тоже считали своим. Зашуршала трава под тяжелыми шагами. Раз и другой кто-то остушился в воду под обрывом.

– Добрый вечер, странники! – услышали мы хрипловатый тонкий голос.

Из темноты появился Мартин, тот самый новый поселенец в наших землях, которого мы встретили, когда возвращались из леса.

Он бросил на землю длинную пилу и тяжело уселся у костра. За спиной у Мартина висел худой брезентовый рюкзак.

– Добрый вечер! – степенно за всех ответил Витек, потому что он лучше всех умел обращаться со взрослыми.

Мартин смотрел в огонь и чесал подбородок черными ногтями. В щеки у него врезались необычные глубокие морщины. Они шли от скулы вниз, словно порезы ножом.

Мы молчали, переглядываясь. Псы бегали вокруг костра, рычали и боролись в траве. Они подбегали к Мартину, нюхали его и вновь скрывались в темноте.

– Хотите рябчика? – наконец прервал тишину Витек.

Он разрезал птицу ножом и раздал всем по куску, насадив каждый на обструганную острую веточку.

– О! Благодарю, молодой человек! – Мартин улыбнулся.

Я попробовал: костлявый рябчик сгорел. Я тайком выплюнул горелое мясо.

– Прекрасный рябчик! – сказал Мартин, доев свою порцию.

Слово «прекрасный» снова нас смутило. Сначала был «прекрасный день», а теперь «прекрасный рябчик», хотя и совершенно пережаренный.

Мартин вдруг заговорил о том, как много лет назад он точно так же сидел у костра с друзьями, но костер они развели на берегу океана. Мы не понимали тогда, что этот одинокий человек носил в себе множество рассказов и мыслей. Мартин рассказал, что он работал на Дальнем Востоке. И в длинном рассказе своем он обрушил на нас такие образы, каких мы осмыслить никак не могли.

– А во тьме – бездонная глушь океанских глубин, – сказал Мартин, заканчивая рассказ.

И еще помню, он сказал:

– Что за природа у огня? Я тогда думал, думал. Глядел в огонь. Думаю и теперь.

Он посидел с нами еще в тишине – мы не решались снова заговорить при нем, – покурил и ушел со словами:

– Ну, посидел, отдохнул. Пойду домой.

Он отправился в путь, скрылся в темноте среди белеющих берез. Ушел в свой дом на окраине. И какая тоска была в его шагах. Одинокий человек шел домой летней ночью. Сквозь свое тяжкое бытие. Сквозь желание поговорить с кем угодно, даже с простыми мальчишками. Но мы не могли почувствовать и крохи его тоски – мы, чудесные молодые варвары, тут же забыли о Мартине, но каждый

вспомнит о нем через много лет. А тогда мы смеялись над ним, сидя у костра. Но если б любой из нас перешагнул свою мальчишескую гордость, то он признался бы, что слово «океан» еще звучит в его ушах.

* * *

Весь следующий день мы купались в громадном пруду в соседней деревне и только вечером покатали на велосипедах домой. Наши псы вереницей трусили за нами. Прохожие сторонились наших питомцев и поругивались, а сторожевые собаки бесновались и лаяли за заборами.

Когда мы проезжали перекресток у магазина, в котором допоздна работала пивная, у Сереги на велосипеде слетела цепь. Мы остановились и ждали его. Псы наши принялись кто чесаться, а кто играть. Флюгер, развесив язык, носился по обочине туда и обратно.

Тут дверь в забегаловку распахнулась. Из двери выскочил человек. Мы узнали его: это был тот самый мужик, что спас нас от Кисы прошлым летом. Как это всегда бывало с такими неприкаянными людьми, никто не знал его настоящего имени. Все знали только его кличку – Кальсон. Кличка кажется обидной, но если не связывать ее со словом «кальсоны», то это прозвище вполне походило на имя какого-нибудь французского графа.

Так вот, Кальсон выскочил из кабака. Один рукав его рубахи был разорван. Вслед за ним из двери вырвались трое. Они размахивали кулаками, божились убить Кальсона на месте и наседали на него. Кальсон то кидался на мужиков, то отпрыгивал, но под их натиском он все же отходил. Противники Кальсона были безобразно пьяны, поэтому драки не получилось. Кулаки рассекали воздух, но каждый раз мимо, кто-то из них спотыкался и падал, его поднимали, и они снова теснили Кальсона, а Кальсон тактически верно отступал и рычал ругательства.

– Вот это да! – присвистнул Витька.

Вскоре враги устали гонять Кальсона по улице и повернули обратно в кабак. Один из них, тот, что больше всех падал, все рвался в бой и грозился растерзать Кальсона в

ключья, но приятели силой утащили его. Кальсон, пошатываясь, закатал рукава рубахи, сплюнул на землю кровь и пошел прочь.

Акела зарычал на Кальсона. Пес потянул носом воздух и гавкнул. Ему не понравился запах спирта. Тогда всей сворой наши собаки бросились на мужика.

– Акела! Фу! – крикнул я, но тщетно.

Собаки гавкали и бежали за мужиком, а тот шел себе так, словно стая собак вокруг него – комарье.

Тут Лишай вырвался вперед и вцепился мужику в ногу. Мелкий бесовский пес страстно желал укусить человека и наконец исполнил свое желание. Мужик выругался и пнул Лишая – пес подлетел в воздух. Кальсон пошел дальше. Собаки еще пуще запрыгали вокруг. Лишай снова кинулся на Кальсона, а тот вдруг нагнулся, схватил пса за черную лохматую шкуру и потащил, словно кота.

Тогда мы поехали за Кальсоном. Мы думали, он скоро бросит собаку, ну, в крайнем случае отвесит ей пинка и тогда уж точно отпустит. Но мужик все тащил Лишая. Тогда мы подъехали ближе и закричали:

– Мы вас знаем! Кальсон, отдайте собаку! Она наша!

– А стала моя! – ответил мужик.

Сначала Лишай извивался и рычал в руках похитителя, но вскоре затих и только повизгивал. Мы спешили и повели велосипеды, держась поодаль. Так мы вместе с нашей стаей проводили мужика до его скособоченного дома и вернулись ни с чем.

На следующий день после купания в пруду мы приехали на велосипедах к похитителю Лишая. Набравшись храбрости, Витька и я постучали в окно. Серега на дороге, присев на свой велосипед, держал наши стоймя, словно лошадей под узду, чтоб нам сподручней было вскочить на них и удрать, если похититель нападет на нас.

Кальсон открыл окно и выглянул. Он был хмур и печален: в его глазах пылала тоска мученика.

– Отдайте щенка, Кальсон! – выкрикнул Витек и отскочил на всякий случай подальше.

Мужик захлопнул окно, обругав нас по матери.

Тогда мы пришли к нему на следующий день.

В дымину пьяный Кальсон сидел перед домом на лавке. Подходить ближе мы побоялись. Лишай лежал на лавке, положив морду мужику на колени. На нем был ошейник с веревкой. Увидев нас, он закрутил хвостом, зарычал и залаял – этот пес никогда не умел правильно радоваться.

Мы посовещались и крикнули хором:

– Вы у нас щенка забрали! Верните!

– Эта падла меня покусала, – ответил Кальсон.

– Он ученый! На продажу заготовлен. Давайте тогда денег за него! – крикнул Витька.

– Чему еще учен? – спросил Кальсон. – Я собак ученых не жалую.

Еще неделю мы приезжали на пруд в ту деревню. Купались и шли к похитителю. Иногда Кальсон отказывал нам в приеме. Иногда он сидел на лавке, а Лишай бегал на длинной привязи и тявкал на прохожих, а когда не было прохожих, наш глупый пес тявкал просто так, задирая пасть к небу. В такие дни мы вели с Кальсоном трудные переговоры, усевшись на обочине дороги.

Иногда я командовал просто так:

– Лишай! Лежать!

Пес ложился.

– Сидеть! – кричал Витька.

Лишай садился, гавкал и чесался.

Но Кальсона эти фокусы не впечатляли. За эту неделю мы поняли, что несчастный мужик всегда находится в одном из трех состояний: он мог быть либо пьян, либо мрачен, словно могильная плита, либо духом восхищен.

Первые два понятны, а вот его третье состояние выразилось так: подперев подбородок рукой, Кальсон сидел на лавке перед домом с неподвижностью статуи и вдруг бросал фразу:

– Что я видел, а?

Говорил он так, будто видел он мало. Совсем мало и теперь сокрушается и рыдает.

Мы в недоумении переглядывались.

А после та же фраза:

– Что видел я? – произнесенная совсем другим голосом, трагически, приобретала смысл такой, словно Кальсон не

просто прошел между Сциллой и Харибдой, но еще и одолел этих чудищ в неравной и кровавой битве.

Слов у Кальсона в голове водилось не так много, чтоб выразить наболевшее, но тон голоса его не подводил.

За неделю переговоров мы поняли расписание похитителя. Через день, ровно в четыре после полудня, Кальсон отправлялся в магазин, оставив Лишай на привязи в ограде. Когда он проходил мимо нас, мы отбегали на другую сторону дороги. Возвращался мужик через полчаса той же дорогой с тощей сумкой, в которой звякали бутылки.

Тогда, подгадав нужный день, мы подкрались к его дому и залегли в траве. Увидев, что Кальсон ушел, мы проползли по сухому, заросшему травой огороду и вошли в ограду. Тут ничего не изменилось: все так же летали под потолком ласточки в лучах солнечного света, покоилось в пыли и запустении хозяйство.

Лишай затыкал и запрыгал на месте, срываясь с поводка. Мы отвязали его, при этом меня и Серегу он покусал, и утащили с собой.

Вернули мы нашего пса слишком легко, подумал я тогда.

Мы пришли на пруд и до вечера купались. Лишай бегал у мелководья, прыгал в реку, фыркал и тут же выскакивал из воды и таякал на лягушек.

* * *

Возвратив Лишай, мы держали совет. Мы решали, что нам делать со щенками дальше. Пока никто не собирался их покупать. Серега стоял за немедленную продажу. Витька крепко задумался. Из вилки и длинной палки он мастерил новую острогу для охоты на пескарей. На куске точильного камня он затачивал вилку.

– Нужны такие команды, такие, – сказал он, – чтоб точно взяли. Чтоб собаки газету приносили, как в кино.

– Ну ты дал, Витян, у нас почтальон газеты в ящики засовывает. И ящики железные, – захохотал Серега.

– Да ты не понял, дурило конопатый, – сказал Витька. – Нужно чтоб люди поглядели, что собака вытворяет, обалдели и тут же купили собаку.

– Точно! – обрадовался я, потому что расставаться со щенками не хотел. – Научим их сумку носить из магазина. Я видал такое. И всякому другому научим.

Я снова взялся за учебник по кинологии. Вдобавок я сам изобретал команды и тянул время, чтоб щенков не раздавать, хотя не понимал, что мы будем делать с ними зимой. Но я решил так: приведу собак домой и спрячу в сарае за огородом.

Вдобавок, я ради любопытства уже давно учил Флюгера сидеть, лежать и давать лапу под совершенно неподходящие слова. Так я точно удостоверился, что собаки смысла слов не понимают. Хотя, повторяя с Флюгером команды, я вдруг подумал, что он наоборот – очень даже умен: что просят, то и делает, а какие при этом слова говорят, ему то что?

Пока я учил Флюгера невероятным выдуманым командам, у нас нашлись дела не менее интересные. Через сложнейшую систему обменов и займов мы задолжали всем своим приятелям в округе, но все-таки достали нужные детали для мопеда, влили в него бензин – и мопед поехал. Мы опробовали его на желтой песчаной дороге, что вела к березовой роще, где стояла наша конюшня. Мопед гремел, трещал, чихал и походил на какое-то бешеное механическое насекомое, готовое то ли лопнуть от перегрева, то ли взречь и умчаться в небеса.

Мы жгли бензин и носились по тропинкам в лугах. И это было лучшее занятие на свете. Длинная трава хлестала по коленям. Мопед оглушительно трещал. Тропа виляла и вдруг падала с холма к реке. Щенки бежали за нами и гавкали.

Обычно я тренировал щенков вечером. Вдоволь накатавшись на мопеде, наловив пескарей и сороги, я приходил на наш берег. Я повторял с щенками команды. Все старое они знали назубок – могли легко выполнять всей стаей. После я учил их новому, но тщетно. Щенки не понимали моих слов: то ли мозг собачий больше не вмещал команд, то ли прошло нужное время.

Под обрывом у воды, на песчаном берегу, мы разжигали по вечерам костер. Позади конюшни тянулись огороды,

и под покровом темноты мы воровали в огородах молодую картошку, чтоб ее на этом костре испечь.

В эти вечера из села возвращался Мартин. Он срезал путь по тропе через луга. Он кланялся при встрече, как-то не по-нашему приподняв шляпу над головой. Витька отвешивал ему церемонный поклон, а Серега фыркал и отворачивался.

Так же, как в первый раз, когда он говорил об океане, Мартин, присев у костра, всегда сначала долго молчал. Мы уже привыкли к нему и болтали о своем. После Мартин начинал рассказ для одного себя, и мы замолкали, потому что речь его несла в себе сердцевину особой правды, как будто все что мы слышали до этого можно обозвать словами: треп и болтовня. Мартин с поэтической грустью говорил сразу обо всем, как будто обнимал своим разговором целый мир. Вскоре из его рассказов стало понятно, что он долго жил где-то на Севере и там он вел такой же, почти средневековый способ существования: калымил, нанимался копать, ворочать, грузить, просто брался за любую мелкую работу и чинил дизеля.

Он говорил, как хорошо на Севере, резко и холодно:

– Будто судия глядит.

О море на Севере выразился так:

– Хладный, мрачный исполин.

О бытовых делах, которыми он занимался здесь, Мартин обычно рассказывал со смехом:

– С божьей помощью да в поте лица подняли бабке Нине ветхий забор из бурьяна, восстановили, так сказать, из праха.

Или так:

– Вскопал рабе божьей Антонине огород, чтобы весною земле дышалось легче.

Иногда он говорил о несправедливости, о громадной несправедливости, будто эфир, разлитой в мире и все отравляющей. И тогда от его рассказов меня душила тоска: Мартин рассказывал о дорогах и холодных гремящих поездах, что летят, обледенелые, в морозной тьме. Рассказывал о том, как его однажды в поезде избили и ограбили.

Еще помню, как-то вечером он проходил мимо, а я повторял с собаками старые команды. Мартин еле ноги волок от усталости. Он перешел мост, уселся на траву на обрыве и закурил. Поглядев, как собаки послушно садятся, встают и бегают за палкой, он покачал головой и с совершенно непонятной мне тогда печалью и спокойствием сказал:

– Смотри-ка, все понимают. Хотя и тоже – лишь прах земной.

* * *

Наш друг Дима не походил на своего отца. Хотя все взрослые и считали его отъявленным бандитом, Дима обладал спокойствием и твердостью. Отец же Димы, долговязый мужик, по кличке Мастак, напротив, – носил в себе ярость и вспыльчивость, которые перемежались внезапными и длительными приступами мертвой лени.

Машины и механизмы бунтовали против Мастака, а животные отказывались ему подчиняться. Мастак ломал свой мотоблок, после целый месяц чинил его перед домом, а затем бросал, доверив судьбе. Мотоблок зарастал травой и ржавел. После Мастак откапывал его, чистил и снова брался за починку, и снова тщетно. Поздней осенью Мастак обязательно застревал на тракторе в грязи и бросал груженный прицеп. Тут ударяли заморозки, и прицеп намертво вмерзал в землю. Затем его заносило снегом, и однажды прицеп, груженный торфом, замело снегом доверху, и он так и простоял всю зиму в поле, словно курган. Но более всего Мастак славился тем, что два раза за одно лето падал в реку с моста на тракторе. И каждый раз, невредимый, выбирался из пучины вод и оставлял машину на дне. Торчало колесо из воды. Прохожие собирались на мосту. Мастака увольняли, а трактор вытаскивали трелевочником.

Никто не хотел брать этого мужика на работу. Но Мастак, отлежавшись дома после очередной неудачи, обходил все конторы, и его в конце концов снова кто-нибудь нанимал. Все потому, что Мастак обладал в своем роде ораторским талантом: он так ругал свою будущую работу и клялся разделаться с ней за день, что всем тоже казалось, будто дело тут и вправду пле-

вое и даже Мастак с ним справится. А еще его брали потому, что он поначалу работал без сна и отдыха и хватался за любое дело так, словно от работы этой зависит его жизнь. И расчет у его начальников был на то, что Мастак успеет закончить хотя бы половину дел до той минуты, когда с такой же страстью все бросит или снова погубит какой-нибудь механизм.

У Мастака еще был жив отец. Этот бородатый нелюдимый и гордый старик держал лошадей. Получалось, что в селе было всего четыре лошади: две паслись на лугу у реки и принадлежали лесникам и еще двух держал отец Мастака.

Как-то зимой Мастак взял лошадь у своего отца, но на следующий же день она от него убежала.

Помню, как мы брели из школы. И вдруг тяжелый перестук послышался из-за поворота: эхо заметалось между домов. Мы поначалу и не поняли, что означает этот звук. И тут лошадь, с длинной желтой гривой, лошадь буланой масти, с тяжелыми копытами, крепкая, с длиннющим спутанным хвостом, лошадь, как видение из других времен, показалась из-за поворота и пронеслась по сверкающей, стянутой льдом дороге. Из-под копыт взлетал снег и расколотый лед. Лошадь бежала с дикой мощью в каждом прыжке, и нам казалось, что она мчалась без всадника или повозки в десятую часть своей силы. После из-за поворота появился Мастак. Он трусил с веревкой в руке, задыхался и матерился на всю улицу, грозя лошади кулаком.

Кратко и ясно описал характер Мастака мой дед:

— Непутевый мужик, — сказал он.

Так вот, Мастак тем летом зарезал поросенка. Все резали скотину зимой, а он со зла прибил поросенка ломом в середине лета. Пришлось разделывать, чтоб мясо не пропало.

А дальше произошло вот что: наша свора услышала, как взвизгнул перед смертью несчастный поросенок, щенки почуяли запах крови, и в наших псов вселился волчий инстинкт и стайный общий разум. Псы двинулись в очередной налет: по канавам, по садам, через огороды и заросшие тропы они подкрались к дому Мастака.

Поросенка Мастак подвесил на крюк в ограде и ушел домой, чтоб приготовить тазы под мясо. Наша банда пробралась в ограду. Щенки сорвали тушу с крюка. Только Лишай

стал гонять кур, и хоть ни одной теперь и не задушил, зато здорово оттрепал петуха. Вцепившись в сорванную тушу, наши псы утащили поросенка в овраг, где и обглодали. После они побежали домой – у каждого морда вымазана в крови, а в зубах по кости.

Мастак вышел во двор нескоро – искал подходящий нож для разделки, после точил его, потому что нож был тупой. А когда мужик вышел в ограду, то увидел, что поросенок пропал. Мастак выскочил на улицу и побежал по кровавому следу. Он ругался так, что осыпались небеса. Он нашел далеко за домом, у роши рядом с прудом место пиршества, вдалеке он увидел и вереницу собак.

Мастак выследил щенков. Он подъехал к нашей конюшне на мотоцикле и сдернул с плеча ружье.

Мы в то время далеко, ниже по течению, ставили сеть поперек узкого места реки. Мы слышали выстрел. Издалека мы увидели, как злобный мужичина, в расстегнутой рубашке, испачканной кровью, которая развевается у него за спиной, будто плащ, несется к нашей конюшне и заряжает двустволку. Мы увидели облако порохового дыма, что рассеивалось над его головой, и наших щенков, что удирали врассыпную, в кусты и в заросли осоки.

Мы бросили сеть и побежали спасать щенков.

Хлопнул второй выстрел. Взвизгнул щенок. Дробью осыпало воду.

– Я вашу мать растакую во все дыры! – но слова эти лишь жалкое подобие тех клятв, что выкрикивал разгневанный мужик.

Мастак бежал вдоль обрыва и палил во все стороны. Мы бежали за ним, но отставали. Когда Мастак повернул обратно, мы спрятались от него – бросились под обрыв и залегли за соснами на горячем желтом песке. Мастак прошел мимо. Истратив годовой запас пороха и ругани, он укатил на мотоцикле.

Вечером щенки прокрались в свой дом.

Все щенки были целы, только один из двух Тарзанов хромал на заднюю лапу и скулил. Щенок прижимал уши и лизал нам ладони. Мы принесли из дома перекись и бинт и как смогли промыли и перевязали его рану.

* * *

На следующий день ко мне в дом постучался Дима, городской бандит и сын Мастака.

Я вышел к нему. Мне было стыдно за то, что натворили наши питомцы, но пока я подбирал слова, Дима сказал:

– Пойдем. Мне собака нужна для охоты.

Так Дима дал понять, что разногласия улажены. Он ставил петли на птиц, и для такой охоты собака совсем ни к чему. Но наши щенки сожрали поросенка – и нужно было за него хоть как-то заплатить.

Мы пришли на берег. Дима выбрал здорового Тарзана, надел на него цепь и повел за собой. Подстреленный Тарзан-второй показался из конюшни, где он скулил в темном углу, и похромал за своим тезкой – он не мог с ним разлучиться. Взглянув на раненого пса, Дима сказал:

– Я его вылечу.

И они ушли: мальчишка шестнадцати лет и две пятнистые неугомонные собаки.

– Ну дела, – сказал Витек.

– Справедливо, конечно, – оценил поступок Димы Серега: – Но щенки кончаются.

– Нужно срочно продавать, – сказал Витька.

Мы посадили псов на поводки и повели их за собой. За один день мы обошли всех своих друзей. Парни удивлялись собачьему уму и подкармливали псов хлебом, но как только дело доходило до продажи, сделка срывалась – никто платить за собак не хотел.

Мы навестили Серегоного брата – тому собаки понравились. Он решил, что возьмет одну, но только бесплатно.

Под вечер мы пришли даже к Пальцу. У того недавно подох пес – та самая старая овчарка. У Пальца денег не водилось. Он сказал, что одному ему жить скучно, поэтому он возьмет у нас любую собаку, но только в долг.

Мы даже повесили объявление о продаже «чистокровных служебных щенков» на двери магазина, на том самом месте, где собаки разворовали хлеб, но никто не откликнулся.

Тогда мы собрались с духом, снова посадили всю нашу собачью свору на поводки и пошли к Витькиному дядьке во второй раз.

Дядь Валера посмотрел на нас через забор зловеще, с хитрым прищуром.

– Развели псарню! – сказал он.

– Дядьк, возьми вот этого, – сказал Витька и подтянул Акелу на поводке к забору.

– А что моёт? – спросил дядька.

Витек командовал, Акела бегал за палкой, ложился и перекатывался.

– Это не собаки, это циркачи, – сказал дядя Валера.

А когда он увидел, что Флюгер то же самое выделяет под команды «селедка», «паровоз» и «Копенгаген», то хохотал до слез.

* * *

В августе начался неотвратимый собачий исход. И первым от нас ушел Флюгер.

Безумный дядя Паша, тот, что говорил на собственном языке, как-то проехал на велосипеде мимо нас, и Флюгер, который всегда бежал, не сбавляя шага, кинулся за ним.

Мы закричали и засвистели, и пес развернулся и побежал было в нашу сторону, но вдруг передумал и снова бросился за велосипедом.

Паша крутил педали, велосипед скрипел, и собака бежала размашистым галопом за ним по обочине.

На следующий день мы поджидали Пашу. Как всегда в полдень он показался на дороге на своем старом велосипеде – рядом с ним бежал Флюгер.

Мы выскочили на дорогу им наперерез и закричали:

– Это наша собака, дядя Паша!

Мужик остановился и затрещал на своем наречии. Витька понимал его язык и поэтому первым заговорил с Пашей именно он.

– Дядь Паша, с вас... – Витька запнулся. Даже его предприимчивость дала сбой при виде этого мужика: растянутые на коленках спортивные штаны, клетчатая красная

рубаха с заплатами на локтях, кепка, очки с треснувшей линзой.

Паша ломал буханку хлеба и с хохотом скармливал ее псу. Флюгер ловил куски на лету.

– Дядь Паш, ну, в общем, с вас причитается. Собака ученая, – сказал Витек.

Паша что-то произнес, обращаясь к собаке. Он командовал. Флюгер наострил уши и вытянулась. Пес лег. Сел. Швырнул вперед одну лапу, после другую.

Паша рассмеялся и снова дал псу хлеба.

– Дядь Паш. Много не давайте ему хлеба, когда командуете, а то дрессуру испортите, – сказал я.

Паша с хохотом покивал. Сел на велосипед. Спихватился, сунул руку в сумку, пошарил там и отдал нам горсть леденцов.

* * *

Осталось три щенка – Акела, Боцман и Лишай.

Утром в понедельник мы поехали с ними на рынок. Серега говорил, что затея дрянная: никто не возьмет беспородных кусачих собак, одна из которых в придачу душит кур.

– Их не взяли бы, – сказал Серега, – даже если б они человеческими голосами умели разговаривать.

Витек набросился на Серегу и обозвал мямлей, глистой и соплеобразным существом. Они сидели в автобусе рядом и всю дорогу толкались и били друг друга кулаками по бокам.

Мы выбрали место на углу рынка, за его оградой, и привязали псов к фонарному столбу. Когда люди проходили мимо, кто-нибудь из нас командовал, а остальные предлагали купить «ученую собаку, выращенную на молоке и сале».

Собаки смотрелись словно комики. Акела и Боцман выполняли команду первыми, а Лишай гавкал, рычал, чесался и все время опаздывал – позже подавал лапу, ползал или ложился.

Люди бежали мимо и смеялись над нами и нашими собаками.

В полдень рынок стал разъезжаться. Машины, груженные мешками, бочками, ящиками и картонными коробками, по одной выкатывались из ворот.

Напротив через дорогу стоял ресторан. Заведение это, имевшее дурную славу, угнездилось в здании старого купеческого особняка. Фасад его давно не чинили. Водосточная труба проржавела. Два атланта держали крышу по обеим сторонам двери: они потемнели от старости, у одного была отбита рука. Между атлантами горела красная вывеска: «Елисейское поле».

Пьяный мужик, одетый в рубаху со сбитым набок галстуком в горошек, с пиджаком на одном плече, появился из ресторана и перешел дорогу.

Я уже просто так скомандовал – собаки проползли, – и Витька бросил им кусок хлеба. Затем собаки по команде сели и погавкали. Мужик остановился и прикурил. Когда он подносил зажигалку к сигарете, мы увидели на его кисти наколку в виде восходящего солнца. Мужик стоял, пошатываясь, с удовольствием курил и глядел на наших собак. Мы показали ему все, на что способны наши псы.

Тогда он сунул руку в карман, зазвенел мелочью и сказал:

– А что еще могут? «Фас» знают?

– Еще как! – соврал Витек и продолжил в том же духе: – Они и считать умеют. Сейчас умножение учат, деление уже освоили.

Мужик вытащил из кармана горсть мелочи, и Витек тут же сообразил, что нужно сделать: он сорвал с головы бейсболку и подставил ее мужику. Тот ссыпал монеты в кепку и ушел.

– Я же говорил, никто не купит. Надо было банку поставить. Мелочи бы накидали, – торжествовал Серега.

Витька пересчитал деньги:

– На газировку хватит, – сказал он.

* * *

Наступил сентябрь. Подул холодный ветер.

В сентябре собачий исход продолжался: теперь пропали Боцман и Лишай. С Лишаем все понятно – бестолковая собака наверняка попала в беду, решили мы. Или ушла, глупая, по своим делам и заблудилась. Или Мастак ее пристрелил. Мы искали Лишай в округе, но напрасно. А вот

куда делся Боцман, мы не могли догадаться – собака была самой покладистой.

У нас остался только благородный Акела – он вымахал неимоверно – да белая собака, что вечно убегала и редко появлялась в конюшне.

Но однажды в сентябре, пасмурным днем, мы увидели, как повторилась сцена у забегаловки: Кальсон вылетел из кабака, еле удержавшись на ногах. За ним так же выпрыгнули трое его врагов и что-то страшное закричали ему.

И снова завязалась дурная драка. Но на этот раз из-за угла выскочил наш Лишай и вцепился одному из врагов Кальсона в ногу. Тот заплясал. Лишай взлетал вместе с его ногой и рычал, словно тигр. Теперь Кальсон бился с врагами почти на равных.

Драка скоро стихла: думаю, собака решила исход дела. Эти пьяницы просто не поняли, как драться с человеком, если за него вступается какая-то бешеная шавка, и они уползли в кабак, ругая Кальсона и его пса последними словами.

Кальсон пошел домой. Пес потрусил за ним. Лишай все время лаял, при этом весь он сотрясаясь, а его ломаные уши подпрыгивали – этот пес гавкал всем своим собачьим существом.

– Лишай! Ко мне! – крикнул я.

Витька и Серега повторили команду. Но Лишай больше не понимал наших голосов.

В тот же день, поздно вечером, мы подъехали к дому, где жил Серега. Не слезая с велосипедов, мы болтали о том, как было бы здорово вместо мопеда нам собрать мотоцикл, – хотя прав ни у кого еще нет, но по проселкам ездить можно.

Вдруг мы услышали, как в ограде у Сереги залаяла собака.

Серега помрачнел и сказал:

– Ну, мне домой надо.

Собака снова залаяла, и мы узнали ее по голосу – гавкал Боцман.

Витька произнес, словно приговор:

– Все понятно. Вон как! Ты стыбил собаку.

– Я не тыбил. Я ее приютил.

– Боцман, голос! – заорал Витек.

Собака залилась лаем и зазвенела цепью. Пес высунул морду под воротами ограды и с трудом протиснулся под ними. Он кинулся к нам, но цепь звякнула и натянулась. Боцман споткнулся, крутанулся на месте и уселся на траве.

– Ты слямзил собаку, конопатый. А ведь такого уговора не было, – сказал Витька.

– У меня собаки нет. Он сам за мной пошел, – ответил Серега

– Ага! А ты еще свистел ему и причмокивал, чтоб он побыстрее бежал за тобой!

– Сам ты причмокивал! – Серега размахнулся, чтоб вдарить Витьку со злости, но Витька бросил велосипед на дорогу и отскочил.

– У меня не было собаки, – повторил Серега. – А теперь есть.

Серега зашел во двор и закрыл калитку за собой на крючок, дав понять, что нам к нему нельзя. Наш друг уселся на крыльце и отвязал Боцмана. Пес забегал по двору: то к нам, то к Сереге, то просто носился кругами и гавкал. Серега подобрал палку и стал швырять ее, а Боцман таскал ее обратно.

Витек повис на заборе и принялся изошряться в ругательствах. Он придумывал Сереге новые прозвища: мокрая папироса, барракуда и тухлый кисель. Серега отвечал тем, что изредка отругивался, показывал кулак, а один раз даже швырнул палкой в Витьку, но тот успел спрыгнуть с забора и спрятаться за ним.

Со временем Витька истратил словарный запас, а Серега перестал злиться, и мы стали рассуждать о том, что неплохо бы достать где-то бензина для мопеда, чтоб покататься на нем еще раз до наступления зимы.

* * *

Я уже знал, что будет в сентябре один холодный и ветреный день, когда вдруг потемнеет сам воздух, как будто намешают в него черной краски, и лохматые серые тучи опустятся к самым крышам домов, и стаи галок будут носиться, как бешеные, над серебряным куполом церкви и

высокими засохшими тополями вокруг нее, – обязательно будет такой день, и я вдруг стану так тосковать, что уйду куда угодно и долго буду бродить один.

И вот такой день наступил. Я пришел к нашей конюшне. Теперь она была брошена и пуста. И тут я понял, как страшен любой покинутый дом, хотя бы даже и дом для лошадей. Его черные окна, провалившаяся крыша, заросшие репейником и крапивой ворота: все взывало в моей юной душе к темной и мрачной памяти тысячелетий, и холодная каменная тоска давила меня.

Я спустился с обрыва и уселся на деревянном мосту, свесив ноги. Я смотрел то вдаль, следя за течением реки, то на камни под мостом, и движение воды завораживало меня и даже успокаивало.

По тропе в лугах шагал Мартин. Он сильно хромал и тащил за спиной тяжелый брезентовый рюкзак. Он прошел по деревянному мосту, поравнялся со мной и поздоровался:

– День добрый, молодой человек!

С тяжелым вздохом Мартин облокотился на перила и закурил.

– Возьму на себя сей малый грех, – сказал он, зажигая сигарету, и улыбнулся.

Он осторожно подносил сигарету к тонким растрескавшимся от ветра и холода губам и глубоко вдыхал дым, задерживая дыхание.

Я подождал, не скажет ли чего Мартин. Но он молчал дольше обычного. Тогда я решил рассказать ему о своих печалях. И я стал говорить о разливе реки весной, о том, как пролетают гуси в вышине. И еще о том, что непонятно откуда берутся жуки и щенки. И вообще, как рыба застывает подо льдом, а после оживает, почему не умирает все зимой, и зачем зимой у нас так холодно, ведь где-то есть синий океан, и он не замерзает, из какой дали прилетела комета, – ночью дед показывал мне ее в бинокль, – отчего весеннее тепло выпускает на волю миллиарды тварей, и кто знает о них все, и есть ли такой человек в мире? Такие слова и многие другие сыпались из меня.

Мартин слушал меня то улыбаясь, то хмурясь. Я поднял на него взгляд и увидел в его глазах такую серьезность

и сосредоточенность, что сразу осекся, замолчал и устыдился своего рассказа.

Тогда Мартин ответил мне:

– Все это божья игра.

Я снова глядел на реку, ворочая в голове слова Мартина и пытаясь их приладить к своему видению Бога – хотя это было не видение вовсе, а чувство. Бог мне виделся необъятным, невыносимых размеров вселенским архистратигом. Мне представлялось, как он, закрыв глаза, летит над нами в иконописном ангельском доспехе, но не движется никуда, потому что он и не летит вовсе, а просто вечно существует – такие противоречия меня не пугали. Именно так я его чувствовал – он был для меня грандиозный и потусторонний исполин.

Я очнулся от своих мыслей и хотел Мартина спросить: «Как это – игра? Ведь взрослые люди вокруг так серьезны?» Но Мартин уже уходил. Деревянный мост поскрипывал и раскачивался под его ногами. И я не решился окликнуть взрослого.

* * *

Вслед за кислым холодным сентябрем выдался солнечный октябрь. Ударил крепкий мороз, но снег не выпадал. Дорога заледенела. Поля покрылись инеем и засверкали. И я почувствовал, что это вознаграждение за черную осень и за этот синий морозный простор я готов терпеть любое заточение в осеннем мраке.

Большой пруд на окраине села покрылся толстым льдом и лежал под солнцем, словно темно-синее зеркало. После школы мы три дня подряд ходили кататься на льду на этот пруд – мы разбегались по берегу и после прыгали на лед, потому что коньков ни у кого из нас не было. Падали и, припав ко льду лицом, закрывали лицо ладонями от света и подолгу лежали так и смотрели в глубь холодной воды. Во льду мы видели застывшие жемчужные пузыри воздуха. Глубокие трещины, похожие на серебряные молнии, змеились в толще льда и сверкали под солнцем невиданными цветами. Таинственная тьма глубокой воды манила и усыпляла.

– Там здоровенная щука! – не унимался Серега.

– Я ее видел! – вопил Витек.

– Я тоже! – врал я вместе со всеми.

После мы пошли на реку глушить рыбу. Один старший приятель в школе рассказал нам, как это делать: рыбу надо разыскать подо льдом и шарахнуть по льду чем-нибудь тяжелым прямо над ней – рыба оглохнет. После надо сломать лед и вытащить ее. Мы взяли с собой увесистые палки и пошли на рыбью охоту. Акела побежал с нами.

Навстречу нам по тропе шагала бабка – та самая старуха, что не признавала дорог и ходила своими путями. В охре и серебре покрытых инеем лугов ее красный платок и черная одежда виднелись издалека.

Мы встретили ее у мелководья. Здесь через узкое место реки с одного берега на другой были переброшены, стянутые скобами, два березовых бревна. Они служили мостом. Когда бабка подошла к этой переправе, Акела вдруг налетел на нее. Он загавкал и преградил старухе дорогу на мосток. Бабка была мала и худа, и пес рядом с ней походил размерами на лошадь. Он мог бы возить бабку на спине.

Старуха остановилась.

– Сидеть, бестолочь! – приказала она и стукнула палкой в землю.

Пес замолчал и сел, наострив уши.

– Умен, – сказала бабка так, будто и не ожидала от собаки другого поступка и совсем не удивилась тому, что пес послушался ее.

Она достала из сумки буханку хлеба, отломил крупный кусок и бросила его перед псом на землю. Тот вмиг слопал хлеб. Старуха перешла реку по бревнам. Пес потрусил за ней. Бабка оглянулась и сказала:

– Ишь ты, важный какой. Целый волкодав.

Вольный пес ушел от нас, и теперь мы этому не удивились. Мы бегали и катались по льду и разыскивали крупную рыбу, что дремала в холодной воде.

А в ноябре вдруг потеплело, раскисла земля, и серебряный иней исчез с деревьев и травы. Дороги превратились в бурое месиво. Серое небо долго копило силы: оно с каждым днем опускалось все ниже и ниже. И вдруг повалил

густой снег и сыпал без передышки несколько дней. Застревали машины на дороге. Их толкали, вытаскивали трактором, ругались. Дед по три раза за день чистил дорожку к дому. Сосед привязал гончих. Гончие долго не могли успокоиться и боролись в снегу.

И в этом снежном ноябре мы увидели: Мартин идет нам навстречу, а впереди него трусит наша белая собака, что так и осталась без имени. Валил крупный снег. Мартин и белая собака шагали по глубокой колее. Мы совсем забыли об этой собаке, с которой все началось, потому что она всегда гуляла одна и редко появлялась в конюшне.

Мартин прошел мимо и смешно отдал нам честь, сказав:

- Приветствую вас, молодые друзья!
- Добрый день, Мартин, – ответил Витька.
- Здрасьте, – буркнул Серега.
- Салют! – ответил я.

Мы хотели погладить собаку. Она сначала шарахнулась от нас, но после все же с опаской подошла, нюхая воздух, и вдруг закрутила хвостом, стала тереться нам об ноги, тыкаться мокрым носом в ладони, поскуливать и падать на спину, подставляя живот.

– Не подошла сразу. Забыла, псина глупая, – ласково выругался Серега.

– Не забыла, она просто осторожная, – сказал Витек.

– Она полудикая, потому у нее инстинкты развиты, – сказал я, ввернув для важности слово из учебника по кинологии.

Белая собака вдруг вырвалась из наших рук и побежала за хозяином, потому что Мартин оглянулся и крикнул ей издалека:

– Ко мне, Лилька!

Татьяна ЧУРУС

Москва

ЗА ДВЕРЬЮ

Бабушка заболела. Дверь в комнату, где она лежала, закрыли почему-то на шампур: приколотили проушины, согнули шампур и вставили эту согнутую «шпажку» в «ушки». Как будто дети затеяли какую-то забавную игру, но до поры до времени не раскрывают тайны. Варька кинулась к матери: для чего всё это? – та отрезала: «Чтобы не болталась туда-сюда». Какое там «болталась»... бабушка уже и вставать-то не вставала. Родные Варькины тетки и жены дядьев – а бабушка родила аж семеро человек детей: пять дочек и двух сынов – дежурили теперь по очереди у постели больной. Не дежурила только меньшуха, тетя Шурочка: она вышла замуж за «этого алкаша проклятого», и он увез ее «на край свету», в село с чудным названием Кетово, что в Курганской области.

Поначалу тетки – благо «отгорбатили свое» и им не нужно было каждое утро тащиться на работу, не то что Варькиной матери, – радовались: наконец-то свиделись и наговорились с матушкой родимой – пекли блины и оладушки, варили борщи (никогда ни до ни после не едала Варька так сладко). Но радость быстро сменилась печалью. Тетки надели ватно-марлевые маски, резиновые перчатки, в доме у Бурковых запахло хлоркой и тоской. К бабушке Варьку не пускали. «Чтоб заразу не подхватила», – объясняла тетя Вера: она всю жизнь учительницей

проработала и всё на свете знала. Но на вопрос племянки: а какую заразу? – она лишь приложила пальчик к губам: мол, не твое собачье дело.

Комната, в которой закрыли бабушку, была смежной с «залой», где Бурковы вечерами смотрела «кунё», как любил говорить отец. Бывало, сидят, пялятся в телевизор, а из-за двери раздаются слабые стоны или высохший (так Варьке казалось) голосок бабушки: «Нина, Ни-на-а-а...» Мать, изнуренная этой болезнью (утром чуть свет бежала на работу, на «завод этот чертов, чтоб он сгорел», вечером «ходила» за бабушкой), вставала с софы, надевала маску, перчатки и плелась к заветной двери. И пока она вытаскивала «шпажку» из «ушек», Варька успевала ухватить краешком глаза большущую постель с высокой периной, на которой возлежала бабушка, словно «принцесса на горошине». Дверь быстро захлопывалась, мать о чем-то перешептывалась с бабушкой. А Варька с отцом, опустив глаза, сидели молча, даже в телевизор не глядели: ждали, когда мать выйдет оттуда. Она выходила, выдыхала, снимала перчатки, маску и молчала. Долго, мучительно молчала.

Однажды – Варька только-только прибежала из школы, мать была на работе, и дежурила тетя Тася: она, бедняжка, вымоталась, прилегла на софу и закемарила чуток – из-за двери раздался слабый стон: «Тас-ся...» Тетка «посыпыхивала в три ноздри», как говаривала бабушка, и даже не шелохнулась. «Тас-ся-а-а...» Варька вздрогнула. Подошла вплотную к двери. В груди ее забилась будто какая-то птица, что пытается вырваться из клетки на волю, – так билось в ее груди всякий раз, как девчонка ждала чуда... Тихонько вытащила «шпажку» из «ушек»... Комната была освещена ярким светом, и бабушка – Варька никогда не видела ее без платка, простоволосой, волосы ее, раскиданные по подушке, оказались совершенно черными, ни одной седой волосинки! – бабушка лежала высоко на подушках, и ее голову обрамляли лучи солнца. Она молчала, глядела на Варьку, улыбалась и не узнавала. «Ты кто?» – прошептала бабушка. Птица в груди снова забилась, Варька глотнула воздуха...

«Прилегла я чуток, – винилась перед мамой вечером тетя Тася, словно девочка, а слезы так и катились из глаз: глаза черные, как спелые виноградины, – а эта, антихрист такая, сейчас и шасть в комнату! Не углядела я!» «Куда тебя черти-то понесли? – трясла Варьку, словно яблоньку, мать. – Тебе же сказали: не смей туда ходить!» Но как только очередная тетка, утомившись, ложилась на софу и тихохонько посапывала, девчонка подбегала к двери, прижималась к ней щекой и слушала, слушала... Бабушка ворочалась, постанывала, иногда звала тетку или маму по имени...

«Хто тут?» – спросила она раз, когда птаха уж больно громко забилась в Варькиной груди. «Я...» – пропищала девчонка. «Хто “я”?» – пошевелилась бабушка. Варька заглохла, боялась проронить хоть звук. «Пес с тобой... – выдохнула болезная и замолчала, потом выдавила из себя: – Тяжко мне... – Варька прильнула к двери и подняла глаза к потолку, точно ждала манны небесной. – Помираю...» – бабушка застонала, Варька кинулась было вытаскивать «шпажку» из «ушек», но спящая тетка громко зевнула – софа закричала. Девчонка отпрянула от двери. Тетка вскрикнула что-то со сна, потом захрапела – и притихла. «Вот ить жизня... – еле слышно продолжала бабушка. – Думала, такую страсть пережила – войну эту проклятую, таперича мне и сам чёрт не брат. Пустое... Молодая была, шустрая. Семерых одна подняла... Петруша-то мой головушку ни за что ни про что сложил ишшо в 41-м... И как сдюжили?.. Эх, горе горькое... Там такой голод страшный пережили... такую нужду... Картоха казалась райским яблочком... Траву жрали – пучки, – это чтоб с голоду не помереть: утробу вспучит – вроде как полон живот, вроде понаелись... Уж такое лихо, такое лихо! А всё одно – молодость! Всё одно – живая, на своих ноженьках... А таперича вот что камень на вашей шее: и сама помираю, и вам никакой жизни не даю... Сколь ить могла ишшо понаделать... не успела... Эх, не вернешь того времечка золотого...» – бабушка горько заплакала. Горевала она о том, чего уже не вернешь, и о том, чего уже никогда не будет... Вместе с нею плакала и Варька...

Проснулась «дежурная» тетка – теть Аня, старшая бабушкина дочь, – оттащила зареванную Варьку от дверей, вынула из «ушек» «шпажку», вошла в темноту, в маске и перчатках... и завывала во весь голос: «Да милая ты моя, да на кого ж ты на-а-а-с...»

Вернулась с работы мать. «Отмучилась, отмучилась...» – скулила она и надрывно кашляла. А кто отмучился: сама ли мать, бабушка ли, – Варька на поняла. Она кинулась к матери, прижалась к ней, глаза зажмурила. «Она перед смертью говорила со мной!» – прошептала девчонка. «Ну что ты, дурочка, – улыбнулась мать, приголубила дочку, – она и двух слов-то уже связать не могла. Не выдумывай». «Говорила!» – закричала Варька, но мать только махнула рукой и опустила голову. Закашлялась – и голова подпрыгивала туда-сюда, будто солнечный зайчик...

Хоронили бабушку «всем миром». Кого только не было: тетки, дядья, их дети, внуки, «меньшуха», теть Шурочка, приехала «с самого края света». Помянули бабушку как положено – и добрым словом, и кутьицей, и водочкой, и маслом блинком...

А дверь в комнату, где умирала бабушка, долго еще стояла закрытая на «шпажку», словно там схоронилось «времечко золотое», которого уж никогда больше не будет...

Дмитрий НИКОЛОВ

Харьков

МАЧО

Сначала сквозь толпу протиснулся обтянутый майкой Metallica живот Костяного, а следом появилось всё остальное: забитые выцветшими татуировками руки и голова с лоснящимся хаером. Следом тянулся флёр неуверенности пополам с настырностью. Костяной, а в миру просто Костик, по-свойски поднялся на ступеньку невысокой сцены и перегнулся через пульт к друзьям. Игнат, натянув большие диджейские наушники и закрыв глаза, покачивался в такт музыке; Андрей курил, стряхивая пепел в пластиковый стаканчик с остатками пива. В своих зауженных джинсах и «цивильных» лонгсливах они казались несколько чужеродными колышущейся вокруг неформальной массе.

– Дрю, там нарисовалась одна неофиточка. Я познакомиться хочу. Когда дам знак, вруби Земфиру.

– Я сто раз просил меня так не называть, Костик.

– Не вредничай, лучше помоги по-братски. С меня пиво.

– Утром деньги – вечером стулья.

– Понял, не дурак – дурак бы не понял, – ухмыльнулся Костик и двинулся к бару.

– Два! – крикнул вдогонку Андрей.

Игнат открыл глаза, стащил с головы наушники и проследил за взглядом друга.

– Чего на этот раз хотел?

– Угадай.

– Третий раз за вечер одну и ту же песню?

Андрей только пожал плечами.

– Мог бы что-нибудь поновее сочинить, – Игнат чуть не отпил из стакана с окурками, но вовремя спохватился.

– А зачем, если схема работает?

– И как ему самому не надоело? Уже лет двадцать прошло с тех пор.

– Ну, нам же не надоело это обсуждать.

– Слушай, может надо с Костиком поговорить?

– И что ты ему скажешь? Повзрослей? Хватит жить прошлым? – Андрей улыбнулся, но уголки рта невольно поползли вниз, вслед за ползунками на микшере.

– Ну, для начала...

Костик вынырнул из толпы и поставил стаканы прямо на пульт. Пена тревожно колыхнулась, угрожая плеснуть через край. На губах у Андрея замерло крепкое словцо, но всё обошлось. Костик подмигнул и скрылся в толпе.

– Думаешь он сам ничего не понимает? – Андрей отпил из стакана.

– Если понимает, – выдохнул Игнат, – то это ещё печальней.

* * *

Костик взял в баре ещё два пива и, уворачиваясь от локтей танцующей толпы, пробрался к столикам. Девушка с синими волосами всё ещё была одна. Она неуверенно оглядывалась по сторонам, словно ждала кого-то.

– Не пришёл? – Костик сел рядом и поставил пиво на столик.

– А? – по-птичьё испуганно вскинулась девушка. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы понять вопрос. – Нет. Подруга. Сама пригласила, и вот...

– Меня тоже сегодня оставили за бортом, – доверительно сообщил Костик, пододвигая девушке пиво. – Меня Костяным кличут.

– Как-как?

– Костяной. Группа такая была, может помнишь? Нет? Ну да, лет пятнадцать прошло. Мы гремели в городе. На фестивали ездили, на Украину там...

– А я Лина. И я вас, кажется, знаю. Вы в ДК гитару преподаёте, правильно? Старший брат к вам ходил.

– Преподаю, – поморщился Костик. Он повернулся к сцене, указывая на Игната и Андрея. – Друзья мои. Дрю и Игги. Раньше вместе играли. Но мы собираемся возродить группу, чтобы опять начать гастролировать.

Встретившись взглядом с Андреем, Костик махнул рукой – дал сигнал – и повернулся к девушке. В ожидании, пока закончится играющая песня, он глубокомысленно тянул пиво. Бодрый гитарный ритм сменился проникновенным фортепианным вступлением. Толпа загудела. Послышались редкие смешки. Народ отхлынул к бару, а на танцполе остались только парочки.

– Наконец нормальная музыка. С детства люблю Земфиру, – Лина прислушалась и стала тихонечко подпевать: – Пья-аный ма-ачо лечит меня и пла-ачет. От того-о, что знает, как хорошо-о бывает...

– А я знаю, кому Земфира эту песню посвятила, – помножив загадочность на пафос протянул Костик, когда песня закончилась.

– И кому же?

– Мне.

Костик видел за годы множество разных реакций на свою коронную историю, но к этому оказался не готов. Лика рассмеялась звонким необидным смехом.

– Отлично вы на ходу сочиняете.

– Ты. Ты сочиняешь. Зачем эти церемонии? И что, потвоему, я настолько плох, что мне песню нельзя посвятить?

– Ну, допустим, не настолько, – Лина наклонилась ближе к Костику, глаза её смеялись. – И как всё было?

– Ну как... – Костик успокоился, теперь он был как рыба в воде. – В двухтысячном году мы с «Костяным» выступали на небольшом фестивале. Состав, конечно, за исключением нас, был довольно скромный, но зато в хедлайнеры пригласили Земфиру. На неё неожиданно большая слава обрушилась, но она, кажется, тогда этого сама не понимала ещё. Поселили всех артистов в богом забытую гостиницу, Земфиру, конечно, в люкс с тараканами. Я после концерта конкретно забухал, даже память отшибло. А очнулся в каком-то гробу. Испугался и давай биться во все стороны. Пока пришёл в себя и понял, что это

не гроб, а лифт и от беснований моих кабина остановилась. Потом слышу тихое-тихое хныканье. Оборачиваюсь и вижу – на полу в уголочке сидит Земфира: глаза нараспашку, колени руками обхватила и дрожит. Оно в общем-то понятно. Зашёл какой-то пьяный мужик, стоял себе, сам пошатывался, а потом как давай кабину шатать...

– Уже есть пара критических замечаний к вашей истории, – озорно вклинилась Лина. – Многовато натяжек, совпадений, как в плохих книгах герой память теряет... – Девушка заметила, что Костик начал мрачнеть, и поспешила добавить: – Но мне очень интересно, продолжайте, пожалуйста.

– Это потому что ты молодая ещё. Жизнь ничего не знает про сторителлинг, – Костик отпил пива. – Короче, давай мы с ней стучать-кричать, но никто не пришёл. Вся гостиница гудела как улей в ту ночь. Рок-н-роллышки отрывались, а администратор только и бегал из номера в номер. То от дыма сигнализация срабатывает, то из окна бутылка вылетит аккуратно на крышу такси. Бутылку, кстати, Дрю исполнил. В общем, дела до нас не было никому. Поначалу Земфира сидела в своём углу, я же маялся от наступающего похмелья. А потом нашёл флягу со спиртом, на чёрный день припрятанную в кармане кобуры. Так лёд и треснул. Выпили. Разговорились. Я ей что-то спел из нашего репертуара акапелльно. Она смеялась. Потом говорили долго. Пересказывать не могу – обещал. Да и помню плохо. Потом конкретно пьяные плакали вместе. А потом... она меня поцеловала. Вызвали нас только к утру. Я оставил ей свой телефон. Через месяц она позвонила мне и напела припев этой песни.

– А потом? Что было потом?

– Ничего в общем-то. Она на гастролях, я на гастролях. Само собой рассосалось, – Костик вздохнул. – Ещё по пиву? Или покрепче?

– Рано подсекаете, Константин, – скривилась Лина. – И многие на эту историю ведутся?

– Честно? Многие, – после мимолётной вспышки разочарование и раздражение оставили Костика, в его мимике отпечаталась лишь пьяноватая усталость. – Ты даже не представляешь сколько.

– И как это работает? Передача артистической благодати от Земфиры через вас половым путём?

– Я об этом не думал особо, толку нет. Кто вас, баб, разберёт?

– Понятно, – вздохнула Лина. – Пустить бы вашу фантазию на благие цели. Я пойду. Провожать не нужно.

* * *

Игнат и Андрей переминались перед обитой дерматином дверью, открывать хозяин не спешил.

– Тебе не кажется, что это не подарок, а издевательство? – спросил Андрей, не поворачивая головы, словно из дверного глазка вот-вот должна была вылететь птичка.

– А тебе не кажется, что его история – это затянувшееся издевательство над нами? Всю ночь в кустах пьяные сны смотрел, а с утра пришёл и начал рассказывать, что с Земфирой в лифте того-этого? И двадцать лет нам мозги полощет этой дурацкой песней.

– Я вот порой тоже сомневаюсь. Но потом думаю: а вдруг? Он ведь раньше был красавчик. Подтянутый, резкий, хаерастый. А теперь эта песня – это всё, что у него осталось. Семьи нет, концертов нет. Даже если всё – выдумка, ты разве не видишь, что он сам в эту историю верит?

– Ну, значит, одно из двух: или вырвем товарища из мира отравляющих грёз, или получим безусловное подтверждение правдивости его слов и стыд на наши недоверчивые седины, – ухмыльнулся Игнат. – Да позвони ты ещё раз. Он, сто пудов, ни хрена не слышал.

Через пару минут тишины заспанный Костик отпер дверь и, натываясь на все углы, провёл друзей на грязную кухню.

– Приятно, что не забыли, – пробулькал он, наскоро умываясь над заваленной посудой раковиной.

– Как мы могли, Костян! – неискренность восклицания Игната именинник, кажется, не заметил. – Подарок у нас в этом году особый. Нематериальный, но тебе понравится.

– К нематериальному всё равно бутылка полагается...

– Купим тебе бутылку. Ты слышал, что через месяц Земфира у нас на стадионе выступать будет?

– Ну? – на влажном лице Костика проступила тревога.

– Нас с Андрюхой позвали заниматься решением текущих организационных вопросов. И оказалось, что Земфире нужен будет трансфер из аэропорта. Группа приедет днём раньше на поезде, так что она будет одна. Пришла пора вам повидаться.

– С кем?

– Не тупи, мой дорогой мачо. С Зёмой. Зазнобой твоей.

– Ни к чему это, – Костик опешил, но быстро взял себя в руки. – Она меня небось и не узнает теперь.

– А если мы вас опять уединим? – загадочно подмигнул Андрей.

* * *

Машину для трансфера выделил Игнат. На фоне внедорожника, напоминающего глыбу гранёного оникса, Костик в своих застиранных джинсах выглядел ещё более несуразно. Он то и дело неловко одёргивал на себе неизвестно как отыскавшийся в шкафу пиджак и оглядывался по сторонам.

– Хватит там торчать! Двадцать минут ещё! – крикнул Игнат с заднего сиденья.

Костик, помявшись немного, всё-таки забрался в салон. Андрей протянул ему бутылочку тёплой минералки, но Костик отказался.

– Ребят, я вам должен кое-что сказать. Вы только не сердитесь. Ничего на самом деле не было.

Друзья переглянулись в зеркальце заднего вида.

– Так я и знал! – вскинулся Игнат.

– Не в этом смысле. – поспешно перебил его Костик. – Была Земфира и песня была. Но про секс – это вы сами додумали, я такого не говорил. Она меня только поцеловала, а потом сразу как будто протрезвела. Быстренько слёзы вытерла. Посиди, говорит, тихо. Достала из кармана блокнотик, ручку и давай мурлыкать себе под нос да слова на листок писать. А потом отключилась у меня на плече.

– И звонка не было? – догадался Андрей.

– Не было.

В безветрии салона повисла кислая туча молчания. Игнат, громогласно прокашливаясь, несколько раз собирался нарушить тишину, но Андрей одёргивал его. Костик лёг на руль и не отрывал головы, словно в один момент заснул.

Когда же он поднялся, лицо его неувовимо изменилось; стало спокойным и решительным.

– Время. Я пошёл встречать, а вы выезжайте.

Игнат и Андрей перебрались в машину последнего – припаркованную неподалёку красную «хонду». Дурачки-подбадривающе помахивая и гримасничая, они отчалили, а Костя пошёл к терминалу.

Растрёпанные волосы, бледная худоба, чёрные очки. Он узнал её сразу. И не он один. Пришлось, как настоящему бодигарду – благо комплекция позволяла, – ограждать певицу от желающих взять автограф на билетах, на паспортах, на салфетках, на... Наконец они оказались в салоне. Земфира сняла очки и потёрла глаза. На робкое предложение воды ответила спокойно, но так, что Костику перехотелось спрашивать. Он вывернул руль и вывел машину с парковки. На полдороге к городу Костик увидел красную «хонду» с распахнутым багажником и голосующего на обочине Андрея.

– Почему мы остановились? – Земфира впервые встретилась с Костиком глазами в зеркале заднего вида.

– Сломались ребята, помочь надо.

– Серьёзно?

В окно постучал Андрей.

– Командир, выручай! Колесо пробили, а домкрата нет.

– Без проблем, – Костик выбрался из салона и достал из багажника домкрат. – Справитесь сами?

– Конечно! Полчасика подождешь?

Костик кивнул и повернулся, чтобы закрыть багажник. С заднего сиденья на него смотрела Земфира. Эмоции прятались лишь в морщинах вокруг её глаз, но их было слишком мало, чтобы понять настроение певицы. Костик молчал, не решаясь захлопнуть багажник – так и стоял с задранными руками, как под дулом автомата. Он искал слова и не мог найти. Нашла она.

– Слушайте, мы с вами раньше не встречались?

* * *

– Может, они вышли уже, а мы не заметили? – Игнат откалибровал рычажком боковое зеркало и впился в отражение глазами.

– Нет, они точно там. С моей стороны видно, что стекло опущено и дымок тянет.

– Курят в салоне?! Я же его просил...

– Это благородный дым из лёгких самой Земфиры, расслабься, – улыбнулся Андрей.

– Ладно, небольшая плата, чтобы почувствовать себя частным детективом.

Шёл третий час наблюдения. Красная «хонда» посреди серых декораций гостиничной парковки выглядела тропической рыбкой, безуспешно пытающейся затаиться в корнях мангровых деревьев. Не заметить машину мог только слепой или тот, кому до неё не было никакого дела. На противоположной стороне, у лифта чернел внедорожник; полутонированные окна скрывали происходящее в салоне.

– Выходят! Выходят! – шепотом прокричал Андрей.

Первым показался Костик. Достав из багажника маленький чемоданчик на колёсиках, он открыл дверцу Земфире. Певица приняла поданную руку и легко выскользнула из салона. Вместе они направились к лифту. Ещё минут десять кабина вхолостую жевала створками – Костя и Земфира поочередно нажимали на кнопку вызова, но никто не спешил заходить внутрь. Наконец она поцеловала его в щёку, приняла чемоданчик и скрылась за створками лифта. Костик оглянулся и пошёл к «хонде». Не в силах усидеть на месте, Игнат и Андрей выскочили ему навстречу. Костик сгрёб обоих в широком, но недолгом объятии.

– Спасибо, ребята!

– За что спасибо? Колись давай! – выпалили Игнат и Андрей наперебой.

– Ну как. Звезду подвёз. Выпросил у неё контрамарочку в VIP-зону на сегодняшний концерт.

– И всё? – выдохнули разочарованно друзья. – А чем же вы там два часа занимались?

– Новую песню писали, – лукаво улыбнулся Костик. – Ладно, как друзьям расскажу... лет через двадцать.

Виктор ВЛАСОВ

Омск

БОМБОУБЕЖИЩЕ

Андрюхе была уважуха от пацанов, потому что именно он находил для игры места жуткие, но интересные, в которых мы чувствовали себя отважными героями, совсем не детьми. Через узкий лаз между железными гаражами и дыру в бетонном заборе он провёл нас зимой на территорию железнодорожного предприятия, на котором трудился когда-то целый посёлок. Уже в те времена депо разваливалось под натиском экономических перемен, но здания и сооружения пока оставались целыми.

Заброшенная территория находилась недалеко от дома, и там мы были предоставлены сами себе. Главной достопримечательностью этого места для нас, ребяташек, оказалась огромная земляная гора: с неё можно было кататься хоть целый день – никто не гнал нас прочь, никто под ногами не мешался. Мы соревновались в способах скатывания с горы. Кто на санках, кто на пластмассовой ледянке, картонке – на чём придётся. Съезжать на лыжах мы боялись, страх перед падением с большой высоты останавливал даже самого смелого – Витяна. Рядом находилась небольшая свалка металлолома. Мы нашли в ней широкий гладкий металлический лист и общими усилиями втаскивали его на вершину горы, а затем, воображая себя гонщиками «Формулы-1», грохоча, съезжали вниз к подножию. Это незабываемое ощущение – несёшься вниз, снег летит в глаза, а ты кричишь от восторга и страха!

Территория предприятия около горы казалась нам военным полигоном. Она действительно была совсем как испытательное поле – такие мы видели в американских фильмах. Там и тут стояли горизонтально вкопанные плиты, где-то рядом шумели проходящие мимо станции железнодорожные составы. Некоторые плиты торчали из земли криво и привлекали нас железными крючками: по ним можно забираться вверх как скалолазам. Словом, футуристическая такая обстановка, совсем непохожая на привычный двор рядом с домом, и поэтому мы легко представляли себя исследователями будущего.

Однажды, как всегда, весело толкаясь, мы катались с горы. Мой друг Сергей знал правило: ни в коем случае не скатываться с её противоположной стороны – там под снегом был «трамплин», какая-то отвесная стенка. Но разве настоящий герой отступит? Несмотря на наши предостережения, он развернул санки и, оттолкнувшись ногами от земли, покатился вниз. Перемахнув обрыв, Серёга пролетел метра полтора по воздуху, а когда приземлился, санки треснули. Первыми к нему подбежали я и Андрей. «Герой» сидел, не двигаясь, его крик будто превратился в жвачку – тянулся медленно:

– Бо-ольно! А-а-а!

Мы, конечно, подхватили его на руки и, забрав сломанные санки, быстро потащили пострадавшего домой. Все понимали, его мама, мягко говоря, очень огорчится, и наверняка «унасраненный» долго не выйдет на улицу. Серёжка – мой и Андрея лучший друг, без него мы обычно не ходили гулять. К тому же сам герой-авантюрист не желал долго сидеть дома – он обнадеживающе закивал, когда Андрюха, просветлев в лице, придумал, что соврать тётке Любе, объясняя случившееся. Мы с Витяном идею одобрили. Отец Сергея немедленно повёз сына в больницу, где сказали, что мальчик сильно ушибся, что чудо спасло его от травмы позвоночника. Позже Серый с гордостью расскажет нам, как доктор советовал беречь «рессоры», иначе сложно стать настоящим «роботом».

Стать роботами, а не просто людьми будущего – идея нам понравилась. После всемирной катастрофы, которая

сделает нас свободными от сложных и обременительных условностей цивилизации, человеком долго не протянешь, вот роботом – самое то. Только у настоящих роботов должно быть убежище – мастерская, а где её найти? Поиски приключений продолжались, тем более что страсть к катанию с горы после Серёжкиного падения прошла, да и приближалась весна – всё кругом таяло, и снега на нашей горе оставалось мало.

Тогда, зимою, гора не раскрыла перед нами своих секретов. Именно под опасным скатом, в оправе из мороженой земли со льдом, чёрным пятном вытаяла огромная железная дверь, на которой висел красно-рыжий замок. Теперь среди друзей в почёте ходил я – идея проникнуть внутрь пришла именно мне. Найдя лом, коллективными усилиями мы свернули замок и вошли в тёмный коридор подземелья. Что мы увидели при слабом огоньке горящей спички? Растрескавшийся бетонный пол, узкий коридор... Дальше путь перегородила толстая дверь с металлической ручкой в форме руля автомобиля. Поддалась она тяжело.

Мы чувствовали себя первооткрывателями другой планеты.

Внутри оказалась гигантская тёмная комната, разделённая на секции. На самом верху виднелись вентиляторы. Поискали выключатель, нашли. Электричество осветило мусор, мешки с окаменевшим незнакомым содержимым, разбросанный кирпич. Помещение для «мастерской роботов» отлично подходило! Прибравшись, вычистив пол, мы присели в рядок и начали строить планы. Чуть позже я не выдержал и рассказал об открытии маме. Она поняла, и объяснила, что мы добрались до заброшенного бомбоубежища. На каждом предприятии такие убежища обязательно строились, потому что в шестидесятые годы американские самолёты могли сбросить на наши города атомную бомбу. Теперь нам представлялось, что когда случится ядерная война, то останемся в живых одни лишь мы.

– Девчонок пригласим, – предложил Андрей.

– Ну их, с ними неинтересно, – отмахнулся Сергей. – Будут плакать постоянно, как моя младшая сестра.

Мы приносили в бункер еду, разводили около двери костёр, делились сокровенным, радостно ощущая прелесть жизни, исполнившейся мечты обладать тем, что было только у нас. Ржавый кузов от «Жигулей» превратился в машину времени, которая перемещала нашу компанию в разные эпохи...

Как-то раз перед входом в бомбоубежище нас встретил рабочий и пригрозил, что вызовет милицию, если ещё раз увидит рядом с объектом. Расстроившись, мы поплелись во двор, уныло глядя себе под ноги. Сознание беспомощности перед этим высоким человеком в серо-коричневой одежде приносило горечь и разочарование. Серёжка надул губы, хмурился, превратив брови в сморщенные галочки, он хотел скорее уйти домой. Витян и Андрюха задумчиво рассматривали встречавшиеся на дороге камни, молчали. Я тянулся за ними и, оглядываясь на узкий проход между гаражами, в который мы обычно бежали, чтобы скорей увидеть гору, тоскливо вздыхал и хотел к маме, пожаловаться...

«Ядерная война» больше нас не вдохновляет, нам хватает неприятностей и в «мирных буднях». Теперь у каждого своё «бомбоубежище» – своя жизнь, а детство прошло, и мы с улыбкой вспоминаем те счастливые годы...

Сергей МОСКВИТИН

Ленск, Якутия

«ПРОСТИ, ЛЮБИМАЯ...»

Когда моя душа освободилась от тела, я почувствовал необычайную легкость. Какое-то время я наслаждался этим волшебным чувством независимости, парения. И лишь потом, заинтересовавшись, посмотрел вниз.

Голова у моего тела, несомненно, была раздроблена: я упал на бетонную дорожку с такой высоты! Хорошо, что погода была безветренная и меня не отнесло в сторону. Какие-нибудь полтора-два метра в сторону, от стены здания, и я бы упал на землю, хоть и утоптанную, но не такую твердую, как бетон. Кто знает, может, я бы не смог умереть сразу, мучился, терпел боль. А так — верная мгновенная смерть! Хорошо, что выбрал девятиэтажку.

Забавно смотреть на себя со стороны. Впрочем, это уже не я, а мертвая плоть, из которой вытекла не только душа, но и почти вся кровь. Глаза так быстро остекленели! Как некрасиво разинут рот — видны пломбы. Скорей бы уж кто-нибудь обратил на меня внимание. Неужто никто не слышал удара?

Незнакомка появилась внезапно из-за угла. По всему было видно, что она идет привычной дорогой. На лице — печать сосредоточенности, погруженности в свои мысли. Секунды три потребовалось девушке для того, чтобы до сознания ее дошел, наконец, смысл увиденного. Картина, конечно, ужасная: искореженный труп в луже крови, которая

исходит паром. Спасибо тебе, дорогая, за этот пронзительный крик, прорезавший и всколыхнувший застывшую утреннюю тишину и холодный воздух. Сейчас сюда соберется толпа зевак, через какое-то время пожалуйет доблестная милиция, какой-нибудь врач официально зафиксирует мою смерть. Весть разнесется по городу быстро. Важно не упустить главное.

Оказывается, передвигаться без тела так просто. И гораздо быстрее. Вначале я просто летел по воздуху на высоте человеческого роста. Наверное, по привычке. А потом решил взмыть повыше. Двигаться было легко, я не чувствовал ни сопротивления воздуха, ни настолько привычной инертной силы тяжести. Направление движения можно было менять как угодно резко, при этом даже на крутых поворотах не заносило в сторону. Таких необычных ощущений я не испытывал даже во время полетов во сне.

Вот и ее дом. Наверное, если бы у меня было привычное тело, сердечко в нем сейчас сильно бы затрепетало, а кровь прилила бы к вискам. Впрочем, волнение можно ощутить и без этого. Поднявшись до третьего этажа, я с жадностью прильнул к заветному окну. Галочка еще спала.

Как я мечтал в своих неумных фантазиях о такой вот минуте! Как хотелось мне хоть разочек человеком-невидимкой, беляевским Аризлем влететь в ее окно, притаиться где-нибудь в уголке или на пыльной верхушке книжного шкафа и оттуда втайне любоваться своей богиней! Узнать, как мое лучезарное солнышко ведет себя наедине с собою, какая она настоящая, без соответствующих обстоятельств масок, без грима воспитания и без одежд приличия. Какая она без меня? Такая же скромная и милая прелестница, какой я ее знаю, успел узнать за этот неполный год знакомства, или другая? Мне хотелось знать о любимой всё. Даже самые интимные подробности ее жизни. По-моему, то, как ведет себя человек наедине с самим собой, — его истинный, ничем не прикрытый характер. Истинное «я» моей любимой было для меня недоступно: очень уж замкнуто и неприступно она вела себя со мной. А мне так хотелось узнать её поближе! Кроме того, я сгорал от любопытства выяснить, о чем она болтает с подругами по

телефону в мое отсутствие и что говорит, если речь идет обо мне. Любит ли она меня? Испытывает ли ко мне хоть какие-то чувства? Я хотел знать о любимой исключительно всё. Жгучая эта, неукротимая жажда познать любимого человека целиком, без остатка толкала меня порой на необдуманные поступки. В темные безлунные ночи, когда в заветном окне горел свет, я забирался на тополь напротив, вооружившись цейссовским семикратным биноклем. С расстояния несколько десятков метров тщетно пытался рассмотреть, чем занимается в мое отсутствие моя нимфа, моя прелесть, свет моей души. За свой риск свалиться вниз — известно ведь, что ветви у тополя достаточно хрупкие — я ни разу не был достойно награжден. Любимую либо вообще не было видно, либо она появлялась в секторе обзора ненадолго, либо ее, обычно читающую книгу, я не мог как следует рассмотреть из-за плотной пелены тюля. Да и картинка была немой, я слышал лишь амплитудный шум проносившихся друг за другом внизу автомобилей...

Любимая спала. Как она трогательно прекрасна, оказывается, когда спит! Поплотнее прислонившись к стеклу, я вдруг... легко проник сквозь него в комнату.

Прелесть моя дышала чуть слышно, сладко так посапывая во сне. Ароматные волосы разметались по большой подушке, почти полностью накрыв ее своими волнами и кольцами. Ротик у Галочки был чуть приоткрыт, рядом на подушке лежала ее нежная рука, пальчики на которой я столько раз целовал-перечеловывал. Одеяло слегка сползло с ее плеч, видна была голубая лямочка ночнушки. Я приблизился близко-близко к любимой, чтобы ощутить на себе влагу ее сонного дыхания. Оказывается, если сосредоточиться, можно и без тела, без органов чувств почувствовать пьянящий запах теплой кожи и сладкий, дурманный вкус полуоткрытых губ. А может быть, мне помогают это сделать только воспоминания?

Наркотические воспоминания приятной одуряющей волной вновь накрыли меня с головой... Галочка с королевской щедростью, покорно позволяла себя целовать. Всегда, когда я этого хотел. Но на поцелуи не отвечала — рот её оставался сомкнутым. Не сопротивлялась, если я

расстегивал несколько пуговиц и жадно припадал к розовым сосочкам нежных девичьих грудей, хмелея и возбуждаясь до предела. Дальше этого наши отношения не заходили. Галочка не позволяла.

Я полюбил ее сразу, как увидел. Наверное, у нее самой было желание дружить, встречаться с парнем в то время. И она откликнулась на предложение сходить вместе в кино. В фильме «Десять негритят» играла Татьяна Друбич, а Галочка так поразительно похожа на нее. Тот же цвет глаз, тот же цвет волос, те же губки и нос и общее кроткое выражение лица. Потом я проводил ее до дома, а в подъезде поцеловал и признался в любви. Мы учились в одном институте, но на разных факультетах. Она отставала от меня на один курс. Это было мне на руку: я с превеликим удовольствием помогал ей чертить и писать рефераты, часто бывал у нее дома, несколько раз – на даче. Отношения с ее родителями у меня сложились неплохие. Я задаривал любимую подарками и цветами; боготворил, млел от восторга и нежности рядом с ней; любил и наслаждался своей любовью. И вдруг моя Снежная королева как-то резко и неожиданно отказалась от меня, холодно и бесстрастно заявила: «Больше не приходи, у меня есть другой...»

Ах, Гала, Гала, милая, жестокая, что же ты наделала! Как же ты могла так поступить со мной! Ты сделала мне очень больно. Безумно больно. И как это я не свихнулся с ума от горя тут же, у твоего порога?.. Наверное, нельзя отвергать так – слишком уж бесчувственно – человека, который живет тобой, дышит тобой, молится на тебя. Так нельзя. Это слишком жестоко, слишком бездушно. Я, конечно, сильно не обнадеживал себя насчет твоих чувств ко мне, но как же твое недавнее одно-единственное признание в любви в ответ на мои страстные поцелуи? Я тогда рыдал и задыхался от счастья. Это было всего лишь месяц назад. Я, наверное, был ослеплен своим счастьем и не почувствовал, как ты охладела ко мне? Впрочем, ты всегда была сдержанно-холодной. Да, конечно, ты откладывала изо дня в день наши свидания, ссылаясь на сессию и страшную занятость в последнее время, и твой голос в телефонной трубке становился всё холоднее и холоднее. А потом,

когда я, не выдержав разлуки, всё же пришел к тебе, ты ударила меня своими жестокими словами. И я после этого сумел прожить всего одну кошмарную ночь. Я почему-то решил отомстить тебе, Галя, за жгучую боль. Я захотел, чтобы и тебе стало больно...

Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Я отстранился от любимой. Сейчас она проснется и всё узнает.

Галочка, не открывая глаз, сонно протянула руку к столу, сняла трубку и вмяла ее в подушку под правое ухо.

– Да, – сонно ответила она на чей-то взволнованный голос, наверное, одной из подруг. И лишь какое-то время спустя ее дрогнувшие, исказившиеся губы выкрикнули второе слово:

– Ка-а-ак?!.

Золотце мое, ненаглядная моя, вот и удалось мне наконец-то растопить ледышку твоего холодного сердца. Как много, оказывается, может вместить коротенькое слово жарких, человеческих, подлинных, ничем не прикрытых эмоций! Не слишком ли много горячих чувств для моей Снежной королевы? Я и хотел, дорогая, увидеть лишь вот эти брызнувшие из тебя слезы.

Прости меня, моя драгоценная, за эти горькие слезные дорожки на твоих обожаемых щечках, за эту страшную гримасу неподдельного ужаса на твоём нестерпимо прекрасном лице...

Я не злорадствовал, но был удовлетворён. Вот только следующие слова моей королевы убили меня во второй раз:

– Господи... Господи... Любимый мой, зачем я тебя обманула?!.

Юрий ЕГОРОВ

г. Видное, Московская область

ТРЕЩАЛКА

1

Трудно поверить, но прежде это был весёлый посёлок, в котором посреди таёжных далей жили лесорубы и геологи. В середине прошлого века сюда протянули узкоколейку, и новенькие симпатичные вагончики ежедневно барабанили своими колёсами по четыре рейса в районный центр и обратно. Работала школа, медпункт, а по вечерам в клубе на киносеансах и танцах желающим не хватало свободных мест. Потом лес порубили, геологи перебрались дальше на север, к Полярному кругу, и в посёлке поселились тоска и упадок. Десять лет назад узкоколейку разобрали, и все, кого где-то ещё ждали, вслед за чиновниками, врачами и учителями покинули эти места. Закрылись магазины и почта. Тем, кто остался, тоже предлагали уехать, но разве этих сковырнёшь?

Теперь здесь полтора десятка человек – старых, скучных и совершенно безнадёжных. Все пенсионеры, никому не нужные. Так и доживали под унылый волчий вой среди облезлых руин и густых зарослей жгучей крапивы. Передвижная лавка добиралась до них через грязь раз в месяц. Тогда закупали муку и сахар. Продавец ругался, что на таких покупателях выручки не сделаешь. Бензин обходится дороже.

Как-то во время выборов прилетел на вертолёте какой-то депутат. Пробыл минут десять. Сочувствовал скудному бытию и обещал всё изменить.

С этим ли связано, кто знает, но в один из весенних дней появилась практикантка из районного медучилища. Санитарка. Долговязая, рыжая как солнце, в рваных джинсах, с гитарой за спиной.

– Что нужно такое совершить, чтобы к нам сослали? Дай на тебя посмотреть. В нашем посёлке я девчонок не видел уже лет двадцать! Ты всамделишная, правда?! – удивился первый встреченный ею дедушка, в далёкой прошлой жизни – аккордеонист.

– А как вас зовут? – поинтересовалось юное создание.

– Боже мой, о чём ты спрашиваешь? Мы свои имена давно забыли! Не общаемся: надоели друг другу! – засмеялся старик. – Мареком. Нет, Марком.

И тут её прорвало. Девчонка час болтала без остановки сначала о своём приятеле, который тоже Марк. С ним училась в школе. Потом – о классной руководительнице, дальше – о вороне, что жила на дереве по дороге домой и пугала соседку, затем – о сожителе этой соседки, который ненавидел собак, потому что они его покусали...

Ловко перебегала с темы на тему. Говорушка – не остановишь!

– Кстати, а собаки здесь есть? – наконец сделала передышку и посмотрела на ошарашенного собеседника. И не дав ответить, продолжила тарыхтеть про то, что любит собак и кошек, что у брата подруги, которого зовут Яном и лицо в конопушках, живёт попугай-неразлучник. Говорить не умеет и выщипывает перья, потому что один. А ещё когда два года назад ездила в столицу, видела там в зоопарке шимпанзе.

Не верящий в реальность происходящего Марк к этому времени сидел на дороге, вытянув вперёд ноги.

– Трещотка! – заключил старик.

Такого количества слов он не слышал, наверное, за всю жизнь!

2

Открыли давно заброшенный медпункт. С трудом отыскали среди колючих зарослей. Очистили от паутины и поселили туда приезжую. За это время девчонка заговорила

всех до головной боли. Между её впечатлениями о поездке на вездеходе, болтовнёй о многочисленных знакомых и просто случайных людях, исторических событиях и политиках выяснилось, что приехала она сюда на месяц или около того, пока не заберут обратно.

– Надежды на это никакой! – предположил дед Марк. – Вероятно, там она уже всех достала. Кто такую трещалку обратно захочет?!

Надо сказать, что бывший поселковый аккордеонист – единственный из всех, кто успевал вставить хотя бы слово в её говорильню.

– Как твоё имя, стрекоталка? – когда практикантка рассуждала о ценах на газ, которого в здешних местах отродясь не было, успел поинтересоваться Марк.

– Ола, – и тут же принялась зачем-то объяснять про полезные свойства женьшеня.

– Ола? – переспросила сильная и гордая Анастасия, которая когда-то работала учётчицей на деревообрабатывающем заводе.

Пятнадцать жителей посёлка переглянулись.

Имя не прижилось. «Жужжалка», «Сорока», «Тарахтелка» – девочку называли как угодно, только не Олой. Впрочем, в отдалённых провинциальных поселениях в этом нет ничего обидного. Здесь всех знают по шутливым прозвищам.

Приезжая всполошила весь посёлок. Они уже лет десять как не собирались вместе. А тут столько разговоров.

Приезжей дали немного передохнуть от болтовни, а потом выстроились в очередь возле медпункта, нетерпеливо ожидая приём. Приезд автолавки не вызывал такого ажиотажа! Что поделать – у каждого пожилого человека свои болячки. В крохотной общине их целая коллекция: гипертония и атеросклероз, подагра и радикулит, простатит и диабет...

Очень быстро выяснилось, что практикантка ничего делать не умеет, даже уколы. Большинство болезней вообще не знает. Что можно ждать от второкурсницы медицинского училища? Зато языком молола не переставая, ещё пуще прежнего. Голова кругом шла от её словоохот-

ливости. Старики выходили из медпункта с опухшими мозгами.

Болтала обо всём, что приходило на ум. Про знакомых парней и подруг, мамашу, о которой скучала, отца, которого давно не видела и обижалась на него, о педагогах из медучилища, про Америку, особенности мексиканской кухни, долму и лемуров...

Что с такой делать?

– Совсем глупая, – возмущался Борис, в далёкой жизни – истопник. – Мелет, ничего в жизни не соображая.

– Больше мы к ней не пойдём, – решили жители. – Зачем она нам здесь со своим длинным языком? Потом и про нас разнесёт на весь белый свет!..

Уже ближе к ночи со стороны медпункта услышали гитару. Практикантка брэнчала что-то непонятное, но вполне оптимистичное. Живой музыки не слышали лет пятнадцать!

– Плохо получается, – заметил Марк. – Мучает гитару и слуха совсем не имеет. Слушать невозможно.

– Может, свой инструмент принесёшь? – предложила Анастасия.

– Давно не играю, – смутился старый аккордеонист...

Разошлись глубоко за полночь. Эту ночь Марк не спал, всё ворочался. Что-то всколыхнула в нём эта «Трещалка»...

3

В ту ночь Марку приснился сон. Давно он не ощущал ничего подобного. И вдруг такое: ярким солнечным днём он, мальчишка, идёт с мамой, молодой и красивой, по песчаному берегу большой реки. Боже, сколько лет он её не видел! Думал, совсем забыл. И ещё удивительно яркое, огненно-рыжее солнце над ними!

Утром, когда проснулся, быстро вышел на улицу и посмотрел вверх, пытаясь разглядеть светило. А потом увидел остальных. Старики стояли возле своих домов и точно так же смотрели на небо, пытаясь рассмотреть на нём свой лучик солнца. Только не было там ничего, кроме густых серых облаков.

– Вы – тоже?! – крикнул Марк остальным.

Никто не ответил, но и так всё понял.

– Значит, тоже, – покачал он головой.

Все снова потянулись в медпункт. Быстро дорожку протоптали! Ола сидела грустная на крыльце, но, увидев визитёров, искренне им обрадовалась.

Дальше всё повторилось. Практикантка, не слушая пациентов, тарахтела обо всём на свете, а они потом снова возмущались меж собой: как такую ненормальную к ним прислали?!

А ночью – снова сны. У каждого свои, но у всех красочные. С родными: молодыми, беззаботными и радостными. Нарядными домиками и улицами в праздничном городке. Ещё появилась музыка: добрая и прекрасная. И в каждом таком сне много этого чудесного рыжего солнца, яркого и удивительно тёплого!

Потом это повторялось каждый день.

– Больше так не могу! – не выдержав, взбунтовалась Татьяна, которая когда-то трудилась железнодорожным кассиром. – Я, конечно, понимаю, что это только сон, но боюсь просыпаться. Мои родители словно живые. И муж, который меня очень любил. Каждую ночь приходит с цветами и шампанским. Я усаживаю его за стол, и мы говорим, говорим...

– Да, после такого трудно просыпаться. Лучше умереть, – подтвердил Марк. – Открываю глаза – и всё пропадает мгновенно. Как будто и не было моей жизни. Кругом – старая рухлядь и обломки.

– Что же нам делать? Дальше так продолжаться не может! Я думала принять упаковку снотворного, чтобы больше никогда не просыпаться, но это – великий грех, – едва не заплакала Мария, самая почтенная жительница поселения, в прошлом – библиотекарь.

Договорились больше к практикантке не ходить. И действительно, весь последующий день Ола просидела одна в своем никчёмном медпункте. К вечеру девушка не выдержала и сама пошла к людям, только все или запирались, или бежали от неё, как от чумной. Поговорить ни с кем не удалось.

Дальше ничего не менялось, и договор вроде бы соблюдался. Или почти. По проторенной тропе к медпункту никто не ходил, но появились окольные дорожки. Одна вела от дома Марии, другая – от Татьяны, третья... В медпункте росла гора угощений, которая выдавала отступников.

Спустя неделю все снова собрались на совещание. Теперь уже обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

– Вы хотите, чтобы я отказалась от родителей? Каждую ночь смеюсь и плачу вместе со своей мамой, – жалобно, плохо сдерживая слёзы, вопрошала несчастная Анастасия.

– Надо от неё избавиться, – предложил Алексей, бывший электрик. – Девчонка нас всех погубит. Сведёт с ума.

Марк возражать не стал. Вот так и решили – изгонять.

Через день всеобщего окончательного бойкота Ола пришла к Марку.

– На меня никто не жаловался? – не то спрашивала, не то утверждала она неуверенным голосом. – Объясните, почему вы все меня игнорируете?

Марк не стал ходить вокруг да около.

– Помолчи хотя бы минутку. Не тараторь. Мы уже тебя наслушались! Всё равно не разбираешься в политике, а лемуры и долма нам здесь не нужны! Только вот что... Приехав сюда, ты изменила нашу жизнь, так, что нам стало плохо.

– Как плохо? – удивилась практикантка. – Я приехала вам помочь. Привезла лекарства. То, что их мало... Это же не от меня зависит. У нас и в городской больнице, кроме бинтов и зелёнки, ничего нет. А тут хотя бы аспирин, немножко корвалолу, пилюли от поноса... Давление можно измерить. Вот вы считаете, что я ничего не умею, а одна моя знакомая не знает, как градусник поставить, хотя и капитан женской команды по регби и выиграла серебряную медаль. А ещё она...

– Ты опять за своё, – прервал болтушку бывший аккордеонист. – Дело не в отсутствии таблеток и не в том, что ты не можешь простой укол сделать. Всё из-за снов.

– Снов? – переспросила Ола. – Я не понимаю.

– Как ты появилась, нам стали сниться сны.

– Что же в этом странного и при чём тут я?

– До тебя никому из нас уже давно ничего не снилось, а тут каждую ночь мы видим себя молодыми, в окружении родных... И еще – много, много солнца! Рыжего.

– Рыжего?

– Именно. Похожего на тебя! Может, ты, сама не желая, заразила нас фантазиями или мечтами?

Вероятно, случилось чудо. Неиссякаемая Трещалка молчала. Не знала, что сказать...

– Разве это плохо? – наконец, спросила она.

– Мы просто не можем так дальше жить. Боимся просыпаться. Лучше умереть, но навсегда остаться в этих волшебных снах. Или не видеть их совсем. Жить как до тебя – в старом разрушенном городе, среди руин, ничего не помнить и не вспоминать... Да, просто жить.

– Но при чём тут я?!

– Не знаю, но ты должна оставить нас в покое. Чем скорее уедешь – тем лучше.

– А может, дело в вас самих? – предположила Ола.

В её глазах читалась жалость.

– Ко мне сегодня приходил Алексей. Плакал. Я никогда таким его не видел. Прежде самого чёрта не боялся. А теперь говорит: «Страшно! Или руки на себя наложу или убью практикантку!»...

Ола поняла. После этого разговора девчонку в посёлке больше никто не видел...

Уже на следующий день после исчезновения непутёвой говорушки все начали переживать – не случилось ли с ней что плохое? Алексей разругался с Марком, что тот отпустил девочку без провожатого.

– Как я мог знать, что она просто так уйдёт? Трещалка слова не проронила. Я думал...

– Ты всегда отличался чёрствым характером! – Анастасия готова была растерзать бывшего аккордеониста.

В общем, Марку досталось от всех!

Не мешкая, дружно отправились на поиски. Почти все они давно не ходили в лес, а тут прошагали по буреломам несколько километров. Никого и ничего не нашли, даже следов. Татьяна звала беглянку, пока не охрипла. Экс-

истопник Борис не соглашался прекращать поиски, и его чуть ли не силком пришлось выводить из леса...

Вернулись без сил, полуживые, и опять принялись проклинать вздорную девчонку! Поклялись навсегда забыть негодницу!

Но уже на следующий день дружно отправили бедного Марка в район, узнать, не случилось ли что с их Олой. Бывший аккордеонист не покидал посёлок лет сто и не на шутку испугался, что не найдёт дорогу в райцентр. Не пощадили...

А сны пропали вместе с Олой, словно Трещалка забрала их с собой. Так в забытом богом посёлочке яркое солнышко навсегда спряталось за густые серые тучи...

Эпилог

В медицинском училище шёл обычный учебный день.

В одной из групп педагог распекал ученицу за бесконечную болтовню. И тут её позвали к директору.

– Может, ты объяснишь, что это все значит? – строго спросил директор, едва девчонка вошла в кабинет.

Она, как всегда, ничего не поняла и принялась тарахтеть глупости.

Не выдержав, директор взял её за руки и подвёл к окну.

Во дворе училища стояли пятнадцать стариков.

Увидев в окне Олу, вперёд вышел Марк. В руках он держал аккордеон...

Лирический портрет

Татьяна ДИВАКОВА

Москва

МОНОЛОГИ НА ПАТРИАРШИХ

Вспоминая роман М. Булгакова

«Мастер и Маргарита»

I. Пролог

Всё будет правильно, на этом построен мир.

Глава 32. Прощение и вечный приют

Что-то не заладилось в природе!
Кто её, капризную, поймет?
День за днём упрямо сумасбродит:
То теплом, то холодом проймёт,

То найдет грозу, когда все сроки
Для забавы этой истекли,
Вскользь припомнив прошлого уроки,
Те, что мы не сразу извлекли.

А сегодня, подражая трюкам
Времени – о шаткий циферблат!
Обнулилась, и в фантомном круге –
Мастер, Маргарита и Пилат.

II. Прохожий

...Язык может скрыть истину, а глаза – никогда!

Глава 15. Сон Никанора Ивановича

Я на Патриарших – те же липы,
Ветви чертят в прошлое портал,
На скамейке, лентой перевитой –
Позабывтый глянцевого журнал...

Мир безлюден, не до лиц сегодня –
Пандемия, что за горький год!
Бесприютно жмётся в подворотне
Онемевший от озноба кот.

Странное, лохматое явление.
Эй, чернявый, сгинешь ни за грош!
Взгляд – великолепное презренье,
Тайное орудие вельмож.

Ты не тот ли, из известной свиты?
Миру не забыть ни ваш вояж,
Ни чудес! Ужели Маргариту
Ищут вновь в неласковых краях?

Или, затеватель катавасий,
Ты, как ненавистник-графоман,
К нам подослан, чтобы новый Мастер
Сжёг свой недописанный роман?

Не удастся! Неподвластен гений
Безрассудству, хоть нелёгко путь
В «дивном» мире киберизмерений.
Ну, иди, иди ж... куда-нибудь!

Слышишь, разгрозилося – чем не повод
Скрыться восвояси нам двоим?
Вновь ненастье поглотило город,
Как когда-то тьма – Ершалаим.

Вновь ожесточённо по балконам
Хлещут струи вечного бича,
И огнём к земле несутся кони,
Всё живое на пути топча.

III. Иван Бездомный

– А вам, что же, мои стихи не нравятся?

Глава 13. Явление героя

Я сочинил, согласно всем канонам,
Стихи о вероломности Луны –
«Щербатый вор». Взорвавшись по балкону,
Она ко мне проникла незаконно,
Но с умыслом вполне определённым –
Мои похитить сны.

Шаг от бедра – не Голливуд, но дива,
На вид, возможно, двадцать полных лет.
И так ясна знакомства перспектива
В тот вечер очумительно-игривый...
Я поднял тост: – За вас, ночное диво!
Она : – Да вы – поэт!

Бокалов звон.

– За ваш талант! Источник
Его, возможно, в северной весне?
– О, я первопроходец-одиночник.
– Герой пера! Гомер!
– Многостаночник...
– Но ваш секрет, мой скромный полуночник,
Сокрыт...
– Секрет – во сне.

– Ах, вот как! Это, право, даже мило!
Во сне и... всё? Какой вы интриган!
Тут гостя на глазах преобразилась:
Фантом ли, призрак? Вся зафосфорилась,
Повиснув в воздухе, но в спешке обронила
Припрятанный наган.

Меня пронзило: ведьма, за наживой!
Я – хватать бутылку! жутко самому
Ударить... эту, но она брезгливо
Меня приобняла, сказав лениво:
– А ну, гоните сны, парниша, живо!
Они вам ни к чему.

IV. Маргарита

И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.

Глава 20. Крем Азazelло

Счастлива, счастлива! Сладкий пожар изнутри!
Ах, Вальтцер Вальсович – танец, движенье на три,
Празднество-тайнство, не горевать – танцевать,
Как же изящно ты переродился на пять!

Звуки квинтолями* – каждый в процесс вовлечен,
А траекторией, нет, продолженьем времён –
Крыши московские; может для нас, Маргарит,
Гений Чайковского создал тебя не на три,

А на волшебные пять**, и поди разберись,
Как по карнизам гулять... Ну же, Вальтцер-каприз,
Взвейся в судьбе, я же, выпив пространства нектар –
В выси, к звезде!
Да исчезнет Земли жалкий шар!

V. Мастер

– Откуда вы сейчас?

– Из дома скорби. Я – душевнобольной.

Глава 24. Извлечение Мастера

Потерянный... Мне жизнь закрыли! – двери
И окна зарешечены в момент,

* Квинтоль – здесь: 5 равнозначных длительностей в такте.

** «Valse a cinq temps» (Пятидольный вальс), соч. 72, № 16
П.И. Чайковского.

Намеренно. Неделя за неделей я –
Сто восемнадцатый, безвестный пациент.
Затёрты адрес, имя, группа крови,
Дотлел роман, реакцией на мир –
Моё молчание, для эры пустословия
И пресмыкательства моих коллег-проныр –
Обычный случай, ветх как лодка Ноя.
Московских хроник бывший фигурант,
Я предпочту навеки быть с изгоями,
Умалишёнными, но не менять талант
На горсть монет – о, караван историй,
От свету к мраку плавный градиент*!
Я – мастер. Мастер? Нет, я тот, кто болен, я –
Сто восемнадцатый. Забытый. Пациент.

VI. Понтий Пилат

– Тесно мне, – вымолвил Пилат, – тесно мне!

Глава 2. Понтий Пилат

Мой пёс, мой друг, о, не виляй хвостом,
Не в духе я сегодня – дел насущных
Стал узником и в мире правовом
Впервые не пойму исход грядущих
Решений. Дело, собственно, врача
Или философа, но не убийцы, право!
Что? Отпустить? Но, за спиной шепча,
Грозят первосвященники расправой
Мне самому, мол, я – не друг тогда
Тиверию, ведь кесарь недоверчив
До судорог, и не спасти хребта
Изменнику: донос – и вмиг заверчен
Фемиды жернов: перемелет жизнь,
Оставив горсть трухи... Да ты зеваешь!
А если всё же Он – пророк, скажи?
Назарянин? Пышным урожаем

* Градиент (от лат. *gradiens*) – восходящий; здесь – мера возрастания.

Пожну тогда я недовольства бунт!
О, лучше яду, чем восстанье черни!
Презрению потомки предадут
Пилата, ох, недаром на коленях
Жена меня молила: «Ничего
Не делай Иешуа, слышишь? Много
Во сне я пострадала за него».
О боги, как извилиста дорога
Докучной истины. Ужель их две?
Что ни решишь – любое дело скверно.
О, как же нестерпимо в голове
Огонь пульсирует! К грозе, наверно...

VII. Фагот

– Какой интересный город, не правда ли?
... – Мессир, мне больше нравится Рим!
– Да, это дело вкуса...

Глава 29. Судьба Мастера
и Маргариты predetermined

О, как докучлив московитов мир!
И мне милее пыльный Рим, Мессир!
Там радуга – цветной Аркобалено
В ленивом Тибре вязнет по колено;
Меж стройных пиний – игрища дриад
Да торжество барочных анфилад...

А вот в Москву, клянусь, я – ни ногой!
Пусть попотеет кто-нибудь другой!
Я в хор вернусь – я музыкант бывалый,
Хоть басом, хоть альтино-запевалой,
А то в трудах лукавых пребывав,
Забудешь напрочь радости октав!

Давно спросить пытаюсь: в чём резон
Дразнить меня «Фаготом»? Я – «Бассон»*!

* Бассон (фр. *basson*) – фагот (язычковый деревянный духовой музыкальный).

Из благородных, знаете, династий!
Да, многих я смешней и выкрутастей,
Но полумаска, острое словцо –
Всего лишь краска, ложное лицо.

Язык мой – враг мой! Просьба извинить:
Теряю в спешке красноречья нить,
За дерзость не попало б на орехи!
Сменю одежды – где мои доспехи
Да шлем-челата*? Будет голова
Целее, право!
Что ж, прощай, Москва!

VIII. Эпилог

О, какой страшный месяц нисан в этом году!

Глава 2. Понтий Пилат

Весна, начало звонкого апреля.
Поймав в ладони солнца юркий луч,
Я размышляю об иной неделе,
О пятнице, четырнадцатом, веришь,
Мой беззаботный спутник киберэры?
Я вспоминаю вновь роман... И туч
Нашествие – свинцовую армаду
Рисует память: не свести к числу
Дробивших иступлённо по фасадам
Тяжёлых капель; грозовым разрядом
Оглушена и ужасом прижата
Собака прокуратора в углу.
А твой хозяин, милосердный Банга,
Там, на террасе, вглядываясь в даль,
Сжимает пальцы в кровь, хрустят фаланги:
«За трусость мне воздастся – бумерангом
Возмездие настигнет, спозаранку
Паду к богам – и жертву на алтарь.

* Челата (ит. celata, фр. salad) – группа рыцарских шлемов XIV–XVI веков, имеющих в качестве общей черты наличие назатыльника без забрала.

Гнилой народец этот, что тут скажешь,
Я ж – чист пред небом, я персты омыл
Прилюдно! Неподсуден! Был улажен
Конфликт, и скоро станет днём вчерашним
Их приговор, но бьётся мысль: о важном
Я с тем, *распятым*, не договорил.
Гроза уходит...»
В параллельном мире
Ночь расстилает черное сукно.
Рассеиваясь в сладостном эфире,
Скользящий свет от скачущих валькирий
Дарует час военных перемирий,
И вот – число героев сочтено!
Но вижу я иных коней движенье,
Агатовых – стремительный вулкан,
На водах не дающий отраженья,
Да всадников – тартарово творенье.
Нелепое, пустое наважденье,
Когда бы ни булгаковский роман...

Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА

Волгоград

НЕБО – ЧТО ВЗЛЕТЕВШАЯ РЕКА...

* * *

Дождь чертит струйки на стекле,
А ветер их стирает гулко.
Луна – Солоха на метле –
Летит над сонным переулком,
Где в лужах топчутся дома,
Бесформенно бросая тени.
Такая странная зима –
Январь ужé, а снег не в теме.

Такие странные слова
Звучали эхом целый вечер:
«Остуда чувств...» Права молва,
Что время эту хворь не лечит.

Такие странные следы
На сердце от былых пожаров...
Но больше мы – ни я, ни ты –
Не разведём огня, пожалуй.

Дорожная

А мотор рычит-урчит песнь старинную –
Вновь меня автобус мчит в даль полынную,
Где речушки и поля, сёл огарушки...
Всё родное – и земля, и хибарушки!

За верстой спешит верста – не угонится.
По душе мне красота-законница.
Взор куда ни кину я – ширь без берега!..
Что Европа там твоя да Америка?!

* * *

Осыпаются сливы в саду,
Угощение знатное осам...
Жёлтый лист искупался в пруду
И приветствует раннюю осень.

Он представил себя кораблём,
Ветром странствий его раскачало.
Вот и мы вслед за ним поплывём
К неизведанным в жизни причалам.

И ведь знаем уже наизусть:
Через год будет новое лето.
Отчего же вселенская грусть
В каждой строчке в стихах у поэтов?

Оттого ль, что следы на росе
Смоют ливни и выстудят зимы?
Оттого ль, что мгновения все
Мимолётны и неповторимы?

* * *

Давно так мальвы не цвели,
Как в нынешнем году,
Как в той нетающей дали –
Неувядающей дали –
В припасливом саду!..

Домишко – мазанный фасад,
Не барин – мужичок...
Просвирник красил палисад –
В бутонах армячок...

Цветы, как стаи рослых птиц,
Слетались на постой
Пить
 святость отческих криниц
Всей зеленью густой.
И наши с бабушкой труды –
Крылатая гряда!..
Ах, сколько убыло воды!..
А с нею и года –
Дождём, из лейки детства ли,
Как брызги на лету?..

Давно так мальвы не цвели,
Как в памяти цветут.

* * *

Покряхтыванье хвороста в костре
И листьев обожжённых шелест, стоны,
И дым туманом едким во дворе,
И пепла перья крыльями вороны...

Не так ли нас, как прелую листву,
Сгребут, не пощадив, однажды годы?
Сгорев, ворвёмся дымкой в синеву,
От лёгкости пьянея и свободы.

* * *

Небо – что взлетевшая река...
И лазурь в ней баламутит воды.
Утром ты ныряешь в облака –
Только высь даёт глотнуть свободы.

А в ночи луна – янтарный плёс –
Топит сны под вётряную скрипку...
Вяжешь сеть из непотухших звёзд,
Ловишь солнце – золотую рыбку, –

Загадав желанье, чтобы днём
Вновь лучи плескались в речке неба
И на землю сыпались огнём,
Превращаясь там в колосья хлеба.

Небо – что взлетевшая река...

* * *

Бежать, бежать по лунной стёжке в сны,
Оставив дню тревогу и невзгоду,
Где сердце стынет январю в угоду,
Где в зеркале моём глаза грустны.

Укрыться в лабиринте грёз в ночи
От каверзы судьбы, тоски, обмана.
Плесни, Морфей, дремотного дурмана,
От слякоти душевной излечи.

Под мерный шёпот стареньких часов
Сомкнёт ресницы тихая усталость...
Пусть до поры в неведение останусь,
Но только не хочу я вещей снов.

Валерий МАЗМАНЯН

Москва

...И КЕМ-ТО ОСЕНИ ПОРУЧЕНО ВСЁ СТАВИТЬ НА СВОИ МЕСТА

* * *

У зеркала притихла ты –
морщинки и седая прядь,
а мы, как поздние цветы,
не верим – время увядать.

А в памяти ночной грозы
весенний день и майский гром,
какая осень без слезы,
без сожалений о былом.

И будь ты грешен, будь святой,
за птичьей стаей не взлететь...
И дождь серебряной метлой
метёт берёзовую медь.

* * *

Берёза в поношенном платье
не прячет изгибы бедра,
с дождями приходят некстати
тоска о былом и хандра.

Скворцу за морями приснится
осиновый ветки ожог,

тату на груди у синицы –
осеннего солнца кружок.

А клёны отдали одежды
ветрам и забыли печаль,
и небо свинцовое держат
на чёрных костлявых плечах.

Не купишь на золото листьев
прозрачность погожего дня...
теплее на сердце от мысли,
что ты не оставишь меня.

* * *

С начала июня – неделя,
тюльпаны уже отцвели,
о вечности лета гудели
траве золотые шмели.

А пышную зелень квартала
губили не тучи, а зной,
смотрел, как сирень отцветала,
со мной одуванчик седой.

Я знал, что меня ты любила
и что не сойтись берегам,
цветущая ветка рябины
досталась февральским снегам.

Когда нас былое отпустит,
и память, и годы решат...
мы кто? – только коконы грусти,
а бабочкой станет душа.

* * *

Багряным сердцем бьётся
осиновый листок,

сосна целует солнце
в оранжевый висок.

Тепло в душе от мысли,
что я в тебя влюблён,
пылают жаром листья –
обжѣг ладони клѣн.

С берёзой в тихой роше
давным-давно знаком,
поманит жизнь хорошим –
пойдѣшь и босиком.

Что многое нам поздно –
дождя ночного бред...
а осень льѣт из бронзы
вспоминанья лет.

* * *

К утру измученный бессонницей
вздохнёшь – не тех, наверно, ждал,
трепещет бабочкой-лимонницей
листочек на игле дождя.

Осины красятся румянами,
а тучи набирают вес,
притих укутанный туманами
простуженный осенний лес.

От свиста ветра лужа морщится,
а ты всё предаёшь суду,
и желтизной больная рощица
неделю мечется в бреду.

Кленовый лист ладонью скрюченной
взъерошил волосы куста...
и кем-то осени поручено
всѣ ставить на свои места.

* * *

О судьбе разговоры уже не влекут –
вспоминается чья-то вина,
зацепился за веточку неба лоскут
и трепещет в проёме окна.

Не озлобились, живы, не стали грубей,
не горюй, а уныние – грех,
белизною пометил виски, голубей
и берёзы растаявший снег.

Не вздыхай, нам апрельские ночи вернут
всех ушедших в красивые сны...
На берёзовой веточке неба лоскут,
улыбнись – это выпел весны.

* * *

Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей,
берёза обноски латает
цыганской иглой дождей.

А клёны не прячут нагие
узлы выступающих вен,
и мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.

Ты рядом, к чему торопиться
с утра в суматоху недель,
зонты, словно чёрные птицы,
куда-то уносят людей.

С намокшей травы не поднимешь
осины цветастый платок...
что там – за туманами – финиш,
а может быть, новый виток.

СТИХИ ПОЭТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА ЖУРНАЛА «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Проект Литературного клуба журнала «Нижний Новгород» вырос из «Литературного нон-стопа», у истоков которого стояли Олег Макоша, Глеб Фирсов и Елена Минская.

«Литературный нон-стоп» подразумевал, что нижегородские поэты и писатели собираются раз в неделю в арт-пространстве «Кладовка» и читают стихи и короткую прозу друг другу и зрителям. В конце мероприятия всегда проводился «открытый микрофон», в рамках которого любой желающий мог выступить со своими произведениями перед публикой. Проект оказался интересен, и вокруг него стало формироваться сообщество единомышленников. В их число вошли такие авторы, как Марина Кулакова, Игорь Чурдалёв, Владимир Безденежных, Денис Липатов, Сергей Журавель, Дмитрий Ларионов, Сергей Михеев, Андрей Дмитриев, Наталья Емельянова, Денис Макарычев, Лейла Орен, Дмитрий Терентьев и др. Однако осенью 2019 года «Кладовку» закрыли на глубокую реставрацию. И проект остался «без крыши над головой». Тогда по предложению главного редактора журнала «Нижний Новгород» Олега Рябова, в декабре 2019 года проект перебрался под эгиду Государственного музея А.М. Горького в усадьбу Киришбаумов в музей-квартиру писателя. Возглавил проект, со всеобщего одобрения присутствующих, нижегородский поэт Владимир Безденежных.

К тому времени назрела необходимость реформатирования «Литературного нон-стопа». В ходе дискуссий между постоянными участниками проекта созрела идея внесения ряда изменений в формат проекта. Главными нововведениями стали: появление традиции глубокого разбора произведений участников проекта, выполнение еженедельных творческих упражнений, обмен новостями литературного мира и книжными новинками, планирование новых литературно-музыкальных проектов Клуба и много

другое. Благодаря этому у участников проекта появилась уникальная возможность совершенствования своих писательских навыков, расширения кругозора, приобретения нового теоретического и практического опыта, а также обмена им. Проект продолжил развиваться и стал носить название Литературный клуб журнала «Нижний Новгород».

По рекомендациям главы Клуба Владимира Безденежных участники проекта принимают активное участие в еженедельных литературных чтениях (каждая суббота с 15:00 до 17:00), тренируют свои практические творческие навыки путём работы с различными поэтическими формами, готовят тематические доклады, участвуют в совместных выступлениях.

Работа Клуба ведётся в форматах литературного семинара, внутрестудийных обсуждений, открытых литературных чтений и т. п. В дополнение к этому участники проекта принимают участие в групповых мероприятиях, приуроченных к важным датам. Так, 13 февраля прошёл вечер памяти Игоря Чурдалёва. 9 мая в рамках Клуба прошли чтения, посвящённые Дню Победы. 15 мая на «Ночи музеев» Литературный клуб журнала «Нижний Новгород» провёл презентацию антологии поэзии и прозы «Коромысло-ва башня», в которую вошли подборки произведений нескольких участников Клуба; представил литературно-музыкальную программу с участием поэтов, прозаиков и музыкантов Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Виктор ЛЯПИН

* * *

На правом берегу деревня.
На левом тощий, сгнивший сад.
...потусторонние деревья,
пылая, из воды торчат.

Гудит, шаманит непогода.
Дождь. Слякоть. Не видать ни зги.
...На левом липы сходят в воду.
На правом сломаны мостки.

И ты поймешь, как сквозь стекло
воды кипящей проступает
другое – не добро, не зло,
а что – да кто ж об этом знает?

Ни для кого кипит вода.
Ни для кого под ветра всхлипы
из ниоткуда в никуда
в живую воду сходят липы.

* * *

На мглу левобережную
опустится, как шаль,
неспешная, неснежная,
нездешняя печаль.

Как вечная капустаница
на льдистой кадки гнёт,
опустится, опустится,
замрет и вновь вспорхнет.

В ней тает осень дальняя,
листвы умершей прель
и роскошь увядания
простуженных недель.

И ты поймешь нечаянно,
что сердце влюблено
и в эти дни случайные,
и в листьев полотно,

и в черноту зеркальную,
и в грусть твоих потерь,
и в позднее раскаянье,
ненужное теперь.

Жмут берега бетонные.
Уплыл в затон причал.

Безбрежная, бездонная,
бездомная печаль.

Вдруг все когда-то бывшее
опустится, как шаль,
на сердце, полюбившее
печаль, печаль, печаль.

И небо краской залито,
и первый, как во сне,
то падает, то тает, то
целует реку снег...

* * *

Дионисийское, слепое
пахтанье снегопадное,
и дом с жующей снег трубою
сипит свое, надсадное.

Бурчит, шипит на домочадцев,
на их чай несмелые.
И мчатся, мчатся, мчатся, мчатся
вдоль стекол хлопья серые.

Уже в углу паучьем, строгом
вскипают капли в лужицу,
и кто-то волглый под порогом
ворочается, кружится.

Несет снега на домик шаткий,
несет, несет... Куда ж их?
Усни, проваливаясь сладко
в пух одеял лебяжьих.

А утром – в инее окошки.
Спит дом, пурги наевшийся.
...Лишь солнце да урчанье кошки,
к щеке твоей пригревшейся.

Сергей МИХЕЕВ

Синдерелла (new)

Мыши тысячу раз перебрали крупу
И фореитор пропил свою шпагу
Тень живёт у меня в гардеробном шкафу
И оттуда ни шагу

Я до дыр заносил свой парчовый камзол
И без этого видевший виды
Мне бы Золушку выбрать тогда из двух зол
Не держала б обиды

Не рвала б сюртуки и не крала б носок
Не звала бы чертей на подмогу
Всё равно не покинуть ей дом из досок
Не уйти босоногой

Я закрыл в шифоньере бродячий сюжет
Не гулять ему вновь по Европе
Не увидит теперь никогда белый свет
То ли Золушку то ли Родопис

Да и мне гардероб не пополнить никак
Не составить отшельнице пару
Скрысил старый фореитор хрустальный башмак
И отнёс антиквару

* * *

Нет времени: ни доктора, ни палача,
Ни петропавловского, ни московского.
Я призываю Владимира Владимировича,
Нет, не Путина – Маяковского.

Я включил самописец, положил чистый лист,
Свалил канцелярские принадлежности в кучу,

Вы же самый известный в стране футурист!
Совершите, пожалуйста, ком бак ту ве фьюча!

Покажите, как должен быть ласков и груб
Революционер двадцать первого века,
Чтобы вырвать себя как здоровый зуб
Из искусственного рта хай-тека,

Как, целину космоса избороздя,
Вывернув наизнанку слепящие недра,
Светить любимой миллион лет спустя
Из какой-нибудь туманности Андромеды,

Как, после взрыва метеоритами измельчась,
Путая марсианский и русский,
Кинуть на Землю горячую страсть
В Подкаменную Тунгуску.

Владимир Владимирович, я готов
За вами хоть в воды Стикса,
Но я китами кормлю котов
И мышами древнего Сфинкса

Призрак

Много лет я тебя не ревную уже,
Я простил тебе всех твоих бывших мужей,
Кто подкатывал с яйцами от Фаберже
Или просто на шару,
Всех любовников, папиков, юных пажей,
Арлекинов-петрушек, телков-сторожей
И хромого портье на 8-м этаже
Из гостиницы Кот-д'Ивуара

Ты одна – мне несбывшаяся мечта,
Ты – единственный мой незакрытый гештальт,
Мне хотелось в затылок любимой дышать
На большой перемене.
Ты – мой морок, мой грех, моя боль и печаль,
Ты – клеймо на плече, роковая печать,

Мне осталось ходить за тобой и молчать
Как положено тени.

Никогда моя страсть не начнёт угасать,
Я с тобой провожу по четыре часа,
Пока ухают совы в дремучих лесах,
Мне открыты все двери.
Твоё сердце – наверное, чистый алмаз,
Ты однажды смотрела мне прямо в глаза,
Я хотел тебе даже про всё рассказать,
Только ты не поверишь,

Как в ночи я беру твой волнующий след,
Как я режу ладони о месяца серп,
Как от звёздных булавок оглох и ослеп,
К сумасшествию близок.
Я – застывший в гримасе отчаянья звук,
Тот, который сто раз тиражировал Мунк.
Кто сказал, что не может испытывать мук
Неприкаянный призрак?

Я, нелепой любви недоразвитый плод,
Набираю твой номер, срываю джекпот,
Но мой крик до тебя никогда не дойдёт
Из других измерений.
Ведь богиня любви – это та из богинь,
Что предпочитает реальных мужчин,
И бесплотность – одна из ведущих причин
Не любить привидений

Сергей ЖУРАВЕЛЬ

Халат

Как мне заставить тебя волноваться?
Ты осторожна, умна, холодна.
Ждёшь окончания бурных оваций,
Как водолаз приближения дна.

Гасишь пожар напряжением воли,
Возобновляя бесстрастный сюжет.
Как разбудить голоса колоколен,
Цепью расставленных на рубеже?

Как расплести заколдованный кокон,
Намертво склеенный ужасом жить?
Где механизм, управляющий током?
Где ты включаешься? Как? Покажи!

Женщина в розово-грязном халате,
Смутно вникая, о чём говорят,
Думает – хватит ей или не хватит
Денег в копилке на новый халат.

Не говорит

Так вот сидишь один у реки и ждёшь.
Куришь, боясь, что кончатся. Жжёшь траву.
То загорается, то ловишь затылком дождь.
Ждёшь, когда кто-то скажет: «тебя зовут».

Так вот сидишь один, представляя, как
Лодка зашла под мост и маяк горит.
Нет ни моста, ни лодки, ни маяка.
Ждёшь, когда кто-то скажет... Не говорит.

Так вот сидишь один у реки вчера.
Куришь, боясь, что кончатся. Жжёшь траву.
Ждёшь, когда руки небесного гончара
Этот пейзаж бессмысленный разорвут.

Татьяна БОБЫШЕВА

* * *

Эх, повернуть бы время вспять,
Нет, не за тем, чтоб возраст сбавить,

И не за тем, чтоб поменять
Все то, чего уж не исправить, —
Увидеть мамы нежный взгляд,
Погладить бабушкины руки,
Им рассказать о чем галдят
Их многочисленные внуки,
Попасть в тот благодушный мир,
Когда ключи под коврик клали,
Где каждый праздник общим был,
И всех, живущих рядом, знали,
Где в миг падения звезды
Наивно искренне гадали,
Что были лучшими мечты
Теперь лишь только осознали.
И, напившись добротой,
Спокойно путь земной продолжить,
В извечной суете мирской
Любить живых, ушедших помнить!

* * *

Бледное мерцание
трепетной свечи,
Ветра завывание
мерное в ночи.
В стеклах вязь узорная —
ветки да цветы.
Мысли иллюзорные,
вольные мечты.
Искрится под инеем
кованный букет,
Сквозь витые линии
льется лунный свет.
Вырезанной бабочкой
тень от фонаря.
Я, в пушистых тапочках,
зельем февраля

Вновь привороженная
 к зимнему окну.
Вроде не влюбленная,
 все же не усну.
Прочь благоразумие, —
 бодрость допоздна.
Время полнолуния —
 вот и не до сна.

Кто-то прочтет, лишь подернет плечами,
и ничего,
Кто-то взгрустнет над моими стихами,
вспомнив Его,
Может быть, даже поплачет украдкой
наедине,
После запишет на память в тетрадке
иль на листке.
Рифма за рифмой сплетаю моменты жизни,
как нить,
Не претендуя на званье поэта,
мне не судить.
Разнообразьем сюжетов-узоров
хочется вновь,
Всем рассказать о российских просторах
и про Любовь.
А попадешь в резонанс с ощущением
чьей-то души,
Кто-то промолвит без тени сомненья:
«Да, хороши».
Пусть этих «кто-то», — их будет немного,
в этом ли суть?
Главное все-таки веру пред Богом
не обмануть.
И пока чувства слагаются в строчки,
буду творить!
И пока сердце не выстучит: «Точка» —
буду любить!!!

Лейла ОРЕН

Срываясь

Качание. Вкус кофе. Дым и тень.
Весов неверность или бег по кругу.
Нелепая пустая канитель.
Предательство придуманного друга.
И друга ль вовсе, коли боль в душе,
и колет у висков, а не под сердцем?
Набор проступков, смиренных клише,
что не дают поверить и согреться...
Сомкнуть глаза и думать, что потом,
и в темноте, в обнявшем одеяле,
дрожать всю ночь осиновым листом
и думать об утрате и морали.
Вертеть в руках помятых дней клочок,
ключи от сердца отдавать другому
и делать необдуманный скачок,
с крючка срываясь рыбой, впавшей в кому.
Комок у горла чувствовать и знать,
что вечерами, полными надежды,
ты ляжешь в свою мягкую кровать,
но ничего не будет так, как прежде.

Галина ГОЛОВЛЁВА

* * *

Все тот же дом. И тот же сад.
Наверно, замершее время
Не может властвовать над теми,
Кто в прошлом затеряться рад.

У дома скошена трава.
У двери ждут тебя калоши.
И куртка старая жива –
Скучает на гвозде в прихожей.

Знакомый запах табака –
Куда б ни шла – витает рядом.
И, словно вздохом виноватым, –
Тепло дыхания у виска.

Пусть правы те, что говорят:
«Смирись. Все в этой жизни тленно».
А стрелки на часах настенных
Упрямо пятятся назад.

Пыхтит пузатый самовар.
Над блюдцем с медом кружат осы.
Над чашкой с чаем вьется пар,
Напоминая знак вопроса.

Все как обычно: вечер, стол,
Накрытый белой скатеркой.
И кажется – ты не ушел.
Лишь отлучился ненадолго.

Крылья

Незнакомой дорогой, от заката к рассвету
Я лечу, догоняя ветер:
Вдруг он путь мне подскажет к островку в мире этом,
Где всегда горизонт светел?

Подо мной – океаны, и равнины, и горы,
Над моей головой – лишь небо.
Моим крыльям усталым служит воздух опорой,
Я ему доверяюсь слепо.

Им дышу, в нем купаюсь, и его же горстями
Пью взахлеб, утоляя жажду.
Сквозь себя пропускаю его лед, его пламя –
Как бы ни было сердцу страшно.

В пустоте беспредельной, в тишине безответной,
Над собой то смеюсь, то плача,

Я лечу за надеждой, от заката к рассвету,
Вопреки темноте незрячей.

Только б не заблудиться между тьмою и светом,
Наглотавшись вселенской пыли:
Ведь зачем-то однажды все предвидящим кем-то
Мне дарованы были крылья.

На всей земле нас было двое

В тот день, устав от суеты
Пропахших пылью шумных улиц,
Сбежав из городского улья,
Мы были вместе – я и ты.

Наш старый деревенский дом
Дышал вечернею прохладой.
Мы ели яблоки из сада
И запивали их вином.

Потом знакомою тропой
Пошли к реке – ладонь к ладони.
За полем всхрапывали кони,
Бредущие на водопой.

Пустынный пляж не ждал гостей,
Но был доверчиво-приветлив:
Купались ивовые ветви
У берега в речной воде.

Глотал следы сухой песок,
А прилетевший с поля ветер,
Поймав нас в ласковые сети,
Щекотно целовал в висок.

И рядом не было пока
Ни одиночества, ни боли:
Песок, река, деревья, поле,
И теплый ветер на щеках.

Вздыхал о чем-то сонный лес.
На всей земле нас было двое —
Лишь ангел мудрой головою
Качал сочувственно с небес...

Елена ЛЕМЕЛЬ

Ворон

Сонных мыслей ворох тёмный
погребает.
Подгребая незнакомый,
сладко-кислый,
невесомый
вкус воспоминаний быстрых,
давностью лишённых смысла,
пыльных,
тесных,
некрасивых...

Нет сил.

Обессилов,
пересчитываю нервы.
Рву минуты,
скачут стрелки.
Сердца грохот
не проходит.
Происходит отчужденье
Глаз невидяще бездонных
расстеклённо светлых окон,
беспристрастных,
незнакомых...

Стон.

Раздался или брежу?
Брезжит предрассветный сполох,
разгоняя мыслей ворох,
рой воспоминаний тёмных...

Стон,
натужный, беспокойный,
настоящей полный боли...
Волен?
Ворон, чуждый ворон,
пролетая, крикнул:
– Волен!

Отпускаю из объятий, не задерживаю больше
ломоту страданий плотских.
Отпускаю.
Успокойся.

Бессонница

Сердце роняет неровные строки,
Как машинистка с глубоким артритом.
Боль от стаккато ночь делает долгой.
Будет ли утро?
Отсюда не видно.

Дрожь растекается с кончиков пальцев,
Замкнутых на багровеющем кьянти.
Вдох задержался,
растянут на пальцах
Выгнутой клетки груди под распытьем.

Ночь происходит сквозь тюль занавесок,
Радостно, искренне лают собаки.
Сон навалился, спокойно, развесисто...
Или – хлопок?
И – ликующе – снято!

Денис МАКАРЫЧЕВ

Пусть говорят

Мне говорят, что занят я не тем:
В моей судьбе преобладают числа,

И в красоте наибанальных тем
Мне не найти исполненную смысла.

Свой выбор посвятил карандашу,
Зато всегда, как водится, при деле;
Мне говорят – я пафосно пишу –
Я и дышу, бывает, на пределе.

Врут, что происходящее вокруг
Всё не находит выхода наружу:
Рвёт клапана, седьмой пылает круг,
Пока... не сублимируется стужей.

Пусть говорят, что шаток пьедестал –
Я не видал! Ни dna... ни пьедестала.
Пусть говорят – я много потерял,
Я и нашел, надеюсь, что немало.

Я вряд ли изъясняюсь хорошо –
Пусть извинят классические школы.
Коль скажут про меня – он изошел –
Я закажу повторно... и без колы!

Весы

Чуть громче снова тикают часы,
Чуть запоздало...
Прошли то равновесие весы,
Что вдохновляло.
Колется тепло простой души
На ритме строчки.
Приходится, куда ты ни спеши,
Расставить точки.
Опять на волю просится огонь
Из поддувала,
Казалось бы – поводья только тронь...
А жить-то – мало.
Твой капитал уходит сквозь песок
Ежесекундно,

Уже на дне осталось – на глоток,
Допей – прилюдно!
По-разному к порогу подойдем,
Где сможем сами
Понять, что жизнь измерена теплом,
Но не часами –
Кто годы проклиная нараспев
За водкой «с таким»,
Кто на бегу задуматься успев
Над каждым шагом!
Резон остаток в думах утопить
Над «было – стало» –
Чтобы прожить второй раз эту жизнь
Двух жизней мало!
Казалось бы, Монмартр не покорен –
Уже ль не светит?
Очередным паденьем окрылен
И сам – в ответе!
Прямой итог, которого достиг,
Прорвав плотину:
Счастливым буду видеть каждый миг,
Иль тихо сгину.
Пусть вдохновит-порадует-простит
Плохая строчка –
Теперь наполнен жаждой каждый стих.
Не ставим точку...

Наталия ЯНГ

* * *

Звонкими брызгами рыжими
Звезды и листья падали...
Как же тогда я выжила?...
Только об этом надо ли?

Так ли теперь значимы
Память, твои выверты?

Ветра губами горячими
Слезы мои выпиты...

Вновь ароматом свежести
Воздух вокруг полнится,
Только желанья прежние
В сердце на дне покоятся.

Но в облака белоснежные
Небо, смеясь, одевается,
А на пригорке, нежная,
Трава пробивается...

Алла ПРИЦ

Памяти поэта

*...Счастье – дело не жребия, но Дара,
даже если мир жесток или груб.
Потому и улыбнусь,
упадая
в одиночества лиловую глубину.*

Игорь Чурдалёв

Грустная вестница, грустная вестница
С вестью печальной.
Райская лестница, райская лестница –
Шаг твой прощальный.

Уж не пройдёшь ты по улицам города –
Полы метелью,
Тихие улочки Нижнего Новгорода
Осиротели.

Близким, знакомым, врагам и завистникам
Звучностью рупора:
«Будьте здоровы!». Верящим в мистику
В золоте купола

Солнечным бликом сверкнул на прощание –
Как улыбнулся...
Словом и музыкой – нет, не молчанием! –
В мир сей вернулся.

. . . .

Ветер поднялся и сразу же стих,
Слушая тризну.
Твой ненаписанный горестный стих –
Приятие жизни.

Вера КАРАВАНОВА

Не знала...

Река тропинкой убегала в небо,
На облаках сидели рыбаки.
А я не знала, быть то или небыль,
И сколько омутов на дне у той реки.

В ней время паутиной заплеталось
И стрелки спотыкались на бегу.
Не знала я, что жизнь такая малость,
Когда стояла там на берегу.

Сосна верхушкой небо щекотала,
Тянулась к звёздам из последних сил.
А я не знала, как ей света мало
И сколько тайн ей ветер приносил.

Луна резвилась, с листьями играя,
Шептала глупости в открытое окно.
На сотом круге ада или рая,
У той сосны иль в облаках витая –
Не знала я, где быть мне суждено.

Привидение

Дуновение на щеках,
Взлёт — падение занавески...
И мгновения, словно фрески,
Заключённые в зеркалах.
Вздых... Мерцающий свет лучин,
Заметавшийся от движенья
В лабиринте из отражений
Их причудливых величин.
Невесомость небытия,
Холодок и мурашек всплески,
Колыхание занавески —
Лишь предчувствие мной тебя...

Елена ПЕРВОВСКАЯ

* * *

Весь день лил дождь.
Сентябрь промок
от безысходности и стужи.
И думала, мне будет хуже
того, что преподносит в срок
нам ненаглядная природа.
И мы готовы год от года
ей подчиняться. Невдомёк
нам положение дел в мире.
Мы господа в своей квартире,
а там за дверью — хоть потоп.
У нас не каплет потолок,
у нас не дует из щелей,
и, в общем, всё у нас окей!

Гости номера

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ **«МЛАДОСТЬ»** *Белгород*

Людмила БРАГИНА

ВОПРОС

«Белый кот — ...охотник, идущий по следу; ...ищущий бесследно пропавших».

Уильям С Берроуз. «Кот Внутри»

Лина не спеша идёт по улице, которая напоминает то ли туннель, то ли лабиринт. По бокам расчищенной узкой дорожки тянутся высокие кучи снега. Тускло светит холодное бледное солнце, ягоды рябины ярко и сочно алеют под белыми пушистыми шапками. Морозец щиплет щёки, стынут руки в перчатках, но садиться в маршрутку всё равно не хочется. Наконец-то выдалась правильная красивая зима, и совсем не грех немножко помёрзнуть.

На дорожке топчется стайка озябших и взъерошенных голубей, высматривая себе пропитание. У рябенького одна лапка поджата, а на второй он неловко и тяжело подпрыгивает. Морозы стоят нешуточные, много живности городской обмораживается и погибает. Лина хмурится и начи-

нает рыться в карманах, но не находит ничего съедобного. Открывает сумку, не теряя надежды подкормить бедолагу. Ура – нашлись три зефирки. Лина давно знала, что голуби всеядные. Сейчас проверим... точно! Рябенкий голубок, которому она поближе бросила раскрошенную зефирку, проглотил её как так и надо. Тут же подросли остальные его собраты, и через минуту от угощения ничего не осталось.

Лина идёт дальше. Сегодня она выступала перед малышами в детском саду. Вообще-то она пишет стихи для взрослых, но иногда неожиданно получают небольшие рассказы для совсем маленьких читателей. Постепенно они набирались в книжку, которая недавно вышла и имела некоторый успех у бабушек и мам, у воспитательниц детских садов, ну и, самое главное, у самих юных читателей и слушателей.

Дети сидели на расписных крошечных стульчиках, а несколько ребятшек устроились впереди прямо на ковре. Они внимательно слушали, и на их лицах Лина видела и узнавала действующих героев и события, о которых она им рассказывала. Малыши наперебой задавали вопросы: каких зверей любит писательница и какие у неё уже есть. Потом спросили, когда Лина написала своё первое стихотворение и задумчиво слушали ответ, как бы сверяясь – не пора ли им самим начинать творить или можно ещё подождать.

Сидящий на ковре карапуз со светлым пушистым чубчиком старательно тянул руку и, когда до него дошла очередь, задал вопрос, который до слёз рассмешил воспитательниц и поставил в тупик Лину: «А скажите, а когда... когда вы выросли?»

Вообще-то Лину уже давно называют так, как записано в её паспорте, – Эвелиной Михайловной. Из детства она ярче всего помнит момент, когда, сжавшись в комочек в кресле стоматолога, на вопрос доктора: «Девочка, сколько тебе лет?» Лина отвечает «Девять». И сейчас, когда она идёт по зимней улице, это ощущается так явно и отчётливо, что перед глазами снова возник вихрастый мальчишка из детского сада и его наивный вопрос вызывает смутное беспокойство. Так когда же это случилось, когда она выросла?

Внезапно дорожку перебегают белый кот. «Снежный кот, белый кот – чёрный кот наоборот», – напевает Лина. Значит, к удаче! Кот снова перебегают дорожку. Спасибо, друг! Зефир голуби съели, эх, дай я тебя хоть за ухом почесу – наклоняется к коту Лина. А кота нет. Он отступил с дорожки в сугроб под дерево и его не видно. Белый на белом. «Эй! Ты где?» – удивляется Лина. Кот молчит и не признаётся. «Ну, я тебя всё равно сейчас найду!» И Лина дотягивается до заснеженной ветки и трясёт её. И тут сразу обнаруживается кот. С небольшим сугробом на макушке он вскакивает, фыркает и бежит по дорожке к ближайшему дому.

И тут Лина чуть не сталкивается с высокой полной женщиной в дорогой шубе и с большими пакетами в руках. Её лицо кажется ей смутно знакомым. Лина всматривается и...

– Вика! Ух ты! Сколько же мы не виделись!

С Викторией они не были близкими подругами в школе, но частенько вместе прогуливали уроки, особенно физру. У кого-нибудь дома, чаще у Вики, обсуждали новые кулинарные рецепты, пекли всевозможные коржики и печенюшки. Иногда приносили их в класс и угощали девченок и некоторых мальчишек... Но это если они получались удачные.

– Викуся! Ты помнишь сколько мы с тобой горелых плюшек схоронили, чтоб никто не узнал? – хохотала Лина, обнимая мохнатую шубу.

– Ой, Лин, это ты? Ты где-то здесь живёшь? Я тебя давно нигде не встречала. Почему не приходишь на встречи одноклассников?

– Да была на одной, не помню, правда, в каком году...

Лина вспомнила свою растерянность на этой встрече. Ей было очень неуютно среди чужих взрослых мужчин и женщин. Косички и хвостики заменили причёски и крашенные волосы. Вместо беготни на переменах и лёгких угловатых силуэтов – отяжелевшие походки и начинающие расплываться формы. Они и не они. А может быть, и я не я, и всё это происходит сейчас в тех же школьных классах и коридорах – начинала изводиться Лина. На ро-

дательском собрании встретиться было бы и то веселее, чем теперь. Да ещё разговоры... Воспоминания школьных дней – только повод похвастаться удачными замужествами или выгодным местом работы...

– Вик, да что это мы стоим и стоим, давай хоть в кафешку зайдём, здесь рядом!

– Ну, давай, Лина, только на минуту, кофе выпьем, мне домой надо...

– Представляешь, у меня до сих пор та тетрадка хранится! С вырезанными рецептами и оценками за каждое блюдо, что мы готовили! Даже при нынешних гастрономических изысках в интернете, всё равно в неё заглядываю, – возбуждённо радостно щебечет Лина.

Вика молча кивает.

– А где ты сейчас работаешь? – отхлебнув глоток кофе спрашивает она.

– Всё там же. Пишу, выступаю, с детьми одарёнными занимаюсь...

– А зарплата у тебя какая?

Лина замолчала. Зарплата была мизерная. А работа – любимая. Лина очень расстраивалась и переживала, что они никак не приходят в соответствие, но обсуждать это сейчас с Викторией не хотелось, и она грустно пошутила:

– Приснился сон приятный мне когда-то: семь грузчиков несли мою зарплату... А что у тебя, расскажи! Как новогодние праздники прошли? Чем занималась?

– Ну, мы на Тае были с семьёй. Отдохнули. Сейчас покажу фотки.

Вика достала айфон, и на экране замелькали буйно зеленеющие тропические растения, накатывающие на берег морские волны, весёлые загорелые люди в купальниках на залитом солнцем белом песке...

– Классно как... А я тоже с подругой была в Таиланде...

Лина вспомнила, как они с подругой вместе гуляли. Только подруга в реале, а Лина вместе с ней... по скайпу. Сколько интересного она тогда узнала и увидела...

Лине очень хотелось туда поехать, но не получилось, и, если честно, она сомневалась, получится ли когда-нибудь. Для такого путешествия нужна не зарплата, а деньги.

– Вик, так ты за январь всё захватила: и лето, и зиму. Прямо 12 месяцев.

– Да ну её, эту зиму. Надоела.

– Как надоела? Смотри как красиво!

За огромным витринным окном синели ранние зимние сумерки того необыкновенного оттенка, который так волнует сердце. Их подсвечивали первые фонари, а в воздухе беззвучно кружились пушистые белые хлопья.

— Вот, досиделись, блин. Ещё и снег пошёл. Лин, пойдём!

Они расплатились и вышли из кафе. В воздухе сладко пахнет сдобными булочками, свежевывающим снегом и мокрыми хвойными ветками.

Лина вздыхает:

– А мы и не догадались булочки заказать, наверное, их тут вкусные пекут.

– Лин, ты извини, но мне пора. Рада была увидеть тебя. Пока.

Лина смотрит вслед уходящей Вике и видит сквозь большую длинную шубу смутные очертания высокой полной женщины, а ещё сквозь неё силуэт стройной, хрупкой девушки, через которую отчётливо видна озорная девчонка с косой и ямочками на щеках, нос у неё в муке, а внутри у девчонки сияет...

«Хватит сканировать, остановись!» – говорит себе Лина и подставляет лицо падающему с неба и с веток снегу. Мороз крепчает, она поднимает воротник, поправляет цветной вязанный шарф, выдыхая клубы пара, и ускоряет шаг.

...а когда... когда вы выросли?

«А, может быть, и нет?» – тихонько мурлычет в воротник Лина.

МЕДВЕДИКИ

Первый свой борщ трёхлетняя Лидочка сварила из тёртого кирпича и травы. Для куклы Наташи. Радостная позвала бабушку похвастаться.

– Пхе-е... Це дурніця. Хіба ти таке їсишь?*

Лидочка оправдывалась:

– Я ж для куклы, понарошку...

– Так і що що для куклы? У Наталки живіт скрутить від твого годування. У житті все повинно бути по-справжньому. Треба тебе борщ навчити готувати**. –И неожиданно лукаво добавила: – А то заміж ніхто не візьме...***

Лидочка всё поняла правильно и с того времени не стало бабушке и маме покоя. Ни в магазине продуктовом, ни на кухне. Как кушать готовить – Лидочка с расспросами бесконечными, нож хватается резать, спички только что не об стенку научилась зажигать...

Лидочка пристрастилась готовить. Борщ уже варила самостоятельно лет в шесть, все время держа в памяти бабушкину пригрозку. А в третьем классе она завела толстую тетрадь, куда старательно собирала вырезки с полезными советами по ведению хозяйства, сервировке стола и рецептами всевозможнейших блюд. Когда никого не было дома, она листала тетрадку, выбирала какой-нибудь кулинарный

* Глупости. Разве ты такое ешь?

** Ну и что, что для куклы? У Наташки живот заболит от твоей еды. В жизни все всё должно быть по-настоящему. Нужно тебя борщ научить готовить.

*** А то замуж никто не возьмёт...

рецепт и решала воплотить его въявь. Она всегда пробовала это первой, и если блюдо удавалось, было вкусным и красивым, гордо ждала домой маму и бабушку, чтобы удивить их и накормить, конечно. Но частенько случалось так, что, приготовленная строго по букве рецепта, еда получалась не вполне съедобной. И Лидочка расстроенная, разочарованная и рассерженная съедала это сама, чтобы не ударить в грязь лицом перед любимыми мамой и бабушкой. Она слышала в школе, как её подружки рассказывали, что их родители заставляют есть невкусную еду и они просто выкидывают её в унитаз. Но Лидочка так поступить с едой не могла. Она трудилась и не виновата, что автор попался несведущий и вкус у него совсем не такой... ну и продукты тоже жалко было, все-таки бабушка ходила на базар, тащила сумку... каждый раз, когда Лидочка представляла эту картинку: маленькая старенькая родная бабушка тащит по улице тяжёлую сумку, она с удвоенной скоростью проглатывала свои кулинарные неудачи. Но этим дело не ограничивалось, она открывала тетрадку и напротив рецепта ставила жирную красную двойку! Или тройку... Хотя со временем четверок и пятёрок становилось всё больше...

Лидочка выросла без отца. Вышла замуж в 20 лет. И когда смотрела на своего молодого мужа, каждый раз приходила к беспокойной мысли, что совсем мало знает его. Она знала, как он любит делать ей подарки и комплименты, какие букеты выбирал для неё, какие книги перечитывал по несколько раз, но имела смутное представление, сколько он съедает за обедом хлеба, что он больше любит – луковый французский суп или полтавский борщ... ну, и многое другое ей предстояло узнать за долгие годы их совместной жизни «в горе и в радости». Ей было очень удивительно видеть, какое количество еды он поглощает... Она пыталась посоветоваться со своей мамой, на что мама неизменно отвечала: «Ну, он же мужчина, ему нужно больше есть...» Разделять «больше» и «лучше» Лида не умела и не понимала, как это можно сделать. Свекровь подарила ей очень красивую книгу о детском питании. Наверное, с намеком... Но пока они жили с мужем вдвоем, и Лидочка

выбирала меню и разные вкусности для своего мужчины, которого надо обильно и вкусно кормить.

Однажды, перелистывая в очередной раз эту книгу, она увидела интересный рецепт, а главное, картинку, печенья «Зайчики». Они до того были симпатичные, что Лидочка решила побаловать своего суженого, который в перерыв приходил домой обедать. Предварительно она сварила наваристый борщ, поджарила румяные отбивные, приготовила гарнир, сливовый компот... ну, и с особым волнением принялась за печенье. Делалось оно несложно, но, чтобы придать форму будущим зайчикам нужно было повозиться: наделать много маленьких колбасок из теста, сложить их пополам, потом разрезать ножницами будущие ножки и ушки, потом из изюма сделать глазки, и ещё Лидочка решила сделать маленькие надрезы чтобы придать улыбочку зверушкам. На приготовление печенюшек ушло столько же времени, сколько и на весь обед. Но она успела!

Муж прибежал на перерыв, чмокнул в щёку, повёл носом «какие запахи» сел за стол и... отдал должное стараниям молодой заботливой жены. Съел всё без остатка. Потом встал, снова поцеловал Лидочку: «Спасибо, дорогая! Обед был чудесный! Особенно медведики. Всё, побежал! До вечера».

Он ушел, а Лида стояла посреди кухни и кусала дрожащие губы, потом-таки не выдержала и разревелась... Медведики!.. Она придавала каждому зайчику выражение, следила, чтобы не отвалились и не подгорели их маленькие хвостики, а он просто покидал их в рот... Он даже не поглядел на них... А ведь до этого было съедено первое, второе, компот... Ведь он уже не был голоден...

Она рыдала даже не от обиды, а от острого разочарования... хотя понимала, что это не существенно и, может быть, даже глупо, но чувствовала, что очень важное для неё не состоялось с этим человеком... И ощущала себя такой несчастной от этого, что не могла успокоиться и снова и снова возвращалась на старый круг обиды. Зазвонил телефон. Лидочка не хотела брать трубку, внутри её все дрожало, она всхлипывала, и разговаривать с кем-то сил не было вообще.

Но телефон, замолчав, зазвонил с новой силой. Мама, бабушка... с ужасом подумалось Лидочке, только бы ничего не случилось... Она схватила трубку.

– Алло...

– Что случилось? Ты плакала? – раздался в трубке взволнованный мамин голос.

– Мам, а откуда ты узнала?

– Да ты так ответила... что случилось?

И Лидочка рассказала все по порядку. Мама слушала не перебивая:

– Что-то ещё или только это?

– Только это... А разве мало?

– Да не мало, но ты самое главное не поняла, доченька.

– Чего? Что не надо было за него замуж выходить? – снова рыдания подступили к горлу.

– Да нет, глупенькая... Просто... Пойди, возьми книгу, по которой готовила своих зайчиков.

Лида положила трубку на столик, принесла книгу:

– Здесь....

– Прочитай название.

– Детское питание.

– Вот. Ты понимаешь, ведь она не случайно так называется и рецепт зайчиков в ней тоже. Следующий раз просто поджарь ему больше картошки. А зайчиков, если хочешь, вдвоем сделаем...

Лида перестала плакать, она, конечно же, согласилась, но осталось такое грустное чувство пустоты и чего-то такого, в чём Лида боялась разобраться до конца.

Однажды в разговоре двух пожилых женщин она случайно услышала такое выражение: «Вміла готувати, та не вміла подавати». Задумалась. На самом деле её муж любит простую сытную еду и больше радуется тому, что её готовят для него, ждут его домой...

И у Лиды с годами появилось одно почти невинное развлечение. Хотя оно и родилось из грустной предыстории, но что ж тут поделать... Её муж за многие годы в тысячный раз подтвердил, что он абсолютно непрактичный, не предприимчивый, как у некоторых других жен. К примеру, его одноклассник Вовка занимался мясом, ездил по дерев-

ням сначала сам, потом его помощники, договаривался и скупал у фермеров и просто населения мясо, а в городе держал несколько магазинов и продавал его уже по другой цене. Муж дружил с ним, но Лида покупала мясо в магазине и по отнюдь не дружественным ценам.

Чаще всего Лида брала курицу и готовила её тысячу и одним способом. Украшала её зеленью, прятала под овощами и фруктами, запудривала экзотическими специями, меняла её сущность в маринадах и соусах... А потом сбрасывала фартук, делала свежий макияж, поправляла причёску, торжественно подавала эту очередную законспирированную курицу на обед и с гордой улыбкой сообщала: «Паштет из свинины “Рийет”! Мясо по-тоскански! Баранина по старинному французскому рецепту!»

Муж не мог нарадоваться, искренне восхищался её талантами, отдавал им дань, не щадя живота своего, расхваливал перед друзьями...

Но иногда, подкатывала к сердцу неожиданная щемящая тянущая тоска, и Лидочка вспоминала из давно позабытого-счастливого...

— У житті все повинно бути по-справжньому.

Владислав РЕЗНИКОВ

САНЬКИНЫ САНКИ

От самого подъезда через весь двор наискосок в горочку тянется узкая тропка. По ней все ходят на работу, в универмаг, на рынок, на почтамт – вверх, а возвращаются – вниз. Скоро эта горочка будет заснеженной, залитой льдом и заполненной галдящей детворой, а тропка исчезнет до весны, когда первая трава начнет несмело очерчивать ее контур. Но пока зима, придется в обход по дорожке вдоль подъездов ходить осторожно, чтобы не быть сбитым маленьким веселым вихрем, неудержимым, каким много лет назад кому-то казался я сам.

В моем дворе горка покатая и некрутая. Для получения настоящих острых ощущений мы пацанами бегали в соседний двор, где уклон не меньше сорока пяти градусов, и разгон получался что надо. Катались и на санках, и на «тарелках», стоя на ногах, лежа головой вперед на животе, лежа головой назад, подобно спортсмену санного спорта, ныряя вниз щучкой, сидя на картонках и просто на пятой точке.

Но не на той, крутой горке, а именно на этой, покатоЙ, мне первый раз в жизни выбили зуб. Передний центральный резец. Правый. Всего я лишился этого зуба трижды. И каждый раз – вдрызг! – целиком и навывлет.

Был чудесный зимний вечер. Новогодние каникулы, выходной день или какой, уже не вспомню. Шумная толпа

мальчишек на горке постепенно редела. Кого-то родители зазывали с крыльца подъезда, кого-то прямо из окон под предлогом ужина или что уже поздно, кто-то сам понимал, что пора уже идти отдыхать. Все ж задора в детской душе много больше, чем сил в юном организме.

В итоге на горке остались только я и Санька Румянич из четвертого подъезда с пятого этажа – двое, кого не позвали домой, и у кого до сих пор не сработал внутренний сигнал, что пора закругляться. Мама моя сегодня задерживалась на работе, а бабушка с дедушкой читали, наверное, свои газеты и просто про меня просто забыли. У Саньки, должно быть, тоже мама задерживалась, а папа читал газету или увлекся телепередачей...

Но вот, скатившись по последнему разу, едва ли не одновременно мы сказали: «Ну, пойдем? Пойдем!», рассмеялись тому, что у дурачков мысли сходятся, и пошли в свой двор.

Два заснеженных маленьких человека с горячими розовыми яблоками на щеках и потными волосами в растрепанных ушанках. Умотанные подъемами в горку, но радостные от скоростных спусков, перехватывающих дыхание. Я шел с пустыми руками и улыбался, чуть ли не в голос, громко выдыхая струи воздуха, клубящиеся на морозе и вылетающие на целый метр. Санька в своем клетчатом пальтишке с одним целым и одним надорванным, торчащим вверх погоном и болтающейся на соплях верхней пуговицей, тянул на веревочке санки и тоже улыбался. Как два распряженных разгоряченных молодых коника, вволю наскакавших по снежным долам, мы возвращались на ночлег в свои теплые стойлища.

Напоследок решили все же еще разок скатиться с нашей некрутой горочки. Я разбежался и, нырнув щучкой, съехал вниз на животе по невидимой, но все же существующей тропинке, обратившейся на зиму широкополосной трассой для санного спорта. Еще потом прокатился несколько метров колбаской, пока мягко не ткнулся в заборчик, что тянулся вдоль дома, ограждая крошечный палисадник. Так и лежал довольный, чуть живой, без сил и рассматривал звезды на Млечном Пути.

Я не слышал, что кричал мне Санька. И не помню, кричал ли вообще, но, повернувшись на бок, лицом к горке, тут же и получил. Одним полозом его санки въехали точно в мой раззявленный радостной улыбкой рот.

Боль была очень непонятной. Боль всегда очень непонятная, когда наступает внезапно, когда не подозреваешь, что прямо сейчас вдруг может стать больно. В эти моменты не знаешь, что делать: то ли начинать истошно кричать, еще не представляя – от боли или страха от незнания – уже «само больно» или будет еще больнее, то ли затаиться и не дышать, потому что пока все же терпимо, но набегут люди и всё увидят...

Тогда я вообще сразу и не понял, что случилось – так и замер, снова откатившись на спину и лежа с раскрытым ртом.

Лампа тусклого фонаря, что был на столбе неподалеку, вдруг вспыхнула, рассыпалась вдребезги на множество ярчайших искр, и они плясали передо мной, и казалось, что ожил Млечный Путь. Искры так славно мерцали, величаво перемещались по какой-то замысловатой округлой траектории, что мне хотелось подольше вот так лежать и наблюдать их небесный танец, проследить, что будет дальше, как поведут себя искры или звезды, куда они поплывут.

Это было чрезвычайно важно!

И, наверное, могло продолжаться бесконечно, если бы не послышались отдаленные всхлипы. Я отвлекся на слух, и искры фонаря снова стали собираться в цельный бледно светящийся шар, а звезды на Млечном Пути нехотя возвращались на свои места и замирали там. Что-то теплое лениво перетекало у меня внутри рта, я захлебнулся на вдохе и от этого с кашлем и бульканьем в горле сел и подскочил на ноги. Плюнул щедрой порцией крови, которая застыла на заледенелом снегу темным отпечатком размером с шоколадную медаль.

В центре этого отпечатка, как свечка в торте, торчал мой зуб. Я сразу понял, что это зуб, даже вопроса «Что это такое?» не возникло. Я просто это знал. Но лишь после того, как увидел свой зуб на снегу в этом кровавом медальоне, в голове и разразилась боль. Стремительная, режущая, как

будто по образовавшейся дырке в ряду зубов продолжали возить чем-то, вроде настоящего железного напильника. И еще так легонько, но невыносимо по напильнику под-далбливали молоточком.

Прежде, чем понял, что это Санька подвывает рядом, сидя на своих санках, я метнулся по сторонам в поисках рыхлого снега. Как назло, он везде был утоптан, укатан, точно асфальт катком. Наконец, отыскав сугроб, упал на колени, опустил в него лицо, как зверь в водоем, чтобы напиться. Простоял так, пока не заledenело лицо, и в плечо стал тыкаться Санька.

– Радька, Радька, извини меня, я не специально. Я кричал тебе, а ты не слышал. Санки сами на тебя поехали, я не смог, не успел их развернуть. Радька, я не хотел, извини меня. Тебе сильно больно?

Я вынул лицо из снега, обратил его к Саньке, и тот зарыдал еще безутешнее.

Санька Румянич, который заводила, который лучше всех кидал ножички и играл в кораблики. Санька – первый задира и забияка нашего двора, слёз которого не видел никто и никогда, стоял и рыдал передо мной, как девчонка. Словно это не в меня, а в него санки въехали. Словно он испытывал мою боль, которая оказалась вполне терпимой и не смертельной.

Но куда уж было мне? Это зрелище так растрогало, что я сам не удержался и разревелся. Не от кровавого натюрморта с моим отлетевшим зубом и не от боли, которая стучала пульсом в десне и сотрясала голову неутихающими толчками, будто санки продолжали потихоньку, но снова и снова въезжать мне в лицо. А от вида плачущего Саньки Румянича.

– Не плачь, Радька! – еще громче заныл Санька.

– И ...ы не ...лачь, Санька! – застонал я, теряя звуки в словах, а «Санька» прозвучало как «Фанька».

– У меня папка пьяный дома, водку пьет, – проскулил Санька-Фанька, всхлипывая и через силу справляясь с голосом, – он убьет меня, если узнает, что это я. Он мамку бьет, мамка плачет, она уже все ножи от него попрятала. Боится, зарежет.

– Я ...ыкому ...э фкаву, Фанька, тефтно.

Не знаю, разобрал ли Санька что-то в каше напутанных звуков или нет. Но я сказал это и по-братски прижал к его себе, крепко, но осторожно, чтобы не перепачкать. Он в ответ тоже вцепился в меня, как в самое ценное сокровище.

В эту минуту для меня не было дороже человека, чем этот, хулиганистый, но сейчас такой обычный, беззащитный и беспомощный мальчуган в клетчатом пальто с надорванным погоном и верхней пуговицей, висевшей на соплях. Никакой не задира, а обычный, такой же, как и я, мальчик, с которым мы вполне могли быть лучшими друзьями. Мальчик, которому страшно идти домой потому, что там пьяный папка бьет его маму.

Я тогда мог только это услышать, но не мог понять его чувств и его страха. Ведь у меня папка не бил и никогда не бил маму. И она не боялась, что он ее зарежет. Я вообще своего папку ни разу в жизни не видел. Только знал его имя, и что мне от него досталась фамилия Ненужный.

– Спасибо, Радик, ты самый настоящий друг! Ты иди домой, наверное, а то у тебя это... – Санька поводил рукой перед своим лицом, – а я похожу тут пока. Мамка потом выйдет, позовет меня, когда папка пойдет спать.

А я чувствовал, как у меня под носом все набухло, как будто под губой выросла еще одна, живая, пульсирующая, проросла внутрь и заняла половину рта, и я пошел домой.

Дома бабушка с дедушкой охали и ахали, но сильно не ругали в виду моего и без их ругани жалкого положения. В тот вечер еще несколько раз я осторожно, с выключенным светом отодвигал занавески на кухне и смотрел на двор. Там под фонарем печально ходил, пиная снег, Санька Румянич, волоча, как усталого щенка за поводок, свои санки. Вот он медленно забрался на горку, вот так же медленно скатился. А потом схватил санки и быстро побежал к своему подъезду. Наверное, пьяный папка уснул, и позвала мама.

Зуб мой, конечно, вылетел не с корнем, а отломался в том месте, где вылазил из десны. Потом его, конечно, нарастили так, что было не отличить. Но в разные годы

по разным причинам он снова вылетал столь же лихо, точно от Санькиных санок, катившихся, как по рельсам, по той тропке, что в зиму пряталась под снег и лед, а весной проглядывала на фоне подступающей с обеих сторон травы.

А Саньке я так и оставался самым настоящим другом еще несколько лет. Он и в драках за меня вступался, и делился постоянно всем, что у него было: от яблок и бутербродов, что давала в школу его мама до жвачек и сигарет, купленных в ларьке поштучно. Он собирался даже после девятого класса не уходить в бурсу, а остаться в десятый, потому что я решил продолжать учиться в школе. Но этого не случилось. Вечером первого мая девяносто третьего года пьяный папка выбросил его с балкона.

Олег РОМЕНКО

КАРТОЧКИ

Я проснулся в десять, почувствовав лицом солнечное тепло и яркий свет, пробивавшийся сквозь веки и раздражавший глаза. Дядя Саша рано ушёл на работу, а для меня настал первый день весенних каникул.

Каникул я ждал как манны небесной. В 87-м году я оканчивал третий класс. По утрам, в шесть часов, меня настойчиво будила-тормошила бабушка. Проклинаая всё на свете, я быстро вставал, умывался и одевался. Сначала надевал брюки и свитер, потом сапоги и пальто, тёплую кроличью ушанку, а в карманы запихивал вязанные рукавицы.

Через двадцать минут я выходил из дома, а дальше топал две остановки, от «Технолога» до «Телевышки», к маме. В троллейбусы я боялся заходить, ведь они шли битком набитые полусонными рабочими и меня там могли невзначай затоптать как котёнка.

На улице холодный воздух проникал сквозь одежду и покалывал тело так, что на глазах выступали слёзы, а скрип снега под сапогами свидетельствовал о нешуточном морозе. Чёрное, как битум, небо и мерцающие звёзды на нём создавали ощущение, что на дворе глубокая ночь. Мне казалось, что вот-вот я превращусь в ледышку. Эти две остановки давались нелегко.

Когда я заходил к маме, то с порога меня обдавало таким жаром и паром, что хотелось не раздеваясь завалиться

в прихожей и уснуть. Родители с моим младшим братом, жившие в однокомнатной квартире, в это время собирались завтракать. Обычно на плите кипел чайник, в кастрюле варилась каша, в миске – куриные яйца, на сковороде поджаривалась колбаса. Я обхватывал занемевшими пальцами гранёный стакан с горячим чаем, а потом принимался за еду.

Потом я надевал ранец и шёл в школу. Первый день недели начинался с политинформации. Одноклассники с глубокой обеспокоенностью в голосе читали нам газетные заметки о непростой обстановке в мире. После школы я возвращался к маме, быстро делал уроки, а затем с лёгким сердцем бежал к бабушке.

И вот наступили долгожданные каникулы. Сначала я потянулся, как это делают хорошо выспавшиеся люди, а потом тихо лежал, улыбаясь солнцу. Бабушка, заметив, что я уже не сплю, вошла в комнату и, ласково улыбаясь, пропела: «Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе...» А затем, уже привычно для меня, перешла на свой суржик: «Я пиду на рынучок, а тоби я сырникив нажарыла и какао зварыла».

Мне хотелось еще немного поваляться. Но, когда бабушка закрыла дверь на ключ и за ней захлопнулись двери лифта, я вскочил с постели, пробежался босиком по всем комнатам и, вернувшись к себе, сел на диван и задумался.

Думал я о дяде Саше... Первое воспоминание о нём стало кошмаром на всю жизнь. Однажды в мае, когда мне было пять лет, я вышел на балкон и стал рядом с дядей. Он уже опрокинул стакан самогона за «неизвестного лётчика» и теперь смолил «Ватру», ословело глядя вдаль, где до самого горизонта тянулся дубовый лес.

Дядя был невысокого роста и располневший, как барсук. Заметив меня, он оживился и воскликнул: «Лёша! Племяш! Ходы сюды!» Неожиданно и быстро, как будто применяя борцовский приём, дядя перегнул меня через колено, схватил руками за ноги возле ступней, поднял над перилами, а потом опустил за балконом и так держал меня вниз головой на уровне пятого этажа.

Я видел под собой цветущие, но уже начавшие осыпаться вишни. По тропинке вдоль палисадника медленно семенил пожилой сосед следом за своей маленькой болонкой. Потом подо мной проехал жёлтый «москвич» и скрылся в арку. Казалось, никто не замечал происходящего. Мне стало жутко: неужели никто не спасёт меня? Я завопил, а дядя в ответ расхохотался. На соседний балкон вышла бабушка и, схватившись за сердце, закричала: «Сашка, дурак! Сейчас же поставь его на место!» Слова матери не подействовали на него, но через полминуты бабушка была уже рядом.

Я почувствовал, как за мои ноги ухватились ещё две руки, а потом меня потянули вверх и посадили на пол. Бабушка принялась лупцевать дядю по голове и спине, но скоро остыла и перешла на ругань: «Злякав, злякав хлопца, скотыняка!» Мне хотелось, чтобы бабушка сейчас, так же лихо перегнув дядю через колено, схватила его за ноги и удерживала бы так же вниз головой за балконом. Дядя Саша вопил бы: «Мамка! Подними меня!» А бабушка, злобно глядя вниз, кричала бы: «Ага! Не нравится?! Будешь знать!»

Я жаждал справедливости именно в таком виде, но не дождавшись её торжества, безутешно разрыдался. Бабушка, услышав укор в моём плаче, вlepила сыну ещё несколько хлёстких затрепчин: «Ах ты, падло!» Дядя, почувствовав силу ударов, заголосил: «Лёша! Ты чего! Мы же играли?» Протестуя против таких «игр», я заревел белугой. Дядя презрительно усмехнулся: «Я думал, ты мужик, а ты – плакса! Больше не подходи ко мне!»

Но в дальнейшем у меня с дядей Сашей сложились приятельские отношения. С ранних лет я ощущал себя староватым, а дядя был глуповатым. Это сближало нас, несмотря на разницу в возрасте в восемнадцать лет. Как-то он вернулся под утро, постанывая, разделся и пожаловался мне. Ночь он провёл у разведёнки, с которой познакомился на цемзаводе. Она пригласила его к себе, напоила чаем с конским возбуждателем, и дядя Саша пахал всю ночь на ковре, как конь. Его колени горели и кровили так, будто об них тёрли наждаком. Мне самому доводилось разбивать

колени в кровь во время дворовых футбольных баталий. Но происшедшее с дядей шокировало меня, и я заклинал судьбу, чтобы моё детство длилось как можно дольше.

В последнее время дядя стал скрытным, и это меня возмущало. Оставшись дома один, я решил обыскать его шифоньер. На одной из полок с постельным бельём моя рука наткнулась на свёрток. Это оказалась толстая пачка чёрно-белых фотокарточек, завёрнутых в полиэтиленовый пакет. Я сел на стул и, разворачивая свёрток, подумал, что это фотографии дяди Саши, не поместившиеся в семейный альбом.

Но это оказались фото обнажённых мужчин и женщин, занимавшихся сексом где-то на опушке леса возле машины. На телевидении тогда не было намёка даже на эротику, и смутные представления об этой стороне человеческой жизни у меня сложились из разговоров со своими сверстниками, которые тоже были в этой теме ни ухом ни рылом. Кровь зашумела у меня в висках от мысли, что я стал обладателем ценных, тайных и запретных знаний.

Спрятав карточки под подушку, я побежал на кухню и принялся за еду. По негласному уговору мне предстояло съесть два сырника. Бабушкина кулинария отличалась гигантоманией. Однажды мама принесла и сварила мне свои вареники с клубникой. Бабушка снисходительно-насмешливо за этим наблюдала, а на следующий день, когда мама снова забежала к нам после работы, она с видом фокусника сняла полотенцем крышку с испускающей пар кастрюли, наколола вилкой огромный вареник и торжественно сказала маме: «От цэ – варэнник! А у тэбе лясканци».

По бабушкиным меркам я ел «як кишка» и, досадуя, она часто ворчала: «Горе буде тий, якої ты достанэшся». Но сейчас мне не хотелось её огорчать, и я заставил себя съесть эти два сырника, между тем обдумав, как поступить дальше.

Когда вернулась бабушка, я сразу засобирався на улицу. Она купила на рынке жареных пончиков в сахарной пудре и предложила вместе перекусить с чаем перед обедом, но я, не слушая, уже застёгивал болоньевую куртку, а свёрток спрятал под рубашой, заправленной в брюки.

«Да шо же ты за хлопец!» – обиженно воскликнула бабушка мне вслед.

Выбравшись на улицу, я юркнул в арку и быстро пошёл привычным школьным путём к детскому саду возле маминного дома. Я зашёл в садик и направился к павильону, под дощатым настилом которого имелись пустоты. Между полом и землёй были разбросаны прошлогодние листья и небольшие сухие ветки, замётённые туда ветром. Я засунул свой свёрток поглубже в «нору», замаскировал листвой, а сверху прикрыл удачно подвернувшимся под руку камнем.

На каникулах мы с ребятами целыми днями пропадали на улице. Домой я приходил только поесть и поспать, но кое-что заметил. Дядя Саша стал ещё более скрытным, а при матери угрюмо опускал голову и прятал взгляд. Бабушка стала пристальней всматриваться в него, но ничего не говорила, только с досадой вздыхала и качала головой. Очевидно, дядя решил, что бабушка нашла карточки и уничтожила их. Ему было неловко, что мать знает об этом, а та была встревожена непонятной переменной в поведении сына.

Наступил апрель. В тот год мы учились в две смены. Когда занятия начинались после обеда, мы с одноклассником Романом Ляховым с раннего утра шлялись по окрестным дворам. Эта вторая смена сблизила нас, и именно с ним я решил поделиться секретом.

До школы Роман жил два года на Кубе со своими родителями, инженерами с «Энергомаша». Я был по характеру резковатый и прямой, а Роман, напротив, обходительный и деликатный. Когда мы подбегали к редким прохожим на улице, чтобы узнать время, мой друг сначала ласково и широко улыбался, а потом елеинным голоском спрашивал: «Вы не подскажете, который час?» Когда была моя очередь, то я, как ошалевший заяц, выскочивший из леса, бросался наперерез прохожему, преграждал ему путь и взволнованно восклицал, с металлическими нотками в голосе: «Сколько время?!»

В мае мы лазили с Романом по садику, в котором и был мой тайник. Я сказал другу, что покажу ему фотки. «Какие фотки?» – любопытствовал Роман. «Увидишь», – отве-

тил я, опустившись на колено и просунул руку в «нору». Свёрток оказался на месте. Я вынул его, развернул и протянул другу первую, лежавшую сверху фотку, как визитку. Роман заинтересованно протянул руку, а потом его как током ударило. Он большими, перепуганными глазами глядел то на меня, то на карточку, то озирался по сторонам. «Где ты это взял?» – ошалел он. «Дома нашёл», – ответил я. «Здесь нельзя смотреть, – сглотнув, тихо сказал он, – пойдём на пруд».

Весной мы часто ходили на пруд, вырытый в низине «Водстроя» и окружённый мазанками. Мы любили сидеть на травянистом берегу маленького водоёма и слушать непрерывный лягушачий гвалт, ощущая себя в гуще природы и жизни. В прозрачной воде хорошо были видны слегка колеблющиеся длинные цепочки с икринками, закрепившиеся за стебли подводных растений. Иногда мы пытались их потрогать руками, но вода была ещё довольно холодной.

Я снова спрятал свёрток под рубахой, заправленной в брюки, и мы направились вниз с Харьковской горы. По пути на «Океане» купили в киоске «Союзпечати» самую дешёвую газету «Пионерская правда» за копейку, и я завернул в неё карточки. Затем мы дворами вышли к улице 5 августа, а оттуда начинался крутой спуск по тропинке, пролегающей между цветущими деревьями и кустарниками, к пруду.

В рабочее время улицы города были почти безлюдны, и мы чувствовали себя «симулянтами», сбежавшими с уроков. Мы с другом почти летели вниз по тропинке, подпрыгивая на небольших кочках. Тёплый попутный ветер надувал нашу одежду, как паруса, а ласковое, веселящее и пьянящее, солнце, приветствовало нас с распростёртыми лучами.

Спустившись вниз, мы сели на сухое бревно под вербой. На противоположном берегу овального пруда, сидел старичок с удочкой, который приходил сюда каждое утро. Мы ни разу не видели, чтобы у него клевало, а вот он клевал носом постоянно, надвинув на глаза тёмную кепку от солнца.

Придвинувшись плотнее друг к другу, мы стали смотреть и перекладывать карточки из одной стопки в другую. Для меня это было уже привычное дело, а вот Роман... Его глаза пламенели, иногда он слегка покачивал головой и цокал языком.

Казалось, мой друг полностью выключился из реальности, а вот меня постоянно отвлекали разные звуки – то нестройный хор брачующихся квакушек, то гудящий рядом шмель, как парашютист, опускающийся на цветущие вокруг нас одуванчики, ныряющий головой в пыльцу и трепещущий почти прозрачными, как слюда, крылышками.

Вдруг, я услышал звон колокольчика. Мимо нас по тропинке шла, припадая на ногу, худенькая бабушка с палочкой, в зелёных войлочных сапогах, в чёрном пальто и сером пуховом платке на голове. Впереди неё мелкой трусцой бежала белая козочка. Потом она остановилась и стала щипать травку возле берега. Колокольчик напомнил мне о школе, и я сказал другу, что нам пора. Роман схватил меня за руку: «Возьми их в школу! Там досмотрим». «Ох», – вздохнул я, и мы пошли назад в гору.

Вниз мы бежали наперегонки, а на подъёме друг сильно отстал от меня. Я вспомнил как зимой мы с Романом чистили снег вокруг памятника Щорсу. С утра было не холодно, и мы пришли в школу без рукавиц. Зато когда начали трудиться, то пальцы окоченели. Я спросил друга: «Что делать будем?» «Терпеть!» – обозлённо ответил Роман. Кое-как мы управились, а на первом уроке я через боль писал в тетради, как курица лапой. И вот теперь, когда я был на вершине, а Роман на середине подъёма плёлся раскачиваясь и размахивая руками, с блестящим от пота лицом, я рывкнул на него: «Не тормози!»

Перед школой я зашёл к Роману. Он жил в соседней хрущёвке с родителями и старшим братом. У нас оставалось немного времени, и, чтобы отвлечь внимание друга от фоток, я попросил его включить телевизор. На чёрно-белом экране появились безукоризненно одетые, с начищенными до блеска сапогами и лоснящимися лицами солдаты вермахта. Звонко печатая шаг по брусчатке, они громогласно пели что-то вроде нашего «Идёт солдат по городу...» Мы с

Романом переглянулись и рассмеялись. Не знаю о чём подумал мой лукавый друг, но я вспомнил, что так горланят песни, до первого милицейского патруля, наши дворовые пьянчужки, возвращаясь с работы.

Мы вышли. Роман закрыл дверь на ключ, и мы, шёпотом сказав друг другу «три, четыре», побежали вниз, выкрикивая на весь подъезд слова из услышанной по телевизору песенки. На каждом этаже мне казалось, что сейчас откроется дверь, высунется чья-то рука, пытаясь нас схватить, но мы, прижав уши к спине, как зайцы, дадим такого стрекача, что только нас и видели. Мы выскочили на улицу с бешено колотящимися сердцами. Сели на лавочку, немного отдышались и пошли в школу.

На большой перемене Роман напомнил: «Давай посмотрим фотки!» Я с досадой передал ему свой портфель, а он засунул в него руки и голову. Вскоре нас окружила стайка товарищей. Они тёрлись и толкались лбами возле нас, как коты на месте, где пролили валерьянку. Девочки отсели от нас за дальние парты, нахмурившись. Когда вернулась Валентина Сергеевна, все бросились в рассыпную по своим местам с шальными глазами и оставшиеся уроки слушали её рассеянно.

По пути домой меня прошиб холодный пот. У Валентины Сергеевны были соглядатаи, и они наверняка сообщат ей. Попрощавшись с другом, я зашёл в садик и спрятал карточки в «нору» под павильоном. Потом, немного успокоившись, я решил к карточкам больше не прикасаться никогда и сказать всем, что я их сжёг.

На следующий день занятия в школе прошли как обычно. После прозвеневшего последнего звонка, у меня отлегло от сердца. Мы с Романом сложили учебники в портфели, и в тот момент, когда я собирался встать из-за парты, на моё плечо опустилась крепкая рука Валентины Сергеевны. «Останься!» – негромко сказала она. По перепуганному взгляду моего друга, я прочитал, что он всё понял.

Я сидел мрачный и смотрел, как товарищи собирались домой. Некоторые из них долго копались. Им было любопытно. Роман за дверью показывал жестаи, что подождёт меня. Я отрицательно покачал головой в ответ. Валентина

Сергеевна что-то писала в классный журнал, пока все не ушли.

Когда мы остались одни, она подозвала меня к себе, огорчённо вздохнула и достала из сумки карточку. Мне стало больно и стыдно, когда такое оказалось на её столе, где обычно красовались конфеты и яблоки, шоколадки и апельсины. «Это мне вчера сдал Рядинский в тетради с домашней работой», – сказала классная, указав пальцем на карточку, а дальше я всё додумал сам.

Виталик Рядинский, как и Роман, уже успел побывать за границей. Его родители налаживали и обслуживали нефтеперерабатывающий завод в Нигерии, а он учился в школе при советском посольстве. Виталик отличался бесшабашностью и безрассудством. Казалось, ему неведом инстинкт самосохранения. Позже, в семнадцать лет, он разбился на мотоцикле.

Виталик незаметно выкрал из моего портфеля одну карточку, засунул её в тетрадь, а когда Валентина Сергеевна потребовала в конце урока сдать тетради на проверку, то человек рассеянный уже не помнил, куда и что он положил. Утром, проверяя задания, учительница обнаружила «подарок», навестила отправителя и допросила его с пристрастием. Тот, конечно, во всём признался.

«Ты знаешь, что такими делами занимается комитет госбезопасности?» – спросила классная, пристально глядя мне в глаза. «Нет», – отрешённо ответил я. В тот момент я был очень зол на Виталика. Настолько зол, что решил даже ничего не выговаривать ему. «Где ты это взял?» – допрашивала Валентинка, как мы её все между собой называли за глаза. «Нашёл под павильоном в детском саду», – ответил я. «Принеси мне завтра всё, и я не буду никуда сообщать», – сказала она и отвернулась к окну.

Рано утром я пришёл к павильону и вытащил свёрток. Я представил, что рядом со мной сидит Валентина Сергеевна и мы вместе с ней перебираем карточки, как вчера с Романом. Я понял, что не могу отдать ей такую «коллекцию», и занялся сортировкой. Несколько раз я пересматривал карточки, отбирая некачественные – мутные и сделанные не крупным планом, на которых видно только,

что люди без одежды. Таких набралась третья часть. Я завернул их в пакет, а остальные положил обратно и засыпал листвой.

Днём я отдал пакет Валентине Сергеевне, а она молча и с отвращением на лице спрятала его в свою сумку. Нам оставалось учиться две недели. Начальная школа заканчивалась, а с осени у нас была уже другая классная – Римма Алексеевна. Случись это годом ранее, я не представляю, как смог бы на уроках смотреть в глаза Валентине Сергеевне.

После уроков Роман накинулся с расспросами: «Это из-за фоток?» Я кивнул. «Про меня ничего не спрашивала?» Я рассказал, как всё было. «Молоток!» – облегчённо выдохнул Роман. «Остальные сжёг», – рубанул я. «Ты что наделал?! – воскликнул он. – Мы могли бы и дальше смотреть!» «Насмотришься ещё!» – ожесточённо ответил я.

Через пять лет страна изменилась до неузнаваемости. Настали лихие девяностые с бандитскими разборками и голодными бунтами, а порнуха, как и палёная водка, продавалась на каждом углу. Дядя Саша накопил денег и купил видеомагнитофон, а потом стал собирать коллекцию кассет с «эротикой», заменившей ему книги, которые он бросил читать.

Прошло тридцать пять лет после описываемых событий. Эти карточки под павильоном, куда постоянно затекала весной вода от таявших сугробов, давно сгнили под листвой, похоронившей их. И сейчас, заканчивая этот рассказ, я думаю, что с ними случилось то единственно правильное, чего они заслуживали.

Светлана СЕРГЕЕВА

МЕДОВЫЙ КВАС ОТЛИЧНОГО ВКУСА

С благодарностью за вдохновение и консультацию по вопросам пищевого производства заведующей производственной лабораторией, моей замечательной подруге посвящается

По столу ползла муха. Вялая, сонная. Анна Ивановна ловко прихлопнула ее журналом «Уютный дом», брезгливо взяла за крылышки, подошла к окну и приоткрыла его, чтобы выкинуть трупик насекомого. Несколько капель дождя тут же упали на руку женщины, а поток холодного ветра, резко ворвавшийся в библиотеку, перелистнул несколько страниц лежащей на столе раскрытой книги. Да, погода сегодня была нелётная. Пасмурный промозглый день заканчивался ливнем. Из хороших новостей на текущий момент – лишь убитая муха и всего каких-то полчаса до окончания скучной работы.

Неожиданное появление на пороге посетителя в мокром плаще существенно омрачило эти оставшиеся тридцать минут. Вместо чаепития в уютной тишине книжного хранилища, Анне Ивановне пришлось снова сесть на рабочее место и выполнить свой долг – найти запрошенную читателем книгу – «Кухмистер XIX века».

– Извините, но на руки эту книгу мы не выдаем, издание старое, 1854 года – предупредила Анна Ивановна. – Но вы можете пройти в читальный зал и посмотреть ее там. Учтите, ровно в 20:00 мы закрываемся.

– Хорошо, я успею, – живо отозвался молодой человек. Посетитель вел себя учтиво и раздражение Анны Ивановны припершимся под самое закрытие типом быстро улеглось под чарами его приятной улыбки.

«Повар», как мысленно прозвала молодого человека книгохранильница, действительно справился очень быстро. Он энергично перелистал всю книгу, сфотографировал лишь одну страницу и вернул «Кухмистер XIX века» библиотекарю.

«Вот что значит человек знает, чего хочет!» – подумала Анна Ивановна.

На этом и разошлись. Посетитель, накинув на голову капюшон, выскочил под дождь, а библиотекарь сдала ключи на вахту и тоже устремилась в ненастный вечерний сумрак, предварительно вооружившись зонтом.

На самом деле Алексей Бойко не был поваром, хотя имел прямое отношение к технологии изготовления продуктов. Энергичный молодой человек был по образованию технологом и занимал должность заведующего пищевым производством общества с ограниченной ответственностью с неблагозвучным названием «НПТ-Инвест».

Когда на планёрке у генерального директора было объявлено о планах расширения ассортимента напитков компании, Алексей тут же вспомнил о квасе, которым в детстве его часто угощала бабушка.

Готовила бабка Анисья квас по старинному рецепту, из потертой временем, поеденной молью кулинарной книги, которая перешла к ней по наследству от прабабки. К сожалению, кулинарная книга после кончины старушки затерялась где-то, пропала, и никто больше не смог повторить рецепт прекрасного напитка.

И вот сейчас, на важном этапе своей карьеры, Алексей напряг память и извлек из глубинных недр своего сознания название книги: «Кухмистер XIX века». Это была победа, остальное – дело техники.

Целеустремленный молодой человек обзвонил все библиотеки города, в одной из них, к великой радости, обнаружился экземпляр старинного поварского издания, и Алексей без промедления помчался за книгой.

Рецепт был найден, и, вернувшись домой, Алексей скинул мокрый плащ, сел за компьютер и скопировал с телефона снимок рецепта:

Медовый квас отличного вкуса

Положи в кадочку 1 фунт перебранного изюму и пяток изрезанных кружками лимонов, облей 4 фунтами хорошей медовой патоки; потом налей туда бутылок 30 кипятку и дай остынуть. Между тем, подболтав чайную чашку дрожжей тремя ложками муки, выложи это в остывший квас, а на другой день можно в оный прибавить еще 5 или 6 бутылок холодной воды. Когда изюм с лимонами всплывут на поверхность, то сними их, разлей квас в бутылки, которые хорошенько закупорить и поставить в холодное место.

Алексей пару раз перечитал рецепт, причмокнул от удовольствия языком и немедленно приступил к предварительному расчету себестоимости кваса на единицу готовой продукции.

Это был первый пункт большого плана амбициозного технолога. А план был замечательный: на основе рецепта из «Кухмистера» разработать технические условия для производства, приготовить пробную партию кваса, презентовать генеральному директору, получить его одобрение вместе с благодарностью за отличную работу и большой премией, наладить поточное производство супервкусного кваса и после потребовать основательной прибавки к зарплате. Если согласится – отлично, нет – то с такой «лычкой» в портфолио можно будет перейти в фирму посolidнее, забрав с собой заодно все разработки.

Через пару часов работа была закончена, Алексей лег в кровать, но еще долго не мог уснуть от перевозбуждения и предвкушения любимой интересной работы, которая сулила отличные выгоды.

На следующее утро в производственной лаборатории закипела работа и вода в чайнике. С изюмом, лимонами, дрожжами и мукой проблем никаких не возникло – Алексей получил все эти ингредиенты так же легко, как и кипяченую воду. А вот добыть медовую патоку оказалось

сложнее. К тому же это был самый дорогостоящий продукт в рецепте, но именно он придавал квасу его неповторимый медовый вкус и отказываться от него Алексей не собирался. В общем, энергичный технолог раздобыл и патоку.

Через день, следуя рецепту, Алексей собственноручно добавил в специальный экспериментальный бочонок холодной кипяченой воды, а когда лимоны с изюмом всплыли на поверхность, готовый квас был разлит на две 1,5-литровые бутылки. Одна бутылка – на пробу и проведение лабораторных испытаний, вторая (если все пойдет по плану) – на стол генеральному директору вместе с техническими условиями и прочей документацией на подпись.

Алексей с волнением налил квас в чашку и с первого глотка узнал неподражаемый вкус, который помнил с детства. «Спасибо, бабушка Анисья! Земля тебе пухом!» – подумал Алексей и улыбнулся. Да, пока все шло по плану!

В четверг состоялась очередная планерка у генерального директора, на которую главный собрал заведующих всех подразделений, главбуха и финансового директора.

Алексей волновался, ожидая, когда ему предоставят слово. Сегодня он особенно тщательно выбрился и даже принарядился – надел свежую белую рубашку.

На стол перед собой Алексей положил папку с документацией, а рядом поставил стопку пластиковых стаканчиков и бутылку с квасом, на которую все подозрительно косились.

Главный бухгалтер даже отметила вслух:

– Что-то наш Алексей Николаевич сегодня выглядит таким интригующим!

Алексей вежливо отшутился, пытаясь казаться спокойным.

О чем говорили присутствующие технолог почти не слушал, он сотый раз проговаривал про себя отрепетированную речь о том, как «НПТ-Инвест» полностью оправдывает свое название «Новые пищевые технологии» и получит большие конкурентные преимущества, введя в линейку напитков новый квас.

Голос генерального директора вернул Алексея в действительность:

– Теперь просим выступить заведующего пищевого производства, товарища Бойко. Ну, Алексей Николаевич, рассказывайте, что вы нам приготовили? Как понимаю, речь пойдет о расширении ассортимента напитков?

Алексей встал и начал подготовленную речь.

Речь оказалась достаточно убедительной, квас – действительно вкусным, и генеральный директор дал добро на производство первой пробной партии кваса на 3 тонны для ближайшей выставки-продажи в Москве. Алексей с облегчением выдохнул, но последняя фраза генерального директора омрачила успех:

– Ну а все цифры обсудите подробно с Виталием Петровичем Гараповым. Я доверяю ему принять решение о перспективности вашего проекта с финансовой точки зрения. Если он одобрит ваши расчеты и пробная партия окупится, тогда запустим квас в широкое производство.

Конечно, надежды на то, что генеральный директор сам будет вникать в документацию, у Алексея изначально не было. Но то, что окончательное решение по проекту главный отдал на откуп Гарапову, заведующего пищевым производством просто взбесило.

Виталий Петрович Гарапов – финансовый директор и троюродный брат генерального директора по совместительству, был человеком подозрительным, раздражительным и очень жадным. Не было в коллективе человека, кроме самого генерального директора, который бы хорошо отзывался о нем.

За глаза Гарапова называли Гарпагоном. Это прозвище отлично подходило скупердю. Был бы жив Мольер – срисовал бы образ Скупого для своей комедии именно с Виталия Петровича.

После заседания все разошлись по своим отделениям. Гарапов взял папку с документами из нервно дрожащих рук Бойко, как-то недобро посмотрел на него из-под роговой оправы очков и сухо произнес:

– Сначала я посмотрю бумаги сам. После вызову вас и обсудим.

Алексей молча кивнул и побрел на производство делать текущую рутинную работу и ждать.

Но Гарапов затих, вызова к нему в кабинет до конца рабочего дня Алексей так и не дождался.

С каждым часом настроение Бойко все больше портилось. Алексей понимал, что высокая цена медовой патоки жадобе не понравится, но надеялся все же, что запланированные объемы продаж и высокая рентабельность с лихвой перекроют эту затратную статью и Гарпагон все же пропустит проект. Волноваться и переживать пришлось весь вечер четверга и всю ночь.

В пятницу Алексей целый день пробыл на производственной линии, сумрачный, невыспавшийся, работал машинально, так как думать о чем-то, кроме судьбы медового кваса, не мог.

В пять часов, кроме охранника и Бойко, в производственном корпусе никого не осталось – в предвыходной день никто не желал сидеть на рабочем месте ни одной лишней минуты. Алексей выключил оборудование, погасил свет и собрался было тоже уходить, как вдруг раздался телефонный звонок:

– Бойко, зайдите ко мне! – произнес раздраженный голос и трубку тут же повесили.

Вот это сюрприз! Оказывается, и финансовый директор сегодня задержался на работе. Редкий случай, не сулящий ничего хорошего.

Но Алексей за сутки морально подготовился к бою, был даже рад, что мучительное ожидание в неведении подошло к концу и настроился решительно защищать свой проект.

Не успел Бойко зайти в кабинет к Гарапову, как тот сразу же набросился на него:

– Алексей Николаевич, это что такое?! Прогнозные показатели рентабельности вашего проекта явно завышены! И что это еще за патока?! Вы видели ее стоимость за килограмм?!

– Это не просто патока, а МЕДОВАЯ, – спокойным голосом попытался объяснить Алексей. – Так называется мед, который долго не кристаллизуется. А не кристаллизуется мед, потому что в нем содержится большое количество фруктового сахара, декстринов и коллоидов...

– Какие еще коллоиды?! Какая разница, как он там кристаллизуется! Вы видели, на сколько этот мед удорожает

себестоимость продукции?! С такими расчетами мы вылетим в трубу! – Гарапов был крайне рассержен.

– Но позвольте, без медовой патоки – никак! Именно она придает квасу неповторимый вкус, который, позвольте заметить, всем очень понравился, в том числе и вам, Виталий Петрович, – мужественно держался Алексей.

– Да, квас отличный, никто не спорит, но патоку нужно убрать! Замените ее чем-нибудь более дешевым!

– Чем?!

– Синтетическим аналогом! Вы же по образованию технолог! Вы вообще слышали что-нибудь про пищевые добавки?!

– Слышал, – Алексей изо всех сил старался не замечать издевки.

– Чудесненько! Вот и замените! Подсластителем – а?

– Хотите дешево и сердито? – начал закипать Алексей.

– Что вы сказали?! – побагровел финансовый директор.

– Я говорю, что подсластитель никак не подойдет! Для кваса нужен более мягкий вкус и аромат меда! Именно медовая патока дает «тело», основу этому напитку. А подсластитель, будь то сахарин или аспартам, сделает вкус кваса «пустым», грубым, ненатуральным.

Гарапов грубо отшвырнул от себя бумаги.

– Значит так, уважаемый Алексей Николаевич! Или вы подбираете дешевый аналог вместо этой вашей патоки, либо я отклоняю проект!

– Но послушайте... Пробная партия кваса к понедельнику будет готова, а в четверг мы едем в Москву на выставку! Дождитесь заключения первых контрактов, продаж, а после сделаете окончательные выводы!

– Я уже сделал выводы и спорить больше с вами не намерен!

Гарапов поднялся из-за стола.

– Виталий Петрович, пожалуйста! Пусть себестоимость кваса вышла дороговата, согласен! Но он непременно окупится! Я вам обещаю! На рентабельность мы выйдем! Только не за счет цены, а за счет объемов продаж!

– Бойко, вы технолог или финансист?! Не вам рассуждать о доходности и затратах! Ваше дело напитки ва-

рять, рецептуру разрабатывать и брать самые ДЕШЕВЫЕ ингредиенты!

– Но от этого зависит качество продукции, ее вкус и, в конечном итоге, репутация нашего предприятия! – Алексей попытался разыграть борца за честь ООО «НПТ-Инвест».

– Вы это серьезно?! Не смешите меня своей заботой о фирменной репутации! Вы очень честолюбивый человек, Алексей, и думаете только о своих интересах! Я вас хорошо изучил за эти пару лет, что работаете у нас!

Лицо Алексея налилось яростью:

– Виталий Петрович, думайте обо мне что хотите... Но прошу, одобрите проект и отдайте документы на утверждение генеральному директору! – прозвучало настойчиво и угрожающе.

– Нет и еще раз нет, пока не переделаете состав напитка! А пока – до свидания!

Гарапов надел пальто и взял со стола ключи, намереваясь выпроводить наглого технолога, закрыть кабинет и уйти.

Но Алексей преградил ему дорогу. Кулаки заведующего пищевым производством были сжаты, по скулам перекачивались желваки.

– Да вы что?! В своем уме?! – возмутился финансовый директор.

– А в чем же еще?! – ответил Бойко, схватил со стола бронзулетку с логотипом «НПТ-Инвест» и надписью «За заслуги» и ударил Гарагона в висок.

Виталий Петрович рухнул на пол, выронив ключи.

Бойко в ужасе от содеянного хотел было бежать прочь, но ноги его подкосились, и он осел в полуобморочном состоянии на пол.

Минут через двадцать, немного придя в сознание, Алексей пощупал пульс Гарапова. Виталий Петрович был мертв.

Осознав и приняв весь ужас создавшегося положения, Бойко, наконец, собрался и начал действовать.

Подошел к столу и аккуратно собрал все документы по квасу. Затем нашел на столе любимую авторучку финансового директора и через стекло перевел подпись Гарапова

на свои бумаги. После на титульный лист шлепнул штамп «Одобрено», вписал текущую дату и положил папку с документами в стопку бумаг на подпись генеральному директору.

Затем Алексей носовым платком протер авторучку и вернул ее на обычное место – в специальный стаканчик. Посмотрел на Виталия Петровича:

– Медовой патоки пожалел, Гарпагон? В Туле? Где даже пряники и те – медовые!

Алексей в сердцах пнул труп финансового директора. Из кармана мертвеца выпал мобильный телефон.

Пару секунд молодой человек подумал, разблокировал телефон, приложив его к пальцу мертвеца. На экран выветилось оповещение о шести пропущенных звонках от жены Гарاپова и один звонок от главного.

Бойко понимал, что исчезновение финансового директора быстро заметят, если этому не помешать. Идея, как выиграть время и задержать поиски Гарাপова, в воспаленном мозгу Алексея появилась на удивление быстро, и он написал два сообщения в Вайбер.

Жене Гарাপова: «Дорогая, прости, давно хотел сказать – я люблю другую! Не звони мне. За вещами заеду на следующей неделе».

Генеральному директору: «Братец, я тут приболел и дома неурядицы с женой... Возьму недельку без содержания, окей?»

И тут же получил ответы:

«Ах ты козел! Кто она?! Неужели та драная кошка, с которой тебя застукали в ресторане?! Ну, ничего, еще на коленях ко мне обратно приползёшь!!!»

«Ладно, Виталик, давай поправляйся! А жена твоя – мырма, говорил – не женись!»

Алексей положил телефон в свой карман, вышел из кабинета и закрыл дверь на ключ. Спустился на склад вспомогательных материалов, взял самый большой мешок и снова поднялся на второй этаж в кабинет финансового директора.

Гарапov лежал тихо, смиренно, как и положено мертвецу. Молодой человек затолкал тело в мешок и выволок из кабинета.

В коридорах двухэтажного здания было тихо и пусто.

Но вынести тело через проходную мог помешать охранник, поэтому Алексей, недолго думая, повернул со своей поклажей в сторону производственного цеха.

В цеху стояло несколько здоровенных металлических баков, в которых варили напитки. Сейчас они были пустыми, кроме одного трехтонного, в котором варилась пробная партия кваса для выставки-продажи.

В пустой бак прятать труп было нельзя – рабочие обязательно его обнаружат, когда откроют, чтобы залить воду. А вот в бак с квасом без разрешения заведующего пищевым производством не залезет никто, чтобы, не дай бог, не нарушить сложный технологически процесс приготовления. Поэтому Алексею ничего не оставалось, как опустить тело Гарапова в медовый квас. Риск сесть в тюрьму за убийство слегка перевесил риск испортить напиток.

Устранив таким кардинальным образом препятствие на своем карьерном пути, Алексей вымыл руки, вернулся в свой кабинет, взял плащ и пошел как ни в чем не бывало домой. Охранник, дремавший над кроссвордом, с ним даже не попрощался. Бывшему военному в отставке, деду за 70, было глубоко наплевать, кто и почему тут ходит, – лишь бы зарплату вовремя платили.

Рано утром в субботу Алексей Бойко вернулся на работу с намерением перепрятать труп и спасти квас, который в понедельник нужно было разливать в бутылки.

Вахтер легко пропустил его, без всяких подозрений. Алексея Николаевича Бойко знали на работе как щепетильного перфекциониста и хронического трудоголика, не терпевшего неудач. На производстве вообще обычное дело, когда работники приходят в выходные дни, чтобы закончить дела, которые не успели сделать за рабочую неделю. Бойко же появлялся в выходные чаще всех. Он не допускал в работе ошибок и всё всегда сдавал в срок.

Алексей залез по лесенке на верхнюю часть двухметрового бака, отвинтил крышку и приготовился вылавливать разбухший труп финансового директора, плавающего спиной кверху, словно утопленник. Однако трупа

на поверхности не оказалось. На поверхности плавали лишь лимоны и изюм...

У Алексея внутри похолодело: «Неужели кто-то обнаружил и вытащил труп?!». Бойко вынул из кармана телефон, включил фонарик и посветил в бак в поисках пропажи. К счастью, Гарпагон быстро нашелся в недрах медового напитка, и Алексей облегченно вздохнул. Но вот вытащить мешок с телом упитанного начальника из пучин кваса не удалось, как Алексей ни старался.

Отчаявшись, Бойко закрыл крышку бака и спустился вниз. Положение было отчаянное – вынуть труп, не слив квас, не представлялось возможным.

Алексей обреченно сел на пол, прислонился к цистерне и задумался. Прошло минут тридцать.

Заведующий пищевым производством медленно встал, взял пластиковую бутылку и подошел к крану, из которого по принципу самовара можно было налить из бака напиток.

Налил квас и бегом по темным коридорам помчался в лабораторию. В лаборатории Бойко перелил квас из бутылки в колбу и посмотрел на нее, как смотрят на стакан вина, перед дегустацией. Затем, набравшись мужества, отхлебнул глоток и приготовился тут же выплюнуть испорченный напиток, но остановился. Затем понюхал квас и сделал еще один осторожный глоток. Удивительно! Постороннего запаха и вкуса не было! Более того, медовый напиток стал еще лучше!

Алексей в волнении еще налил в колбу кваса и провел тесты на микробиологию и качественные характеристики напитка...

Чудо чудное – все в норме! Или этому есть научное объяснение?!

Алексей вспомнил, что тело погибшего в бою Александра Македонского везли в бочке с медом. Похоже, медовая патока подействовала как консервант и на труп Гарাপова! А значит, шансы выпутаться из переделки у Алексея существенно возрастают! Бойко вернулся домой приободренным.

В понедельник квас был разлит по бутылкам.

Снимая пробу, Алексей про себя отметил: «Вкусный Петрович оказался! Такая была сволочь, а какой выразительный, насыщенный вкус придал напитку!»

Вечером этого же дня Алексей отпустил мойщика, переоделся в его спецодежду и собственноручно вымыл резервуар. Труп, как верно догадался технолог, не разложился и даже приятно пах медом. Достать его из пустого бака, протащить через вахту под видом мешка с отходами и захоронить на старом заброшенном кладбище было очень тяжело и хлопотно, но все же получилось.

В четверг, как и планировали, маленькая делегация, в составе экономиста, менеджера отдела продаж и заведующего пищевым производством, отправилась в Москву. Трехдневная выставка-продажа прошла очень удачно. Удалось заключить сразу три больших контракта на поставку нового медового кваса.

По возвращении генеральный директор отметил успехи молодого амбициозного и талантливого технолога и наградил премией.

А о Гарапове неделю никто и не вспоминал. Обиженная жена сердилась и не искала его, так как была уверена, что муж у любовницы, а главный думал, что его братец сидит на больничном. После, конечно, Гарапова хватились, обратились в полицию, начались поиски пропавшего, но финансовый директор как в воду канул.

Тем временем Бойко подготовил новую большую партию медового кваса. Покупатели были довольны. Генеральный директор дал Алексею хорошую прибавку к зарплате и просторный кабинет с окнами на солнечную сторону в придачу. Дела пошли в гору. Но технолог-перфекционист никак не мог успокоиться.

Нет, Бойко не беспокоило, что вчера его вызывал следователь по делу исчезнувшего Гарапова. Заведующего пищевым производством волновало то, что вкус новой партии кваса был хорош, но НЕ ОТЛИЧНЫЙ! Чего-то в нем не хватало.

«Где же этот оттенок вкуса, которым отличалась первая пробная партия напитка?! Куда пропала та изюминка, что делала квас отличным?! Ведь технология отработана,

рецепт выверен до грамма!» – Алексей просыпался и засыпал с этой мыслью, и в один прекрасный день его осенило.

Алексей странно изменился в лице и стал тихонько нараспев повторять себе под нос одну и ту же фразу:

«Медовый квас – отличный квас! Отличный вкус – медовый вкус!».

Взял со стола и взвесил на руке увесистую статуэтку, которую привез с московской выставки за 1-е место в номинации «Лучший товар»:

«Медовый квас – отличный квас! Отличный вкус – медовый вкус!».

Вышел из лаборатории, поднялся по лестнице на второй этаж, подошел к кабинету нового финансового директора Сергея Ивановича и постучал в нее статуэткой:

– Да, да, войдите!

– Я к вам по делу!

– Что-то срочное?

– Да. По вопросу медового кваса. Я нашел способ, как сделать его вкус отличным!

Паул БАРБАДО

НАСТРОЙКА

Оно расстроилось совершенно неожиданно, может, за неделю или около того, как завязались отношения с Димой. Я совершенно точно играла на нем Вите перед его отъездом в командировку. Совершенно точно, оно звучало как должно было звучать. Оно было не то чтобы старым, и не то чтобы совсем дешевым. Помню, как рассказала Вите о своем желании вспомнить то, чему семь лет училась в музыкалке, как он, помолчав, начал размышлять вслух о том, что мы слишком многое прячем в себе, не даем выхода своему внутреннему художнику, что-то такое он говорил. Витя любил говорить о чем-то значимом, говорил связно и красиво, говорил, когда это было нужно, но, может быть, чуть больше, чем мне хотелось бы. Через пару дней в компании друзей он закатил в мою квартиру с любовью упакованное, подержанное, но тем не менее лоснящееся фортепиано Kawai. Тем вечером он сидел возле меня на полу, а я наигрывала ему что-то незамысловатое. Ему нравилось слушать, наблюдать процесс игры, прислонившись позади меня к стулу, нравилось молчать. О чем он тогда думал? О чем он думал в тот день, когда уезжал, когда я играла ему специально для него разученную Confessa, думал ли он, что это будет последним воспоминанием, связывающим нас. Станный он был все же человек, этот Витя, вроде и любил, а жили мы все равно порознь, говорил, что всему свое время, что всему

свое место, что жизнь тоньше, чем мы думаем, что-то еще говорил. Как-то неуверенно мы шли рядом по улице, он немного стесняясь, приобнимал меня, скромно представлял знакомым, он весь был таким, излишне интеллигентным, что ли. Создавалось ощущение, что он боится нарушить что-то, что мне не видно и непонятно. Я много раз говорила ему об этом, но он больше молчал или переводил тему разговора в другое русло.

Фортепиано было расстроено, как бы то ни было, это оставалось фактом мне непонятным. После Витинового отъезда я не играла на нем, наверное, было не до того, может, работа или домашние дела. Теперь во мне проснулось желание настроить его самостоятельно. Перед глазами всплыл сизый нос Сергеевича – настройщика из музыкальной школы. Тихий пьяница и талантливый человек, за работой которого можно было наблюдать часами. Если Сергеевича не трогать, то он сам начинал объяснять суть происходящего, главное не отвлекать, не говорить, не шуметь, почти не дышать. Однажды он подарил мне ящичек с инструментами для настройки фоно, а спустя неделю умер в местной больнице после очередного запоя от желудочного кровотечения. Содержимое этого ящичка сейчас лежало передо мной, а я смотрела на странный инструмент и отказывалась верить в то, что я своими руками сейчас полезу настраивать фортепиано. Единственное, что пришлось докупить к хитрому набору настройщика, – цифровой тюнер, немного облегчавший процесс. Получить доступ к внутренностям фортепиано оказалось несложно, защелки и задвижки были мягкими, крышки отошли легко, я положила их на диван, стараясь не поцарапать, при этом я пыталась отогнать от себя мысль о том, что этих панелей касались руки Виктора, да и идея с покупкой инструмента была его. Комнату заполнил запах дерева, бархата и камерной театральной пыли, так, наверное, пахнет закулисы провинциального театра, когда из него уходит последний служащий.

– Тебе помочь? – Голос Димы раздался откуда-то из верхней части комнаты, где он делал очередной подход на турнике.

Его торс, на котором отдельно была нарисована каждая мышца, был твердым на вид и на ошупь. В этом, да и не только, он был полной противоположностью Вите, обладателю небольшого животика и несколько субтильной фигуры. Помню, как впервые увидела Диму обнаженным и как на следующее утро отчаянно бегала по соседнему парку, размышляя о том, что стыдно быть неспортивной рядом с таким красавцем.

– Ничего, сама справлюсь, – мне стало неприятно от мысли, что к фортепиано прикоснется Дима.

Да, и вот этот турник над дверным проемом, его там не было. И штанги вот этой тоже не было. Дима переехал ко мне быстро, почти немедленно.

Познакомились мы на дне рождения Лены, моей подруги, где он очень колоритно ухаживал за мной и читал стихи. Через несколько дней я проснулась с ним рядом, обнимая твердое мускулистое тело. Проснулась и тут же позвонила Вите. Серьезным голосом я рассказала ему, что мы больше не вместе, что есть другой человек, что не стоит больше видеться. Потом рыдала в ванной от злости на себя, на Витю, за его непонятный характер, на Диму за то, что он вообще появился в моей жизни. Потребовалось несколько дней, чтобы свыкнуться с переменами, а потом мы съехались. Ну, если уж быть точной, Дима переехал ко мне, так как жил с родителями, а доставшуюся ему от бабушки квартиру сдавал.

– Терпеть не могу эти скворечники, – говаривал он, рассматривая пыльный двор с высоты третьего этажа из кухонного окна, – построим дом, будем в доме жить.

– Построим, – говорила я, не смея противиться его воле.

Тюнер подсказал, что ни одна клавиша фортепиано не давала номинальную ноту. Тотальный разлад. Неужели так бывает, может влажность, или... Я недобро посмотрела на Диму, потевшего на турнике. Нет, он не мог. Просто потому, что не мог сломать или расстроить инструмент, который для него был лишь черным полированным ящиком в углу комнаты.

Когда мы гуляли, Дима часто держал меня, полуобхватив своими цепкими пальцами шею, словно в ошейнике выгуливал собачку.

– Это Света, моя девчонка, – комментировал встретившимся знакомым наши отношения.

Блин, тебе тридцать скоро, милый, какая девчонка – ду-малось мне, но я только улыбалась, словно не способная выразить свое мнение как-то иначе. Честно говоря, я немного побаивалась его. Он взял меня в оборот как победитель, человек, не привыкший к тому, что ему отказывают, хозяин положения.

Я прошла по клавишам еще раз, послушав какофонию и дребезг и полезла осматривать механику инструмента. Молоточки и приводившие их в действие механизмы были в порядке, ход клавиш, расстояние между ними, ход молоточков, пружины выглядели безукоризненно, все работало.

Я была не подарок, к тому же ревнивый («не подарок»), я могла срываться и кричать на Витю, как-то даже дала пощечину прямо на улице. Тогда я прочитала в его глазах что-то необычное, то, что можно обнаружить в глазах отца, смотрящего на обидевшуюся дочь. Я безумно сердилась на себя в такие моменты, еще больше меня злило то, что Витя сказал одно лишь слово: «Прости», слово которое должна была сказать я. Послушав мои рассказы о скверном характере, Дима пообещал изменить его.

– Станешь другой, нормальной, обещаю, – он умел говорить безапелляционно.

Для первой октавы озвучивалось тремя струнами, настраивать их нужно было по отдельности, для чего я забила резиновые клинышки, заглушив соседние струны. Крутить настроечный ключ нужно было очень аккуратно.

Ревновать Диму я позволила себе всего один раз, к его знакомой, красивой, звонкоголосой блондинке Наташе. Первую фразу с намеком на их особые отношения он пропустил мимо ушей, просто махнув рукой. Но у меня есть черта: я должна довести начатое до логического завершения, даже если это начатое того не стоит, а завершение будет неприятным. В этот раз я поступила как всегда, продолжив тему Наташи, но говорить мне пришлось недолго. Дима повернулся ко мне всем корпусом, словно готовясь ударить.

– Совсем охренела, что ли, опять про свою Наташу, – лицо его оставалось спокойным.

Я промолчала, с одной стороны, потому, что ответить было нечего, с другой, потому, что я не знала, как в таких случаях нужно дальше вести разговор. Больше про Наташу мы не говорили. Отчаянно я искала в тот день номер Вити в своем телефоне, искала для того, чтобы позвонить, пожаловаться и спросить, что в таких случаях делают. Витя всегда подсказывал что делать, будучи на работе или в дороге, он словно включался в мою жизнь, оставляя все остальное за рамками. Его советы были лаконичными и почти всегда полезными. Но запись с его номером я удалила сразу после последнего нашего разговора. Последнее что я услышала от Вити было «Береги себя, родная».

Кто придумал несколько струн на один молоточек, для чего эти сложности, нельзя ли как-то попроще все устроить. А если упростить устройство фортепиано, укоротить диапазон, уменьшить количество струн, облегчить жизнь и настройщика, и музыканта, что тогда получится. Бессмыслица. Другой инструмент, другое звучание, другая музыка.

Витя редко рассматривал свое отражение в зеркале, никогда не диктовал свои условия. Часто говорил, что попытки подавить характер близкого человека заканчиваются катастрофой, взрывом. А еще он не приходил ко мне без шоколада. Кто его знает, где он покупал эти кубики в вычурной обертке, с необычными, каждый раз новыми начинками. В магазинах города я таких не видела. Каждый раз, он как ребенок радовался моей реакции на этот странный подарок. Уезжая, он подарил мне последний шоколадный кубик в фиолетовой обертке. Он до сих пор лежал в шкафу за кухонными полотенцами. Когда я съела при Диме две дольки шоколада, он заставил меня присесть шестьдесят раз, чтобы потратить полученную энергию.

– Вот так теперь, хочешь сладкого – приседай, – он стоял надо мной, посмеиваясь, – хочешь сдобного – бегай.

Изрядно попотев, я закончила с ля первой октавы и переехала к ми второй. Вот тут начались проблемы. Тюнер

не хотел ловить колебания струн и показывал совершенно невероятные ноты, меня это начинало злить.

Дима слез с турника и занялся штангой.

Витя не вернулся из командировки, заявление на увольнение отправил заказным письмом и уехал. Это было в его духе, принять необъяснимое, но, возможно, самое правильное решение. Никогда не могла понять его до конца. Могла чувствовать, но не понимать. Мы познакомились с ним случайно, в автосалоне, я ждала, пока подруга уточнит стоимость техобслуживания машины, а он как-то оказался рядом, завязалось знакомство, прервавшееся почти на год. Повторно встретились, опять же случайно, на торжественном открытии нового офиса компании, где он работал и куда меня опять же притащила та же подруга. Он был не очень уверен в себе, осторожен, словно сомневался в каждом шаге.

Диму я открыла для себя, как бутылку шампанского, с хлопком, пеной, искрами, какой-то эйфорией от происходящего, предвосхищением чего-то необычного. Но, открыв шампанское, нельзя удержаться от того, чтобы его попробовать. Но вот пригубишь напиток и понимаешь – не то. Не шампанское, а так, кисленькая водичка без эмоций. Каждую ночь с ним я ощущала совершенно непередаваемую пустоту в себе, вроде бы вот он, здесь, близко, тугой, мускулистый, сильный. И тем не менее пусто. Оставалось закрыть глаза и думать о чем-нибудь, все равно о чем, как на приеме у стоматолога, вроде и не больно, потому что обезболено, но все равно неприятно.

Дело не шло, мои кульбиты с настроочным ключом не приводили ни к чему, как я ни старалась. Может, просто не та октава, может повыше подтянуть, еще немного. Раздался щелчок и звон, в воздух поднялось облачко пыли с примесью щепок, всхлипнули молоточки. Разорвавшаяся струна оставила неизгладимый след на теле фортепианной механики.

– Да ты чего там! – Дима со стуком опустил штангу на станину. – Предупреждай хоть!

– Я не думала, – начала было я, но он уже не слушал.

– Ну какого хрена ты туда вообще полезла, – он немного смягчился и даже пошутил: – Сброса к заводским настройкам там нет случайно?

– Нет. К сожалению, нет. Жаль, потому что оно очень прилично было настроено. – Я подошла к Диме и подняла лежащую рядом с ним гантель. – Ума не приложу, что я хотела получить, пытаясь сделать то, чего делать не нужно, но знаешь, насчет сброса. Насчет сброса...

Размахнувшись, я запустила, уж не знаю откуда взялись силы, гантель в самое нутро фортепиано. Раздался звон, дребезг, треск, какое-то немыслимое сочетание звуков. Разорвавшиеся струны, погнутые молоточки, покосившиеся демпфера – ничто из этого ни вместе, ни порознь более не имело права называться музыкальным инструментом.

– Как-то вот так, Дим, – я отправилась в спальню, где наскоро закинула в сумку документы, деньги, что-то самое необходимое, – как-то так.

– Дура, что ли? – Он по-прежнему лежал на скамье, сжимая в руках гриф штанги.

– Она самая, – я зашла в ванную за зубной щеткой, пастой и мылом, – ключи Лене передай, штангу заberi и вот этот турник твой на хрен со стены тоженими. Пока.

Было начало пятого, остановка автобуса была пуста, небо затянутое тучами, сулило мелкий дождь. В медленно темнеющий горизонт тянулось прямое шоссе с белой двойной сплошной, как одинокое ля первой октавы, от которого возможно еще настроить остальные струны.

Ирина КУЧЕНЮК

КОРМУШКА

– Мама, я хочу кормушку сделать для синичек!

– А?

Я подняла бровь вверх. В последнее время, от усталости, что ли, я часто выражаю эмоции не словом, не звуком, а именно вот этой поднятой вверх бровью. Это и вопрос, и недоумение, и радость, и одобрение. Все вмещается в эту бровь.

– О-ой, дочь...

Сумрачно закатываю глаза. Как представлю, сколько это возни. И как ее делать вообще – не представляю. Может, лучше... Но мой ребенок уже трудился над ингредиентами счастья для синичек с помощью ножниц... Глаза светятся, ручки ловкие...

Я на минуту (на минуту ли?) погрузилась в ленту интернета и очень скоро опять вскинула бровь на фразу:

– Мам, готово!!!

Вика улыбалась, держа в руках обычную пластиковую бутылку с прорезями. Получилось три входа в кормушку. Сверху примотана веревка. Выглядит... мягко говоря... Да никак не выглядит, просто бутылка с дырками и веревкой наверху... Внутри корм.

Никаких изысков.

– Выглядит отлично! Умница! Идем вешать.

Насыпали корма. Примотали к дереву напротив кухонного окна.

– Мам, а они прилетят?

– Конечно... – говорю я, совершенно в это не веря.

Утром я всегда поднимаю жалюзи. Солнце врывается на кухню, как голодный кот! Кормушка... Хлопаю сонными глазами: Батюшки! Они уже здесь! Птицы: одна, две, три не просто кружат, а по одной, по две залетают в наш домик и клюют, клюют...

– Ви-и-ика-а-а! – кричу я.

Вика несется по коридору, еле вписываясь в поворот, и с разбегу прыгает на подоконник. Смотрит, впечатавшись в окно. Лицо как у пекинеса.

– Прилетели...

А я стою, смотрю на свою дочку и размышляю: какая она молодец, пока бы я думала, как мне делать эту кормушку, как и куда мы будем ее вешать, она взяла и сделала. Просто взяла и сделала. Пусть не терем. Но прилетели. Но клюют. Желтыми брюшками, как солнцем, светят. И стало так хорошо на душе.

Как это просто и правильно, так можно только в детстве: взять и сделать. Просто взять и сделать.

ЛЮБИМАЯ

Я зашел в аптеку, по старинке купил аспирин и «звездочку»: только так я лечу простуду. Сунул их в нагрудный карман жилета и, разговаривая сам с собой, не замечая никого, побрел домой.

Было начало апреля, снег сошел недавно, земляные бугры еще были влажные и холодные, но уже не было сомнений, что пройдет день-другой, и молодая трава ракетой рванет из-под черной земли, придет весна.

А моя весна прошла. Я горько улыбнулся самому себе. И вообще все прошло. Черт возьми, мне сорок лет!! У меня есть все, но я несчастен, как самый жалкий попрошайка на Курском вокзале.

Я двадцать лет прожил с женой. Я любил ее. Правда. Первые полгода. Понял. Хотел отстраниться, а она цап-царап, уже беременна... Сын родился. И дальше... Эх. Да что говорить. Разводиться хотел. А потом плюнул. Проживу как-нибудь... Проживаю, как прозябаю.

...Я шел узкой аллейкой. Впереди пожилой мужчина лет семидесяти вдруг начал вилять, как пьяный. Может, и пьяный, но я иду за ним уже десять минут и до этого он держался ровно и даже бодро.

Через пару шагов я догнал его и обернулся. Мужчина остановился и, держась за сердце, медленно, словно во сне, начал оседать... Лицо его было крайне испуганно, оно за секунды становилось бледнее и бледнее, появилась испарина и меня прожгло: Сердечный приступ!

Я придержал его одной рукой, сбросил на землю свой жилет и на него усадил мужчину. Благо бордюр был высоким и послужили ему опорой. Я согнул ему ноги, дёрнул ворот

куртки и расстегнул его. Так кровь будет циркулировать лучше. Времени очень мало! Теперь нужна врачебная помощь.

Я достал мобильный и позвонил в скорую. Уже несколько минут люди в белом, как крыльями, закрыли человека, борясь за его жизнь... Но минутой раньше, держа его дрожащую и холодную от пота руку, я спросил: позвонить кому-нибудь? Он моргнул и одними глазами указал на правый карман куртки.

Жене?

Он попытался кивнуть.

Я взял в руки старенький телефон, открыл вкладку вызовы и остолебенел: у этого пожилого человека все звонки были адресованы только одному абоненту, чье имя было записано как «любимая»...

Любимая?

Белые крылья врачей затрепетали на ветру, и я увидел его лицо: бледный, испуганный и измученный, он казался еще старше, чем есть... Он прожил почти две такие жизни как моя... И все равно.

Любимая?..

Я впервые за долгие годы обратился к Богу. Запросто, в порыве: Господи, как может умереть человек, который любит? Но если так надо, то пусть он хотя бы успеет проститься с ней...

Затем я настроился, шумно выдохнул, нажал на кнопку вызова и спокойным, уверенным голосом сообщил его жене, что муж ее сейчас будет отправлен в больницу, что помощь оказана своевременно, что волноваться ей не о чем... Я и сам был уверен в этом.

Затем я сделал еще шаг вперед и наклонил голову вниз, как смотрят родители в кроватку с новорожденным. Я встретился взглядом с мужчиной. Ему стало заметно лучше и одними губами он прошептал:

– Спасибо.

Я кивнул в ответ. А сам подумал: нет, это вам спасибо. Завтра же подам документы на развод. Невыносима мысль о старости рядом с женщиной, которая никогда не была и не будет мне любимой.

СЕРВИЗ

Жили они давно. Ну, как давно. Года три или четыре. Срок серьезный, за это время можно было спокойно жениться. Можно. Да Славик и думал об этом. Любил он эту свою Леночку, отчего бы не жениться.

Одно только останавливало. Она была... Как тебе сказать... Рассеянная, что ли. Инфантильная? Несерьёзная? Не знаю. Но только в 25 лет, казалось, ее интересы только клацать бордовым ноготком по экрану телефона, на сайтах дурацкие заказы делать, косметику тоннами покупать и тоннами накладывать её на свое нежное личико, мучительно долго красить по утрам ресницы...

Делать вообще все излишне плавно, но не с ленцой, иной раз залюбуешься. А все равно хотелось иногда ускорения придать. Пустышка? Эгоистка? Кукла? Не знаю...

А Славик жених был знатный. И красивый, и умный, и не жмот, кстати. Наверное, потому что деньги в его кошельке размножились, казалось, сами собой.

Тот вечер был особый. Приехал он с работы, в кармане куртки кольцо. Как говорится, не простое, золотое, обручальное то есть.

А как вышло: ехал домой, по сторонам глазел и вдруг как в первый раз увидел витрину магазина, а на ней мерцающими буквами: «Обручальные кольца».

Он – поворотник и парковаться. Влетел туда как сумасшедший, чуть не задыхаясь, к прилавку припал и продавца сверлит глазами: кольцо мне нужно самое лучшее, понимаете? А чего там понимать, в ряду колец за эту сумму они все самые лучшие.

Так вот. Вернулся с работы, дверь открыл тихонько. А тут и Леночка. Плавная, мягкая, в халате атласном, вьет-

ся व्यоном. Сама странная: семь часов вечера, а она будто только встала и не то плакала, не то долго в экран смотрела. И щебечет, и щебечет. Слова вставить не дает. Это верная примета – сейчас просить что-то начнет.

А вода в чайнике тарабанит и тарабанит прозрачными ручонками: я вскипела, пора кофе наливать!

И Леночка наливает и не спеша сахар размешивает, будто зелье в котле варит, шепчет что-то.

Глаза подняла, бархатные такие, и плавно, убаюкивая, говорит:

– Славик, я такой сервиз нашла на сайте! Ну вообще он аховский и аховско стоит, а сейчас скидка на него... Хочу сильно! Не откажи, кофе в нем отменный будет! И цвет у него, знаешь, такой не белый, а вот как это сказать, молочный, ванильный... Ну, вкусный цвет, понимаешь! И пить будет вкусно. Купим, давай, а?

А Славик сидит как дурак. Глаза раскрыл и моргнуть не может. И сказать не может. И вообще ничего не может.

– Зачем этот сервиз? К чему весь этот вещизм? Шмотья дома навалом – сервиз ей подавай! Да к нам и гости не ходят!

Обиделась. Отвернулась к окну и стоит – высматривает – может, какой прохожий ей этот сервиз купит?

А потом одним махом – бац – ноутбук на стол перед Славиком и, словно укротительница тигров, пасть ноутбука открыла.

– На, смотри.

Хвостом вильнула и вышла.

Славик – в экран. А там?

А там объявление. Нет, просьба. Нет, крик о помощи: «Дом престарелых примет в дар любые вещи, одежду, постельное белье, гигиенические принадлежности, средства для дезинфекции и пр. Особенно нужна посуда».

Он достал из кармана коробочку с кольцом. Открыл ее. Надел маленькое колечко на ноготь своего мизинца и долго смотрел на него. Сегодня он был счастлив: его подруга первый раз в жизни захотела сделать что-то ради других...

– Лена-а-а, Ле-е-еночка-а-а, иди сюда!!

Он решил сделать предложение Леночке прямо сейчас и уже ни капли не сомневался, что поступает правильно.

Юлия РЯДИНСКАЯ

* * *

Море – вкрадчивый и нежный деспот,
Убивая, заново творит.
И простит тебе любую дерзость,
Если ты несешь его внутри.

Не склониться и не раствориться –
Глупость несусветная, и вот
Между нами рушатся границы,
Море шепчет и в груди поет!

...Я войду сурово-недовольной,
Лягу камешком в твоей горсти.
Покачай меня в ладонях-волнах,
Гладкой и округлой отпусти.

Анастасия КИНАШ

Итого

Остаётся немного
И на смех, и на плач.
Я смешна и убога,
Пустотела, как мяч.

Пустомеля, и надо
Мне забросить слова.
Что замерзшему саду
Под сугробом трава?

Что зеленые звёзды
Побирушке зимой?
Жизнь отходит бесслёзно,
Смерть приходит домой

И садится без спроса
На потёртый диван.
Всё не так, по откосу,
Вкось, куда-то в туман...

Остаётся так мало...
Небо смотрит в окно.
Оно тоже устало,
Ему тоже темно.

Екатерина СУФРАДЗЕ

* * *

Вчера мне удалили совесть,
И как ненужный рудимент
Она упала в невесомость
И растворилась там в момент.

И не найти её в архивах,
В складских приходных ордерах.
Теперь вольна в своих мотивах
И как младенец сплю в шелках.

Вчера мне удалили жалость,
С груди силком оторвала!
Она, в платок похныкав малость,
Клубком свернувшись, уползла.

Теперь и я свободна, боги!
Простор – куда не погляжу!
Сидит котёнок у дороги,
А я лишь мимо прохожу.

Сегодня по огромной скидке,
С корнями, но не без следов
Усердно со второй попытки
Из сердца вырвали любовь.

Сперва тянули понемногу,
Но та засела, не проймёшь,
Но тут внезапно на подмогу
Пришли предательство и ложь.

Пустая, но с походкой лёгкой,
Закрыв хирурга кабинет,
Я вышла к новой жизни робко.
Но только смысла больше нет...

Галина СТРУЧАЛИНА

Сонет о лишнем слове

Любовь растёт в прорехах будних дней,
Обёрнутых в сермяжную рутину.
Срастаются деревья до корней.
Душа, как крылья, прорезает спину.

Хребет вырастает в хмурый небосвод,
Становится его громоотводом.
Молчание не сковывает рот,
И голос вылетает на свободу.

Вплетаясь звуком в сонмы голосов
И обрываясь в самости навечно.
И швы на стыках склеенных миров
Трещат и рвутся в этот миг, конечно.

Когда вырастают, – плотью и душой, –
«Мы» – слово лишнее между «тобой» и «мной».

Евгений ХАРИТОНОВ

Страшный сон

Не поверите, однако,
Но приснилось как-то вот,
Что у мусорного бака
«Пировал» простой народ.

Что-то пили, что-то ели,
Мат срывался с языка...
Мне казалось, в самом деле
Перепутались века.

Ну а как иначе, братцы?
Разве может человек
На помойке побираться
В этот наш хваленый век?

Ну не сон, а просто муки.
Чем же я им помогу?
Третий день щипаю руки,
А проснуться не могу!

Светлана ЕВСЮКОВА

Свобода

То, что было, то, что будет, то, что есть,
Можно вычеркнуть, нельзя переписать.
Можно через все заборы перелезть –
Всё равно они останутся стоять.

Из будущих книг

Олег МАКОША

ЛЕТО НЕСЧАСТНЫХ

Повествование о том, как мы выбирали собаку после смерти Ники – прекрасной боксёрши и настоящего человека. Выбирали-выбирали, выбрали и очень полюбили (хотя, чего там говорить, мы любили заранее

Я люблю всех, кроме людей.

*Валерик, шестилетний
мальчик. Из газеты*

После полудня

*Окно распахнуто в середине лета.
Птичье кляцанье – быстро,
быстро, и это не важно. Отсвет
гнилой воды полоснул
солнце; гигантская ночь позади, как если б
Лотреамон пересек уже океан. В три часа дня
смотришь вниз, где белеет каждая мелочь
с укоризненной ясностью. Вполголоса
читают в бледной комнате
молитву; кто? Лето несчастных,
сказал бы мой друг.*

Шамшад Абдуллаев

Я неофит.

Все мои знакомые собачники утверждают, что нет более безжалостной страны для собак, чем Сербия. Где собак за людей не считают, бьют, стреляют, травят, режут и душат.

Серёгу из Овсово – били камнями. А выбрали его, травмированного, умирающего – со сломанным тазом, – русские, в кустах у дороги. Вероятно, его сбила машина.

Началось всё так.

Мантуся нашла в инете адрес собачьей передержки на ферме Овсово.

Нет, не так.

Мантуся – страстная любительница собак. То есть и дня без них прожить не может. Где бы ни увидела – тут же начинает сюсюкать и восторгаться, невзирая на препятствия в лице хозяев. Например, те стоят обалдевшие и растерянно лепечут – да как же? Да что ж такое? Да мы ж купили собачку для защиты и охраны частного и честно нажитого имущества. А не для слюнтявых поцелуйчиков с незнакомыми тётями на улице... Но куда там. Лобызаниям, к взаимной радости волкодава и Мантуси, нет конца.

Типичная картина прогулки в выходной день выглядит так.

Прекрасный летний солнечный полдень. Идём в синих штанах, едим мороженое в шоколаде на палочке, купленное в ближайшем магазине на нашей улице. И вдруг! Навстречу! Не может быть! Вышагивает огромный маламут, ведёт очкастую хозяйку на поводке. Мантуся их видит, бросает мороженое в урну, телефон мне в руку (иногда наоборот), кидается к маламуту и начинает с ним страстно обниматься. Маламут – в экстазе, хозяйка – в шоке, я – привык.

И опять не то.

Всё началось в мои двенадцать лет – с первого сочинённого стихотворения. Зимой, в лесу, где я катался на лыжах (я был страстный лыжник). Я его, стихотворение, помню, как это ни странно, до сих пор.

Но цитировать не буду.

Да.

Но если углубляться так далеко, – я никогда не начну рассказ.

В общем, Мантуся нашла эту ферму, и мы начали туда ездить.

Варили дома куриные пупки, раскладывали их в пакеты, я оформлял в интернете цифровой пандемический пропуск (первая волна ковида), садились в машину и ехали в Чеховский район. Там здоровались с Лёней, если он был на месте, и девочками – Наташей и Наташей, брали собак и гуляли по полю.

Я в основном с находящимся на лечении огромным и стриженным от колтунов русским чёрным терьером Радомиром, а Мантуся с весёлым и ласковым, с шаловливыми глазами, Рафиком.

Мантуся обожает собачек с бородкой.

Ну да:

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет –
Заскулит в сторонке...

Фоткались, кормились и мирно расставались до следующих выходных. Постепенно у нас появились любимчики, хотя с Мантусей это невозможно – она любит всех собак без исключения. Скажем так, у нас появились близко знакомые собаки, те, с которыми мы гуляли чаще других: русские чёрные терьеры Рэй и Радомир (сначала очень худой и больной, а через три-четыре месяца, выхоженный девочками, – невообразимый здоровяк, умница и красавец), чрезвычайно понравившийся мне полосатый и недоверчивый, что с его историей – понятно, Серёга, удивительной грации и мощи стаффордиха красавица Месси.

И ни разу мной не видимый (я боялся), но хорошо слышимый, гроза всего Овсово, мифический терьер Люцифер, известный под нежной кличкой Лютик (он же Люцик). Мантуся ему в загон мясо кидала прямо в пакете, который он так же смачно сжирал, как и мясо, если верить

мощным рыку с чавканьем и сотрясанием, доносившимся из-за деревянной стенки загона.

Погуляв, мы уезжали домой, как уже было сказано, и сразу начинали ждать следующих выходных.

А взять собаку мы не могли, потому что жили на съёмной квартире.

А взять хотели.

Я больше всего мечтал заполучить полосатого Серёгу, которого уже называл на свой лад Кофе, а Мантуся склонялась к мускулистой красавице Мессе, привезённой в приют московскими бандитами. Они её у кого-то за долги забрали. Потому что так полагается, по их бандитским правилам. Забрать забрали, а что дальше делать с ней, не знали. Поэтому привезли к Леониду и сказали, не знаем, чего она хочет, каждый день ест, воет и вообще.

И если Серёга был так запуган, что на любое движение сразу ложился, закрывал глаза и голову руками, то Мессе, наоборот, будучи выпущенной из клетки, тут же вылетала стрелой, готовая играть, веселиться, жить, кататься по земле, грызть палки, играть в догонялки, ловить мух, комаров, стрижей и коров.

Я, кстати, этого футболиста Мессе, мягко говоря, недолюбиваю. Даже не столько его, сколько людей, платящих ему такие деньги. Я считаю, что человек, умеющий только бегать по траве и виртуозно пинать круглый предмет, не может и не должен зарабатывать миллионы. Что эти деньги можно и нужно потратить в других сферах. Больные, пенсионеры, дети, малоимущие и так далее. В общем, для меня «мессе» – символ клинических идиотизма и недоразвитости, как хомо сапиенс в частности, так и общественных институтов в целом.

Но это к слову.

Я Серёгу хотел забрать, но, как это всегда и бывает, – не успел. Позвонила его куратор-волонтер Таня и сообщила, что есть желающие принять Серёгу в семью.

Ну? Спросила Мантуся.

Что? Ответил я.

То.

А они его будут любить?

Конечно. Не жмись, твоя собака – от тебя не уйдёт.

Ладно.

В общем, Серёгу забрали, а мы поехали в новый, нами ещё не изведанный приют.

Но перед этим мы ещё раз побывали в Овсово, где я познакомился с двумя вновь появившимися собаками.

Накануне Мантуся ездила в приёмник города Тулы, забирать двух бородатых собачек. Там энтузиастка Марина с двумя своими подружками отвела её к зданию приюта и сунула в руку пакет с брезентовыми сторублёвыми ошейниками. Мантуся покопалась в пакете и спросила, больше для порядка, можно, я у вас парочку позаимствую, да? Подружки не поняли, переглянулись и переспросили у Марины – чего она сказала? Марина перевела, говорит, хочет парочку украсть. А-а, согласились подружки, это – пожалуйста, пусть берёт.

Мантуся сунула им бутылку коньяка и пошла за собаками. А когда вернулась с животинками и погрузила их в машину, Марина светски предложила, может быть, чашечку кофе? Но Мантуся отказалась, сославшись на спешку (ты бы видел берлогу, где они живут). Тогда Марина с подружками стали пить коньяк.

И вот собаки в Овсово.

Я назову их Принцесса и Лада, сказала Мантуся.

Так и назвала.

Вышагивая Москву.

После весеннего, солнечного и льдистого переезда в Москву я, естественно, ничего в ней не зная, решил ознакомиться хотя бы с окрестностями проживания. Магазин, полиция, дурдом, церковь, поликлиника, а в моем случае – ближайшая библиотека с баней.

Но не тут-то было.

Во-первых, всё страшно запуталось.

Первые месяцы я неоднократно перебирался с места на место и обследовать окрестности просто не успевал. Мало

того, я ещё и перебирался из города в город – Нижний Новгород – Химки – Москва – Химки – Пушкино – опять Нижний Новгород – Москва. И даже Ногинск.

Во-вторых, я переехал в Москву в самый разгар корона-вируса и выйти из дома возможности не имел физической. Окромя как двух раз в неделю по цифровому пропуску в ближайшую булочную. Или с собакой до помойки.

В-третьих, в окрестностях моего проживания, честно говоря, ничего примечательного не было, а в исторический центр, всякие Остоженки и Патрики (О! Вот оно – московское словцо – все местные и давно живущие, вместо «Патриаршие пруды» говорят «Патрики»). И это единственное московское слово, которое я выучил, и которое актуально. Все эти – «Москва не резиновая» и «понаехали» – туфта, никто здесь так не говорит и, подозреваю, уже очень давно. Просто некому – все понаехавшие), как уже говорилось выше, не пускали.

Хотя и это не главное.

Говоря точнее, я приехал даже не в разгар, а в самом начале борьбы с вирусом. (И видел как наплевательское, так и паническое отношение к проблеме.) Когда люди по улицам не ходили, а если и ходили, то только короткими перебежками, в костюмах химзащиты и под наблюдением карантинных патрулей.

О каком обследовании улиц и площадей тут можно говорить?

Я пережил в Москве весь карантин: от начала – в марте, до конца – в июне.

Или июле, или сентябре, или когда (пока не ясно)?

В общем, сейчас лето в самом разгаре, и я собираюсь гулять и навестывать упущенное.

А пока мы выходим пройтись в сквер на бульваре Карбышева. Там есть пара спортивных площадок, куда я все никак не мог попасть. Даже не знаю почему, вроде ничего не мешает. Но это было до этой недели. Сегодня я сходил и позанимался на славу. Прекрасное место, и качковское братство вполне себе работает. Все такие тихие-мирные и доброжелательные. Улыбаются, если обратиться.

Ага.

Вообще бульвар – относительный новодел. Да и сам район Хорошево-Мневники не сказать что старинный центр. В самом начале бульвара идут какие-то работы (газ?) за временным забором, а в конце памятник генералу Карбышеву. Дорожки, вымощенные плиткой, канализационные люки, которыми я страшно увлечён, деревья, скамейки, туалет, менты.

Много гуляющих.

Разных.

Много азиатов.

Очень много азиатов.

И собачников.

И детей.

И стариков.

И спортсменов, бегущих.

Вообще – всех.

А как начались карантинные послабления, ездили в магазин «Пушкинская лавка». Это такой дивный магазинчик на Земляном валу, в который я попал, едва сойдя с поезда Нижний Новгород – Москва. То есть вышел с Курского вокзала, завернул за угол, прошел всего-ничего и наткнулся на книжный магазин с приличными для русского интеллигента ценами. И объявлением «Требуется продавец».

(Кстати, прочитал в купленной там книжке совершенно забытого писателя Василия Георгиевича Федорова, как два каторжанина после нескольких дней блуждания по ледяной степи выходят к какой-то одинокой избушке и на вопрос, кто там, отвечают: мы, интеллигентные русские люди.

Ну, вот я в этом плане про цены.)

На улице плюс двадцать пять. Едем из Шереметьевского приюта, с включенным в салоне «Ниссана» кондиционером, тормозим на светофоре. Я вижу в окно мужика за сорок – морда, живот, из шортов торчат белые, как мороженое, отвратительные пожилые ноги, спрашиваю у Мантуси, где все тонкие и интеллигентные московские

люди? Где? Мантуся смотрит на светофор, потом на меня и отвечает: я тут всю жизнь живу и из таких знаю только одного...

Меня?

Ага.

В Шереметьевском приюте – необычно. Мне.

Я человек неопытный в этих делах, и не только такой огромный приют, как Шереметьевский, но даже такой относительно маленький, как Овсово, раньше не видел.

Потерянные (изначально тут было слово покрепче, более точно передающее суть проблемы) вещи.

Мантуся рассказывает: у меня была жёлтая, жёлтая-прежёлтая, представляешь, кожаная куртка... Косуха... Из толстой, но мягкой кожи. Её Габсбург своему приятелю подарил без моего согласия... Я её так любила...

Я говорю: представляю... А раньше говорили, что ко-сухи покупают так – ставят застёгнутую на землю, и если она не падет, – берут.

Нет, мягкая...

Потерялся один из ребят-овсевят (Мантусин термин) – маленькая, но почему-то цепная (да понятно почему – идиоты держали) серая болонка Ёжик. Лёня повез собак в ветеринарную клинику в Сокольниках, там Ёжик поднатужился и вывернулся из разношенной шлейки. Дал дёру. Искали всем миром. Ну, насчет мира не знаю, а мы с Мантусей точно три дня рыскали по Сокольникам. В основном вокруг Егерского озера, и ещё ходили, объявления расклеивали.

Потом вызвали специальную тётю – ловчиху, которая сказала, отстаньте от собаки, перестаньте пугать животное, я сама всё сделаю. И ничего не сделала, конечно. А местные сокольнические люди, которых мы расспрашивали, говорят, что Ёжика видели, приманивали, но он не идёт ни в какую, встанет за метр-полтора и стоит, смотрит, улыбается.

Маленький, серенький, красивый, напуганный и несчастный.

На Егерском пруду – утки. У них там пара домиков на плотках, и они то сидят вокруг жилища, то спрыгивают и плывут к берегу жрать белый хлеб.

Красиво – вокруг многоэтажки, вышел из подъезда – опа! Вода, пруд.

Цены, поди, дерут за квартиры.

От подъездов и кругом пруда вымощенные дорожки, на которых, само собой, полно автомобилей. Плохо сочетается – вода, утки, остров посередине, умиление и пасторальность, и тут же машины. Хотя в воде полно плавающего говна – пустых пластиковых бутылок, разорванных упаковок от чего-то съестного и так далее.

Так что – нормально сочетается – живите дальше, товарищи.

Вечером заходим в подъезд, впереди пара, она – ему: держи себя в руках!

Мантуся: чего это?

Только вошли, вспомнили, что не купили творога, возвращаемся, а пацан за нами выходит, обгоняет, летит ракетой.

Матуся: а-а, вон оно чего, за презервативами побежал.

Ездили в Шереметьевский приют и гуляли с испанским алано (испанским бульдогом) Стамбулом. Мантуся, как его увидела, тут же затряслась от счастья. Всё, говорит, берём. Моё! Никому не отдам! А до этого она два месяца выбирала, металась, кого взять. Месси? Серёгу? Радоми-ра! Рафаэля? Рэя! Ладу? Принцессу? Это только в Овсово, а сколько было пересмотрено и подробно обсуждено фотографий в интернете с десятков передержек, приютов и просто собачьих сайтов.

Бультерьеры.

Питбули.

Мастиффы.

Стаффорды.

Амстаффы.

Даже лабрадоры и сенбернары.

(Не считая благородных дворян.)

Ах, какого огромного сенбернара Моцарта забрали при мне из Шереметьевского приюта! Красавец – глаз не оторвать. Приехала какая-то молодая парочка с собственным ветеринаром, осмотрели подробно все собачьи места и забрали. Я всё это время болтался рядом – любовался собакой. До слёз. Ну, почти до слёз. Там вообще, в приютах, с эти делом легко – пустить слезу.

Сентиментальному сердцу.

Шли со Стамбулом по большому кругу. Собак накануне чем-то накормили (чем-чем, дуры какие-то сосисками из магазина) и у них, у многих, открылся понос. Стамбул долго волновался, искал место, а потом всё-таки пристроился и сделал, что хотел. А он очень хотел. Сразу повеселел и принялся с любопытством изучать опушку лесопосадки. В отличие от собак, с которыми я гулял ранее – корсо Комбатом и питбулем Кириллой, Стамбул особо поводок не тянул, не капризничал и проявлял больше интереса к человеку, чем к дороге. Ко мне. Тем-то собачкам положить на проводника, честно говоря, приютские они, а мы им все, приходящие, одинаковы, ну ходим и ходим, ну и что? Не успевают привыкнуть и довериться.

Я их понимаю.

Канализационные люки в Сокольниках прекрасны. В том плане, что много старых, ещё советских, с необычным рисунком на крышках. Один с огромным вздыбленным фаллосом (телефонный).

Показал Мантусе, хохотала как ненормальная.

Не знаю, с какого я ими увлекся, люками.

Как-то заметил у себя в Мневниках интересный, подумал, надо сфоткать. Сфоткал. И понеслось. Сейчас уже несколько десятков снято – и все оригинальные, нет повторяющихся.

Пришлось разбираться с маркировками. Датами и рисунками.

Д – это дренажные, дождеприёмники.

МГ – магистральный газопровод.

К – городская санитарно-бытовая канализация.

В – водопровод.

ГТС – городские телефонные сети.

ТСОД – технические средства обеспечения связи (светофоры).

Попадались даже НКС – народный комиссариат связи.

Когда уезжали из Сокольников, так и не найдя Ёжика, слегка заплутали и тут же вспомнили милицейского водителя из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», который говорил про бандита: «В Сокольники рвётся, гад, там есть где спрятаться».

Это точно.

Через два дня нашли Ёжика.

Ловчиха выследила из засады и поймала.

Пульнула в него чем-то, Ёжик стал вялым и инертным – дал себя сцапать.

Все страшно обрадовались и развеселились. Стали интенсивно переписываться в интернете (написал и подумал, а где ещё? Не на почту же бегали) и поздравлять друг друга с удачным завершением операции «Ёжик в дурмане».

Теперь его, Ёжика, будут лечить, сначала, конечно, сдавать анализы, а потом смотреть, что и как.

А прекрасные жители Сокольников – прекрасно жить дальше.

Ездили в Шереметьевский приют, гуляли с Сабуром и Стамбулом. По страшной жаре. Собаки ещё туда-сюда, а я совсем спёкся, залез в кусты, обнялся с Сабуром и затих. У меня есть друг Егор Сабуров, так Сабур – вылитый он. И не только из-за совпадения имён, но и характеров. Тот, который человек, – чемпион мира по боксу среди юношей. И Сабур такой же – сильный и скромный. Я говорю Мантусе: о! вылитый Егорыч. А Мантуса отвечает: так его и назови. – Сабура? – Нет, Стамбула, посмотри в его добрые глаза и назови.

Я назвал.

И он посмотрел на меня своими добрыми глазами.

Я слегка попятился – а так – ничего страшного.

Поехали домой в отличном настроении.

По дороге обсуждали стул Егорыча (собаки, а не моего друга) – жидковат. Это потому, что его разные дуры всяким говном кормят в офисе, объяснила Мантуся. Каким? Ну, сосисками, например, или ещё чем.

Да я знаю.

А когда вернулись, то я пошёл тренироваться на открытую площадку, что у нас здесь – на бульваре генерала Карбышева.

Правда, я об этом уже писал.

Мантуся привезла от дочки Тайру и Чейси – чудесных мопсов. Толстых, красивых и добрых. Котлеток. Они вкусно пахнут собачатиной и смешно хрюкают.

Я с ними фотографировался.

Потерянные вещи.

У моего отца была великолепная «летчицкая» кожаная куртка со множеством молний (даже на рукавах) и карманов. У нас её украли в Ленинграде. Приехали мы в очередной раз в гости к родственникам – меня привезли – припарковались под окнами дома, и ночью машину взломали. Спёрли только куртку. А что там ещё было брать? В «копейке» советского инженера. Набор сувенирных открыток «Ленин в Разливе»?

Вечером Мантуся говорит: я там люстрочку приглядела... только она дорогая... ну, так... не то чтобы... но я со скидкой... взгляни, а?

Где?

Набери – люстры Тиффани.

Директор тарелок.

Помню, был я в Москве ещё в том веке, в восьмидесятые годы, в самом начале восьмидесятых, – школьником старших классов. Ездил в компании с приятелем (через много лет севшим за убийство) и одноклассницей. И пошли мы куда-то поесть, так – столовка дешёвая в центре. Вонючая и мокрая. Очередь в полквартиры. Стоим, двигаемся,

почти добрались до раздатка. И тут влезает вперёд всех некий типок. Такой московский – наглый, вёрткий и с юморком. Влез и кричит тётке раздатчице – а я ваш коллега... тут за углом работаю... в кафешке... директором... тарелок!

Врал, конечно.

С тех пор я так себе их и представляю – московских директоров тарелок.

Правду сказать, их всё меньше.

Или мутировали они, и я ещё не выявил новых признаков вида.

Поезд в городе.

Вася Фёдоров жил на нашей улице.

Он был сумасшедшим, так все считали. Теперь, по прошествии стольких лет, я понимаю, что это мы были чокнутыми, а не он. Но тогда я находился под властью общественного мнения и не умел мыслить самостоятельно. Сам давать оценку людям и событиям. Для меня долго работала только система обид. Когда тебя обидели или нет. Были ласковы или грубы. Это детская система, естественно. Может быть, даже собачья.

Вася Фёдоров никогда не обижал.

Вася Фёдоров летал с крыш наших домов, как блаженный, как те первые русские изобретатели крыльев в фильмах Тарковского, мне кажется. Привязывал некую конструкцию к рукам, из перьев, бумаги и прутиков, поднимался на крышу четырёхэтажного жёлтого дома – у него были или ключи, или он просто выбивал дверки будочек, выходов, и смело нырял вниз – на провода, развешанное на верёвках стираное бельё, утопанную землю, траву газона или асфальт дворов.

Почти никогда не летел – падал.

Разбивался.

Крылья его – были смешны и ненадежны.

Как и у большинства из нас...

А потом мы сделали с ним паровоз.

Из старой, выброшенной на деревянную белённую известью помойку в глубине двора, проржавевшей бочки и

куска водосточной, изорванной каким-то сказочным гигантом трубы. Колёса взяли от сломанного велосипеда, от него же чёрную масляную цепь – мы рассчитывали крутить педали, если вдруг кончится уголь для топки. И руль. Наш паровоз управлялся рулём с ручным тормозом – что по тем временам было большой редкостью.

Ручной тормоз, я имею в виду.

На этом паровозе, который Вася называл «Иван Палыч Коротыркин», мы уехали путешествовать. План был такой: сначала Греция, потом Алеутские острова, а затем Гоби. Это были те места, где мы с Васей всю жизнь мечтали побывать. Доехали мы, как вы сами понимаете, только до соседнего двора, но и это немало. Иные не доезжали и до него. В соседнем дворе нас с Васей сильно избили, паровоз наш сломали, трубу расплющили в лист и велели больше не появляться.

Тогда мы решили строить самолёт – чтобы как можно меньше соприкасаться с окружающими людьми.

Как птицы.

Как соколы.

Как гордые и недоступные обитатели небес.

Вышагивая Москву.

Я вчера опять ходил в книжный магазин – «Пушкинская лавка» на Земляном валу, через Подсосенский, Лялин, а потом Яковоапостольский переулки. Я там с okazji оказался рядом. Мантуся петь приезжала в хоре. Видел в арке Лялиного переулка бездомных алкоголиков, лежащих в удобных оранжевых нишах. Алкоголиков грязных, страшных и заискивающих. Один сказал я не помню что, он хотел обратиться, а я разговаривал сам с собой и в ответ на его слова что-то произнёс. Допустим, «ветеран войны». Тогда он пожелал мне всего самого наилучшего. Или вроде того. Я не помню, хоть убей. Но чего-то такого не общеупотребительного, чего-то достаточно оригинального.

Жалостливого.

Не помню.

Жалко и страшно, да.

А в магазине душно (я постоянно вытираю пот со лба) и много старых книг. Нашёл Василия Аксёнова, первое издание романа «Пора, мой друг, пора», 1965 года – я тогда ещё не родился. Обожаю такие книги, 60–70-х годов прошлого века, любимых писателей. У меня есть Шукшин, Аксёнов (сборник рассказов «На полпути к Луне»), Гладилин, Кузнецов, Войнович, Токарева, Окуджава, Матвеев, Драгунский, Искандер.

Повесть Кузнецова «Творимая легенда» я читал три раза.

К слову.

По рассказу Аксёнова «На полпути к Луне» снят короткометражный фильм. Джеммой Фирсовой.

Писателя Петра там играет сам Василий Павлович.

Потерянные вещи.

У нас однажды в Ницце мобильник спонерили, говорит Мантуса. Пили мы коньяк с пирожными на Английской набережной и на соседнюю лавочку телефон положили, а из него музыка залихватская – ну, мы танцуем. Мимо спортсмены бегут все в белом, там все бегают – для здоровья, увидели телефон, хватя его и дальше припустили что было сил.

Дорогой?

Ага, со стразами от Сваровски.

А вы?

А что мы? Как плясали, так и продолжили. Не гоняться же за ними.

Нам привозили на такси на одну ночь собаку без имени. Точнее, я её (вот «её» собаку? Или «его», кобеля всё-таки?) назвал Янек, девочки в Овсово (куда мы её утром отвезли) Граф, а потом Луми. Собачьи имена, так я понимаю, дело непростое и небыстрое. И есть вариант, что начал, например, пёс жизнь с «Шарика», а закончил, как, допустим, «граф Рочестер», Джон Уилмот 2-й который.

Всякое бывает.

Привезли переночевать на коврике. На который Луми (а тогда еще Янек) тут же спокойно и улёгся. Понюхал-по-

ходил сначала всё, а потом – тихо-мирно улёгся, пожевав собачьих консервов.

А привезла нам его очень милая молодая пара. Из самого центрального центра – они на Патриарших гуляют (где и подобрали бездомного Луми), а живут на Арбате. Он такой скромный, а она такая высокая и слегка постарше, так – самую малость. Поскольку пёс сам идти в подъезд не хотел – боялся или чего, – понёс его туда он – юноша Никифор – не особо крупный человек. Несёт и отдувается. На второй этаж. А мы с его женой Мариной рядом идём и подбадриваем. А он отдувается. Наконец я ему говорю: хочешь, помогу? Нет, отвечает мне Никифор, я хочу развестись.

Посмеялись.

Потом Марина говорит, надо в околоток, что ли, сообщить, вдруг это чья-то собака? Бомжей каких-нибудь? Вот будет скандал.

А Никифор спрашивает, околоток, это что?..

Луми – страшно интеллигентный пёс. (Тоже гулял строго по Патриаршим прудам, ну, иногда ещё на Чистые заходил.)

Существенно интеллигентнее меня, да и всех моих знакомых. Хотя нет, не всех – есть пара человек, кто соответствуют его уровню. Не больше.

Просто запредельной деликатности.

Невозможно не влюбиться.

Когда отдавали – Мантусик внутренне взрыгнула.

Жизнь человека.

Сначала он ходил в ближайшую булочную, как все.

В одиночку.

В сопровождении только своих мыслей.

Одетым в туфли, пальто, шляпу, кашне и перчатки.
С элегантно плетёной авоськой в руках.

Здороваясь с соседями.

Морщась на незнакомцев.

Так продолжалось довольно долго.

Потом он стал ходить с собакой.

(Мускулистым, тренированным питбулем, купленным в питомнике «для защиты и охраны».)

Одетым – так же.

С мыслями в голове и плетёной авоськой в руке.

Здороваясь с соседями...

Мысли были невесёлыми.

Незнакомые люди старались его обходить.

Затем, в дополнение к питбулю, была приобретена тяжёлая сучковатая трость из дуба.

С теми же целями.

Одеваться он стал проще – в чёрный псевдоматросский бушлат, вязаную шапочку и высокие штиблеты со шнурками.

Вместо авоськи – рюкзак.

Здороваться с соседями почти перестал.

На незнакомых реагировал опосредованно.

Следующим этапом была бы покупка пистолета.

Но что-то не сложилось с разрешением. С бумагами.

Он исчез с улицы.

Неизвестно, кто и как покупает ему хлеб. И покупает ли вообще. И что стало с собакой.

Соседи его не вспоминают.

Мантусик – гений доброты.

Не то что некоторые, которые, как оргазм, умеют только имитировать её – доброту.

Сгоняли в Шереметьевский приют, взяли там амстаффиху Ронду и отвезли её на УЗИ в Долгопрудный. Врачиха позырила на нас и сказала: опять приютские? А то, ответили мы, детдомовские, и поживее давайте, некогда нам.

Но её такими методами не возьмешь – только засмеялась и давай елозить Ронде по животу специальной штукой.

Установила, что мочевого пузырь увеличен – значит, хронический цистит. Будет Ронда лечиться.

Мне в клинике понравилось – чисто и много собак, два огромных леонбергера, английский бульдог – страшный симпатяга, наши – Ронда и Вега, за углом тётя стрижёт

болонку, весело, в общем. Когда мимо проходили чужие собаки, я хватал Ронду за голову и держал – бойцовская собака из Владикавказа, притравленная, с так называемой зооагрессией.

А вчера, когда гулял по парку, видели вест-хайленд-терьера. Точнее, не так, он увидел Мантусю, она ему улыбнулась – и всё – терьер упёрся всеми четырьмя лапами в асфальт и не желал никуда двигаться, пока всласть не нацелуется с Мантусей. Но хозяева оказались сильнее, вцепившись в поводок, потянули изо всех сил, и бедная собачка так и уехала за ними, царапая когтями асфальт.

И это, заметьте, Мантуся только улыбнулась.

А если бы полезла обниматься?

Поезд в городе.

Вася Фёдоров – человек чистой души и таких же помыслов. После того как мальчики из соседнего двора сломали наш паровоз, а с самолётом у нас ничего не вышло, по причине отсутствия пропитанного специальным составом пергамента на крылья, мы решили сооружать скворечники.

Наш двор вообще имел склонность к птичьим полётам – многие старшие товарищи наших старших сестёр держали на крышах сараев голубятни из досок и сетки инженера Рабица. Но мы с Васей в неистовом поиске – шли дальше. Мы стали изготавливать дома́ улучшенной планировки для зябликов и трясогузок. Вася на этом настаивал – на зябликах и трясогузках. Тут смысл был именно в высоком предназначении. Ведь все знают, держать собственных голубей – это не только хобби, но и изрядные эгоизм с выгодой, а строить жильё для ничейных птиц – бесшабашность и самоотдача.

Мужчины и юноши нашего города из-за этих голубей готовы были друг другу головы поотрывать. А из-за трясогузок – нет. То есть увлечение ничейными птицами гуманнее и бескорыстнее, объяснял Вася.

Первый скворечник, а точнее зябличник или трясогузник, мы построили из деревянных плохо оструганных плашек от винного ящика. Разобрали один ящик и сколотили другой. Но глухой, только с отверстием для влёта и вылета птиц и палочкой для их же непринуждённого сидения.

Покрасили белилами от помойки. Повесили над крышей дяди Толиного (он нам благоволил) сарая. Приколотили и привязали шпагатом. На длинной палке – ей в соседнем дворе бельевую верёвку раньше подпирали. Такая вся коричневатая, заглаженная ладонями, сточенная в местах наибольшего хвата, просмоленная ветрами дальних странствий, хозяйственным солдатским мылом и стиральными порошками «Лотос», у кого были, палка.

Система следующая – вешали голубоватые простыни с жёлтыми пятнами (особенного у Генки Галкина) и габардиновые галифе на провисшую веревку, а потом поднимали и закрепляли её с помощью палки.

У нас во дворе у всех семей были свои сараи, что стояли в длинную череду напротив подъездов. Такие же просмоленные, как и палка-подпиралка. Цвета старого капитанского чая. В этих сараях держали абы что. Семья Запекановых – дрессированного жирафа, что питался сенном и бананами, семья Клич – сломанный велосипед (тот самый, от которого мы взяли колёса для паровоза), гнущее и дырявое, серое цинковое корыто, сломанную клетку для говорящего попугая и ржавые лемехи от плуга. У семьи дяди Толи Брюханова в сарае была мастерская-распивочная с тисками часового мастера, и все мужики после работы, а также пенсионеры и ветераны с деревянными культями вместо ног собирались каждый вечер там. Играли в домино около двери, обсуждали текущие политические события, дымили и пили что придётся.

У семьи Васи Фёдорова сарая не было. Может, потому что не было и самой семьи. А меня в наш сарай не пускали после того, как я, взяв оттуда спортивную рапиру своей старшей сестры и открутив с кончика клинка железный «стаканчик» с пимпочкой, проткнул насквозь негодая в честном поединке-дуэли.

Негодяй тоже жил в нашем городе.

В каждом городе есть свой негодяй.

Но в нашем это был Оникс – ябеда и жадина.

Потерянные вещи.

Мантуся.

У моей мамы был кошелек из ГДР – кожаный, тончайший, изумительный – внутри красная, как ад, кожа, а снаружи – чёрная с золотым тиснением. Она его мне подарила, конечно. У меня его украли. В метро в кассу стояла за билетом и чувствую, как у меня из сумки тянут. Отчётливо. Сумка сзади висела, на попе. Поворачиваюсь, а там молодой, красивый и высокий парень. С наглыми глазами – всё, как полагается. Лыбится. Я ему говорю – вы у меня кошелек украли. Отдайте, он мне очень дорог. А он – обещите – я ничего не брал.

И?

Всё.

Всё?

Да.

Ревела.

Ревела.

Ревела.

Сам я вещей сроду не терял. А если и терял – не помню – пьяный, поди, был. Хотя чего-то время от времени и не досчитываюсь. Например, настоящего советского мохерового шарфа, кожаных ботинок «Рифли» и такой же кожаной зимней куртки. Хоть убейте, ума не приложу, куда всё это делось. И когда. Просто однажды утром проснулся – а вещей нет.

Как не было.

Но ведь были же.

Поезд в городе.

За коричневую палку-подпиралку и шпагат нам с Васей досталось так, что не хочется вспоминать. И мы переключились на бездомных собак. Мы устроили им пионерский лагерь «Артек» в нашем палисаднике. За деревянным забором, если смотреть с улицы, и перед ним, если из окна кухни.

Нам вообще хотелось спасти всех на свете.

Не всегда получалось, но если получалось – мы были счастливы.

В общем, мы поселили в шалаше из старых газет и тряпок первого постояльца – настоящую, беспримесную дворянку Полкана Поликарповича Попова. Там же на время летних каникул поселился Вася. Они с Полканом Поликарповичем ели вкусный ржаной хлеб с крупной кристаллической морской солью и пили полезную пресную, почти колодезную, искрящуюся воду, которую я приносил им из дома, предварительно набрав в банку из-под крана. Не банка из-под крана, а вода. То есть банка была из-под солёных пупырчатых огурцов, которые нам давала жена дяди Толи Брюханова – тётя Маша, а вода из-под водопроводного крана.

А не наоборот.

Часто же наоборот.

Но не в этом случае.

Полкан Поликарпович Попов смотрел на Васю по утрам своими жёлтыми, как янтарь, глазами, и в них жила невысказанная мысль о завтраке и любви. Тогда они съедали по куску солёного и ноздреватого хлеба пятого комбината в Канавине, припасённого с вечера, запивали синей прозрачной водой и шли гулять. Чуть позже, через десять-пятнадцать минут, к ним присоединялся я. И мы втроём убегали на пустырь, где обучали Полкана Поликарповича специальной науке преодоления препятствий. Рвов, заборов и бревна через ручей.

Первым по бревну полз я, затем Полкан Поликарпович, а последним – Вася Фёдоров.

Проинтуитил – омерзительный глагол.

Ездили с Мантусей поставить свечки в храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе. Я там погулял по двору и нашел кенотаф – надгробие князя Ивана Александровича Багратиона (1730–1795), отца генерала от инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона (1765–1812), героя 1812 года. Там и погибшего, кстати, там, в смысле, во время Бородинского сражения. Его тяжело ранили в бедро, и началась гангрена. Князю было 46 лет. Умирал он очень благородно – как полагается воину.

Раньше каламбурили – Багратион – Бог рати он.

Там же есть надгробный камень двух братьев – князей Цинциановых. И пары младенцев – детей статского советника Карпова.

Само кладбище было разорено в 1982 году, говорят, под давлением высокопоставленных жильцов (партийных бонз?), стоящего напротив храма «генеральского (какая печальная ирония) дома». Им не нравился вид из окна, напоминающий о бренности существования.

Несколько надгробий уцелело...

«Генеральский дом» красивый.

В верхнем этаже потомки генералов – алкоголики и нарики – затыкают выбитые стёкла в окнах цветными тряпками.

О бренности более ничего не напоминает.

Ну, кроме самого храма, хотя тут как посмотреть – может, о скоротечности, а может, и, наоборот, – о неизбежности и порядке.

Опять сидел в фойе клуба. Детского творчества, что ли? Надо будет вывеску внимательно прочесть. Тут Мантуся в хоре поёт казачьи и русские народные песни, около Лялиного переулка, я уже писал. А я её жду.

Читал аскёновский роман «Пора, мой друг, пора», и как-то он перекликался со всей обстановкой, как-то это все это было очень по-московски. Сидеть, читать Василия Павловича, по соседству с Лялиным переулком. В тёплый летний дождь. Июльский.

А у него в романе главный герой живёт на улице Мосфильмовской, и ко мне тут же, естественно, подошёл симпатичный толстый дядя в русой бороде и роговых очках, и спросил: дождь идёт?

Я поглядел в окно и ответил: идёт.

Тогда дядя попенял дождю: эх, а мне ещё на Мосфильмовскую добираться.

Кто бы сомневался, тут же удовлетворенно согласился я.

И возликовал.

Искали болтавшуюся по Бульварному кольцу худющую кошку марки мейн-кун. Кто-то написал, что она уже две недели гуляет вокруг да около. Нашёл я. Заглянул в какой-то двор, увидел дворника-узбека в спецовке и кошку.

Началось всё, как всегда, накануне глубоким вечером. Мантуся слазила в интернет, на свои собачьи-кошачьи сайтики, страшно разволновалась и велела ехать, искать потерявшуюся кошечку, а потом везти её в Овсово. Я, что тоже не менее естественно, послал всех, кроме Мантуси, конечно, на хрен. И кошечку, и Овсово, и Бульварное кольцо вместе с кошачьими сайтами. Но это что? Это судороги. Робкая попытка отстоять своё реноме мятежного героя и неприступного мачо. Подорвался под утро и поехал искать, конечно. Нашёл. Мантуся меня сфоткала, а я повесил фотографии на ФБ. Обрушился шквал лайков.

Вот – да.

Пишешь умный (я надеюсь) пост – реакция так себе.

Кошечка – поток. Ниагара.

Кошечки – наше всё.

Но она и правда очень красива со своими рысьими ушами и кисточками на них, со своим хищным взглядом на окружающее. Найденная тощая мейн-куниха.

И очень наглая.

Кстати, меня попросили её переименовать. Мол, кто нашёл, тот и даёт имя (предыдущее – Марфа – на ошейнике написано, если это её ошейник). Я думал недолго, минут пять, и назвал – Агата.

В честь Кристи.

Говорю Мантусе: ты моя первая любовь.

А она: дай бог, не последняя.

Кстати, а что же это я не отметил, как прекрасно Бульварное кольцо в шесть утра июльским днём и конкретно Покровский бульвар.

Где ворота, где кино.

Мы этот фильм, «Покровские ворота», любили с младшим братом, мы даже пушкинское стихотворение из него выучили наизусть. Мы и сейчас его, кино, а не стихотворе-

ние, да и стихотворение тоже, любим. Брат на небесах. А я на земле. Любим, но немного уже по-другому.

Хоботов – прекрасен, Савва Игнатич – тоже, Велюров – тем паче, даже Орловичи – великолепны, а вот за остальных не скажу.

Не буду.

А Москва – да – обвивала меня, то Бульварным кольцом, то Садовым кольцом.

С собакой никак не решим. То Мантуся умирает, хочет Стамбула, то Танка, то Луми, а то вообще кошку.

Это называется – ответственный выбор.

(На самом деле, она, конечно, хочет забрать всех. И именно то, что надо выбрать кого-то одного, загоняет её в угол.)

Патриаршего интеллигента дворнягу Луми, она зовёт – братец Люмьер.

Вчера товарищу звонил, калякали, а у них там компания сидит, бухает – обрадовались, стали про меня что-то тереть, и один говорит громко так, что даже у нас в комнате слышно – да он вообще без бабы не может... И хохочут.

Мантуся тут же страшно обрадовалась и давай им кричать: да-да! Да! Он даже при бабе без бабы не может! Вот до чего дошло!

Поезд в городе.

В конце лета мы втроём – я, Вася и Полкан Поликарпович собрались на рыбалку. Срезали себе ореховые удилища в ближайшем лесу за промзоной, нашли тонкую капроновую веревку, винных пробок от испанского портвейна на поплавки и наделали крючков из гвоздей. А Полкану Поликарповичу – из иголки согнули. Иголка была от маминой брошки. Потом Вася накопал червяков, сложил их в банку из-под прибалтийских шпрот, которую нам дал дядя Толя Брюханов, поплевал сверху солёной слюной для клёва, говоря его словами, «превентивно», и пошли на Речку-срачку.

Тиха ночь на Речке-срачке.

А утро – нет.

Только встали мы вдоль берега и закинули рыбачьи снаряды, как из-за поворота показался местный пастух Егорий – гроза территорий.

Даже можно сказать – фронта.

Вышел, встал и смотрит.

Минуту смотрел, две, пятнадцать, полчаса. А у нас ни клёва, ни поклёвки, Полкан Поликарпович уже нервничать начинает и тихонько порывивает.

Что это вы, говорит тогда пастух Егорий, на моей территории рыбу уклейку ловите? (А уклейкой он называл любую рыбу из Речки-срачки, потому что они, рыбы, питались отработанным клеем, который сливал в речку местный завод, изготовлявший детские пластмассовые игрушки модели «Пупс».)

Нет, отвечаем мы, ротанов рыбачим.

А-а, тогда соглашается Егорий, ротанов можно. Они здесь не водятся. Только вы их перед употреблением обработайте хорошенько.

Да мы не себе, успокаиваем мы Егория, мы – Серебряковым из восемнадцатой квартиры.

Этим – не повредит, подтверждает наши догадки Егорий и уходит дальше – контролировать территорию.

Пришёл на открытую площадку спортивную недалеко от дома, что в сквере, жать лёжа. Накидал себе блинов, конечно, от души. А в сторонке три мужичка (джентльмены в годах) в трениках с лампасами тусуют – пукают, ляжки кое-как тянут да трут за политику. Я жму. Смотрю, заволновались. Жму. Наконец, один не выдерживает, подходит делегатом и спрашивает, много жмёте, килограммов восемьдесят будет? Как минимум, отвечаю. А простите, возраст у вас какой? Пятьдесят четыре. Тут он обрадовался страшно и кричит своим: да не, он ещё молодой, а потом мне: а то мы подумали...

Не договаривает и уходит.

В Овсово в выходной ездили.

А там:

Дворяняга – любимчик Луми с Патриарших прудов – интеллигент и поэт.

Добрейшее сердце – полосатый пацанёнок метис ка-де-бо Серёга.

Его друган, метис чёрного терьера, бескомпромиссный рыцарь Рэй.

Питбуль Месси – ракетная установка системы земля – воздух – земля.

Нежная и преданная.

В общем, компания все та же.

Погуляли с ними и домой поехали.

Счастливые.

Серёгу вернули.

Молодая пара. Говорят – диван жрёт. Мантуся объяснила, что это от застенчивости. Порекомендовала собачьего психолога. Но молодые люди ни в какую, не надо, и всё.

Собачники, конечно, надулись, стали их осуждать и порицать.

А я не буду.

Нет.

Не полюбил их Серёга.

Не прошли они у него испытательного срока.

Я, например, в юности был большой эстет и такой же дурак. И всяких официально признанных поэтов презирал. В частности, Симонова. Помню, доказывал одной, как бы её назвать, тогдашней своей родственнице (родной тётке жены) всю несостоятельность Симонова как поэта на фоне обожаемых мной: Мандельштама и Пастернака. А сейчас я думаю, что Симонов – большой поэт. Как и, допустим, Евтушенко.

Константин СИМОНОВ

АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
В СЕВАСТОПОЛЕ

Здесь нет ни остролистника, ни тиса.

Чужие камни и солончаки,

Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.

И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.

Шумят тяжелые кусты сирени,
Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На английский манер стрижет траву.

К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.

Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.

На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.

Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событиях
На русский второпях перевели.

Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:

«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!»
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дрыхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.

1939

К слову.

Откопал в «Пушкинской лавке» парочку книг Василия Павловича Аксёнова, шестидесятых годов. Для меня в них есть какое-то огромное очарование – книги, как произведение искусства, в том смысле, что книга – изделие, продукт. «Пора, мой друг, пора» (про эту уже писал) и «Жаль, что вас не было с нами». А «На полпути к Луне» у меня уже есть, таким образом я, получается, собрал все его первые книги (три первых?).

А в букинистическом на Арбате – книжку Ринга Ларднера, которую я ищу много лет. Мне её когда-то, очень давно, в начале восьмидесятых годов прошлого века, дал Серёга Тягунов, рекомендовав к чтению. Но тогда почему-то не получилось (не помню почему). Потом я и сам о Ларднере что-то слышал. Где-то, как-то читал – всегда отрывками, кратко и немного, а между тем, если так можно сказать, из него, спортивного обозревателя и газетного юмориста, вышли кумиры шестидесятых. И папа Хэм, и Фицджеральд. Вообще, очень симпатична и романтична для меня эта сфера жизни, отлично описываемая Ларднером. Мир спорта: бокса, футбола, бейсбола, мир музыки: нью-йоркских дансингов, бродвейских мюзиклов, мир коммивояжеров: маленькая «двухэтажная Америка», непередаваемый смак описаний захолустных, провинциальных и столичных городов в рассказах и О'Генри, и – Ринга Ларднера.

И конечно, именно его вечеринки и роскошный дом описал Фицджеральд в «Великом Гэтсби».

Я часто что-то нахожу между страниц в книгах. То, что люди используют как закладки. В последний раз в трёх разных книгах обнаружил:

Календарик за 1972 год «Госстрах заключает договоры страхования жизни».

Календарик за 1979-й «Общество книголюбов. Все-союзному добровольному Обществу любителей книги – пять лет».

Проездной билет Ленинград – Минск, купейный вагон скорого поезда, за 15 полновесных советских рублей.

Ходил я гулять с Мантусей в сквер на бульваре Карбышева.

В последний день перед переездом на Руставели, и настроение было, прямо скажу, тревожное – думы одолевали.

Сели на лавочку.

И только когда уже собрались уходить, заметили, что с одной стороны, с левой, на скамейке написано серебром: «Пока всё хорошо. Пока всё хорошо. Пока всё хорошо. Всё хорошо. Пока». (Пока. Всё хорошо.)

А с другой, с правой, – свечка восковая церковная приделана к спинке скамьи, закручена вокруг бруса фитилём вверх.

Новая, с необгорелым фитилём.

В выходные ездили в Овсово.

Гуляли со всеми.

С тем самым Ёжиком, которого, маленького шкета, искали всем миром в Сокольниках (спасибо Сокольникам).

С Серёгой, которого сначала забрали какие-то молодые люди, но потом вернули обратно – не справились (ну, ничего).

С красавцем и жизнелюбом Рэем.

С Радомиром, который вырос в целого Радомирища-глаз-не-отвести.

С интеллигентом, любимчиком Луми-Янеком.

С великолепной ракетой Месси.

И с очень грустной и очень тихой Сандрой, прибывшей из собачьей душегубки (загрустишь тут, пожалуй).

Те, кто в этой жизни предал собак, в следующей сами будут собаками и испытают всё на себе – в полной мере.
(Хотя кто я, чтобы судить и предрекать подобное.)

Мы с Мантусей вернулись на Бутырский хутор бабочек ловить.

У меня теперь всё есть:

Качалка в парке.

Рыбаки с карасями на берегу Гончаровского пруда.

Утки.

И идиоты под окнами.

Идиотов особенно много.

У Валентина Саввича Пикуля (1928–1990) недавно был день рождения – 13 июля. В связи с чем хочу заметить следующее.

Если я ничего не путаю, общий тираж его книг давно перевалил за полмиллиарда экземпляров.

И ещё хочу сказать, что он сделал за ленивых всю работу – перелопатил колоссальное количество материалов: книг, редких книг, редчайших книг, уникальных книг, журнальных и газетных заметок, исторических и не очень документов и т. д. и т. п.

Допустим, только заявленная библиография к «Нечистой силе» включает в себя 128 наименований.

Нам остаётся открыть его романы – и радоваться.

«Только большой художник может себе позволить болтаться по свету, мало чего соображая. Жить и умереть в Венеции, как это сделал в своё время Иосиф Бродский, не всякий сдюжит».

Мой старший товарищ Александр Николаевич Герасимов.

И я про это же.

Из района в район переедешь – всё внутри дрожит.

Вчера, например, собрался в Химки. Сначала вышел не на той остановке – метро «Тимирязевская». Прошел вперед ещё две – и опять не туда. Потом спросил дорогу

у бабы в бигудях, вернулся, как она мне посоветовала, и нашёл железнодорожную станцию «Тимирязевская». Но оказалось отсюда в Химки не уедешь. Тогда отправился на «Петровско-Разумовскую», но опять промазал, спросив у каких-то милых дам, где выходить, – и очутился в 7-м автобусном парке. А там чёрт ногу сломит в этих виадуках, тоннелях и надземных переходах – страх один и сплошная промышленная зона. Ну а уж потом, конечно, вернулся пешком к кинотеатру «Комсомолец» и там сел на комфортабельный электропоезд.

И через восемь минут был в Химках.

Или через девять.

И мне это уже начинает нравиться.

Мы с Мантусей счастливые талисманы. Все собаки, с которыми гуляли, пристроены. Мантуся подсчитала. Я говорю: да ладно? А она: да пожалуйста.

И выдала мне список.

Из Шереметьевского приюта, амстаффы и питбули:

Кирилла.

Комбат.

Стамбул.

Танк.

Из Овсово дворняги и метисы терьеров:

Рафаэль.

Рэй (уехал в Санкт-Петербург).

Кошка Агата (туда же).

Стамбула – испанского алано – жалко страшно, я на него нацеливался. Да и Танка – метиса питбуля с аргентинским догом, дважды преданного своим бывшим хозяином, но не озлобленного и веселого крепыша.

В деревню, бывшую старообрядческую, ездили.

Яковлевская Орехово-Зуевского района Московской области.

К Жанне Эдуардовне (руководитель хора и такой педагог, что даже мне, человеку, стоящему от народного пения

на космическом расстоянии, безумно интересно. Чего ни скажет – всё в кассу. Например, что у рок-музыки и фольклора единая экстатическая база. Только у рок-музыки всё направлено на обретение индивидуального кайфа. А в фольклоре – на гармонизацию личности и возвращение к истинному «я», такому, каким оно было задумано Богом в вашем конкретном случае. И смысл в том, что если человек живёт в народной песенной среде, культуре и традиции – он говном быть не может. Никак).

Чего в деревне гости делают? Да ничего.

Обедали, гуляли, ножики пуляли в мишень, песни пели (дамы, а я снимал всё на мобильник, пока меня не настиг солнечный удар, и я не свалился в траву в обморочном состоянии, почти без сознания).

С соседями здоровались.

Всё, вроде.

А, нет. Видел такую прелестную, чисто деревенскую картину. Подкатил мужик в серой куртке к соседской калитке на велосипеде, бросил его около калитки в траву. Таким привычным, одномоментным движениям – он ещё слезал, а велосипед уже падал, и присоединился к двум чувачкам, сидевшим на крыльце.

Закурил и начал с ними матерный неспешный базар.

Как обладатели лёгкой руки, получаем с Мانتусей просьбы погулять с той или иной собакой. С теми, кого надо поскорее пристроить. Или совсем «безнадёжными». В плане попасть в семью, конечно, имеется в виду.

С Шароном – слепым от рождения и прекрасным, влюблённым в людей псом.

С Альмой.

И ньюфаундлендом Арчи.

В выходные поедem.

У нас тут в двух шагах парк имени писателя Ивана Александровича Гончарова.

Одной стороной он на улицу Руставели выходит.

Другой на Добролюбова.

А третьей на одноименную Гончарова.

Плюс ещё улица Фонвизина, слегка вбок от него удаляется.

И остановка Всеволода Вишневского.

А в самом парке Ленин в 1921 году электроплугом землю пахал на испытаниях этого самого плуга. А у Ленина в трудовой книжке, в графе профессия, было написано «литератор», а не вождь, как все гражданские всю жизнь думали.

В общем, сами понимаете.

Возили в ветклинику кучу собак из Шереметьевского приюта.

Ну, мы конкретно – трёх (остальные на других машинах). Вот таких (все в именительном падеже):

Васка.

Саше.

Червена.

А в ветклинике, конечно, Вавилон, и понятно, что люди куда дурнее животных. Значительнее. В общем, порядок мы с Мантусей еле навели. Установили такое чередование – две наших приютских собаки, следом – домашняя, две наших – домашняя. И так далее.

А перед этим гуляли с Таканом и Винелли.

По выходным в Шереметьевском приюте – красота.

Народу полно, машинами всё забито под завязку.

Все веселятся, поют и гуляют с питомцами.

Ходим друг за другом, водим собак, как коней по кругу.

Повалились в траве, попили из кристальных родников (грязная вода в канаве на границе участка. И что интересно, Стамбула из этой лужи было не вытащить, а Освальда, например, и Саше – не затащить).

С:

Жаки – аргентинским догом. О, этот Жаки! Если я, наивный чукотский юноша, думал, что видел мощных и огромных собак, то Жаки меня в этом разубедил. Никого сильнее я не встречал. Я думаю, он меня (90 килограммов) с ног сдернёт, потащит за собой и не заметит. Но он, конечно, этого не делает.

То ли лень, то ли жалеет.

Освальд – метис корсо со стаффордширом (потом выяснится, что это канарский дог). Спокойный, умный, красивый, благородный, средних лет профессоре (как себя описал). Мантуся, естественно, тут же заныла: давай возмём, да давай возмём. Я говорю, пожалуйста, подождём три дня, чтобы решение было взвешенным, и возмём. Тогда она мне мстительно так отвечает, а спорим, его за неделю заберут, если мы не сейчас откажемся?

Поспорили.

Причем оба были уверены – заберут.

Томми – аргентинский дог. Его с нами водила волонтерша и общественница Даша – очень молодая и худая женщина. Я тут же решил Томми погладить по голове, как глажу всех собак, а она, Даша, закричала, осторожно! Осторожно! А Томми хоть бы хны, ткнулся мне носом в живот, понюхал и свалил вперёд на разведку.

Даша поглядела на меня со значением и вынесла вердикт: чувствует спокойную мужскую силу.

На что Мантуся в свойственной ей откровенной манере старого комсомольского вожака (комсомольской богини) согласилась: ой-ой-ой, от него все балдеют, и бабы, и собаки. Мне тут докладывали... Прямо чувствуют... да...

А учитывая площадь прогулочной поляны – намотали километров сто.

Ну, не сто, так десять.

Ну, не десять – пять.

В общем, намотали.

Вышагивая Москву.

В принципе, терпимо было.

Не скажу, что Москва сильно нравится – но мне везде нравится не сильно. Буквально везде. С другой стороны, я нигде толком и не был.

Пока сначала не насали под окно.

А потом не наблевали.

Нассал какой-то длинный и молодой днень пять назад.

А сегодня днём остановилась под окнами жёлтая машина МГТС, из неё вылез работник в фирменной спецовке,

подошёл под мои окна, от души наблевал, а потом спокойно сел обратно в машину.

Понятно, когда я вышел им чавки бить, они тут же газанули и свалили.

Я, правда, успел сказать вдогонку всё, что думаю. И про гондоны использованные, и про пониженную социальную ответственность. Тот, который наблевал пытался что-то вякнуть в ответ, но другой, видать, старший, ему посоветовал – заткнись, а водиле – поехали. И они поехали дальше.

И как всегда – я сначала сказал, а потом тут же стало стыдно.

Мне.

Как будто это я ему под окна наблевал.

Мантуся теперь Матаня.

А мы опять собак в клинику возили.

Двух.

А двух и надо было:

Сука Бонита (без «е», поручик, а то Матаня уже успела порезвиться), у неё трагичная история – её привели на усыпление (она молодая, и заводчику стала просто не нужна, а почему – хрен его, гада, знает), а врач не выдержал и позвонил в приют. По крайней мере, мне так доложили, а что там было на самом деле, неизвестно. Может, так и было, тогда врач – не до конца ещё потерявший совесть и честь человек. Как можно было ожидать от него при такой работе.

Роберт, не менее несчастен, – больная селезёнка, хозяевам надоело лечить и тоже решили усыпить, а врач – да – позвонил в приют.

А погуляли мы с собакой по имени Вираз – привезённой из Осетии. В этой Осетии, как и в бывшей Югославии, – много собак по улицам ходит, неприкаянных и больных.

У нас под окнами постоянно происходят чудесные чудеса.

Чрезвычайные (или это только мне так кажется?).

Например, ровно в полшестого утра, каждый день к мусорным бакам, что напротив, подъезжает одна и та же

серебристая «Киа», из которой на полную катушку долбит тупой российский рэп. Голоса исполнителей – исключительно похабные и мерзкие.

Подъезжает, значит.

Потом из неё вылезает какой-то чек, чистит себе ботинки походной коробчатой губкой, курит и уезжает.

На всё про всё минут пять-семь, но проснуться и охренеть, естественно, времени достаточно.

Возили в больницу маленького питбуля Бориса.

Точнее так.

Сначала Матаня привезла его домой переночевать накануне вечером, а на следующий день после обеда возили. Очень интеллигентный пёс (опять). А когда нам рассказали, что он в городе Адлер сколотил банду из бездомных собак и зашугивал с ней отдыхающих плюс местное население, так, что его решили усыпить, мы долго смеялись (не над тем, что усыпить). Более тихого, вежливого и незаметного пса я ещё не видел. А нет, видел – Янек, он же Луми, – патриарший беженец (с Патриарших прудов, а не подворья, имеется в виду).

Приехали, посидели в очереди, подождали, потом Бориса увели на полуторачасовую процедуру КТ (компьютерная томография), а мы сходили, попили кофе да сфотокали меня под памятником Махатме Ганди.

У пьедестала (я, между прочим, тоже известный гуманист и общественник).

И на фоне университета.

В том смысле, что университет виден на горизонте.

Боря после КТ вышел вялый, мы посидели с ним на лавочке в холле больницы, теперь ожидая, когда сестра вынесет диск с записью томографии, а дождавшись, побрели к машине. Там попоили пса водой, и я положил его на заднее сиденье.

Он, обессиленный, сонный, сполз на пол и заснул, свалив на себя одеяло, накрывшись.

Нам было его страшно жаль.

Когда ехали, я периодически клал ему на бок руку, чтобы почувствовать его дыхание. Бок слегка шевелился.

Бесконечно стояли в пробках и до приюта добрались дайбог в полдесятого вечера. Пока туда-сюда, домой вернулись в одиннадцатом часу, и Матаня тут же взялась переписываться с Леной, той, что рулит в Шереметьевском. Обсуждать рекомендации врачей.

А больница – шикарная, целый инновационный центр, и работает круглосуточно.

А ещё там была чудесная врачиха, что вышла из педиатрического отделения и минут пятнадцать просто ласкала Борю, восхищаясь его красотой и умом. Так что я аж слегка приревновал.

Вот странная штука – и собака не моя, и вообще, а я каждый раз ревную, когда взятого под мою временную ответственность пса гладит кто-то другой.

Врач прекрасная, и интонация у неё точно такая же, как у Матани, – сюсюкающая и грассирующая. Так с детьми разговаривают. И слова те же.

В пробке Матаня говорит: давай его себе возьмём?

Давай, отвечаю, всегда пожалуйста.

(Когда она утром ушла на работу, оставив нас одних до обеда, Бориска подошёл к двери, набычился и заскулил-заплакал. И пока я его не обнял, так и рыдал. Скучал без Матани.)

Бониту забрали – наша лёгкая рука работает безотказно, как автомат Калашникова.

В выходные ездили к ребятам-овсеятам.

Давно там не были.

Жара дикая, я разделся, снял майку и тут же, понятно, сгорел. Мне надо-то минут пять-десять.

Зато погуляли с Луми, Месси и Радомиром.

Луми обрадовался страшно, увидел Матаню – запрыгал от счастья и сразу полез к ней целоваться. Ну, уж они налобызались от души.

Месси как всегда – великолепна, реактивна и ужасна для непосвящённых.

Радомир вырос ещё больше и стал таким красавцем, что уже ни пером описать, ни в сказке сказать. Вдруг –

коричневый с отливом, как конь, головой мне чуть ли не в грудь упирается. Башка больше моей – огромный арбуз.

Посидели с ним на лавке, вот тут точно – головы на одной высоте.

Вышагивая Москву.

Ездил в аптеку на Никитский бульвар, в знаменитый Дом полярников (в котором, кстати, жил Юрий Соломин – тоже известный полярник). А рядом сквер научной библиотеки имени Гоголя и, собственно, памятник Николаю Васильевичу Гоголю плюс дом, где он умер.

Жил человек в Санкт-Петербурге, обожал Рим, а умер в Москве.

Вот ведь судьба.

Он в этом доме второй том «Мёртвых душ» писал и здесь же его сжёг в печке.

Посидел я на скамейке около памятника. Ощущения прекрасные: деревья, газоны, памятник, нежарко, бомжик какой-то в красной рубашке, в дымину пьяный спит наотмашь около ограды – в общем, чудесно, очень рад оказии, приведшей сюда. Когда бы ещё сам забрёл, а теперь буду ездить – сидеть.

(Прочитал в интернете, что на обратной стороне памятника есть след от белогвардейской пули, замазанный раствором. Пульнули, когда Гоголь стоял на Пречистенском бульваре. Надо будет в следующий раз внимательно приглядеться.)

В Шереметьевском приюте неурочный день.

Мы приехали с твёрдым намерением забрать собаку.

Одним не возвращаться.

Ни в коем случае!

Погуляли сначала с могучим Ройтом, которого Матаня приглядела в прошлый раз, потом с моим фаворитом Освальдом – итальянским профессором, а напоследок с Глорией – непонятной метиской неизвестно чего, но очень доброй и открытой.

Погуляли, поспорили и решили брать Глорию.

И характер подходящий, и размер, и статья напоминает боксерскую, а Матаня боксеров любит до беспамятства и обмороков.

Ройт же главным специалистом приюта – собаководом и собакознатцем Мусой – был отвергнут по причине его, Ройта, ужасной судьбы. Держали впроголодь, совсем не гуляли и часто били. Это притом что он чистокровный пёс, образец породы питбулей и медалист всего на свете.

Очень странные люди живут на планете Земля.

Если не сказать твёрже.

С Освальдом другая история. Матаня говорит, не справимся – большой. Не уехать, не отъехать, с собой не взять, как дома оставлять, пока непонятно, то есть вся жизнь будет подчинена собаке, тогда как маленькую (среднюю) Глорию взял с собой в рюкзачке и помчался, куда хочешь. Хоть в Сибирь, хоть в Хакасию (зачем нам в Хакасию?).

В общем, решили брать Глорию, и Матаня стала звонить главной тётё всего приюта, чтобы доложить обстановку.

А та ни в какую.

Нет, и всё.

Мол, Глория очень непредсказуемая, загрызла какую-то старуху с ходу и до полусмерти (я сильно заинтересовался этим моментом), детей ненавидит, а идущих мимо собак просто рвёт в лоскуты. Я как услышал – начал ржать. Сно-ва здорово. Более милого, ласкового и доброжелательного создания, чем Глория, не встречал (типа Борюсика, да). Бросается буквально на каждого, обнимает и начинает зализывать. Видать, насмерть.

Говорили долго, но Ирэн Александровна настаивала на своём – Глорию нет, Освальда – да.

Решили думать до понедельника.

На обратном пути Матаня была мрачнее тучи. Рулила и бурчала в том смысле, что эдак мы никогда никого не возьмём. Возьмём, утешал её я. Нет. Да. Нет. Да.

Так и доехали до дома.

Сели думать.

На следующий день повезли в Реабилитационный центр в Барвихе Атрея. Какие-то мутанты привязали его

в городе Астрахань к дереву на короткий поводок и ушли. Сидел он неизвестно сколько, пока его не отвязали. Успел заработать частичную атрофию таза, полную задних лап и позвоночную грыжу. Сейчас его прооперировали, и нужен уход – массаж, плавание – реабилитация, в общем.

Девочки в центре – чудесные.

Возились с ним два с половиной часа. Я взмок насквозь – таскал пса на себе. А Маша – врач – нет, ходит, улыбается как ни в чем не бывало. А она тонкая и звонкая, в отличие от меня.

Зато мы успели там всё описать и обкакать.

То есть между дорогих барвихских машин с блатными номерами лежат наши пролетарские какашки.

А Барвиха – потому что центр какой-то известный, врачи хорошие, вот и поехали.

Один из них, молодой, симпатичный, высокий и рыхловатый мужчина, посмотрел собачку на экране и сказал про операцию – ого! Работа мастера – три человека в России так умеют. И я их всех знаю (гордо).

Матаня спрашивает: ты выбрал собаку?

Я отвечаю: я?

Ну, мы.

Ещё бы.

Поехал в книжный магазин на Арбат.

(Как-то он связан с журналом «Москва», но как, непонятно, а выяснять – лень. Может, здесь раньше была редакция журнала?)

Не хочется говорить пошлостей, но Арбат как Арбат. Скорее весь кайф в душе, внутри, чем снаружи. Или это я от отсутствия друзей-приятелей, с которыми можно тут весело и полноценно жить? Всякие «Щуки», «Табакерки» и веселые пьянки.

И вообще, молодость прошла, а зрелость кончается?

Тем паче в Нижнем есть нечто подобное – пешеходная улица Большая Покровская. Чуть, может, поменьше, а в остальном – то же самое. Даже построже – меньше туристического папье-маше по обеим сторонам.

В тот день было почти так же.

Мы погуляли с Вегой, и Матаня сказала: всё, я решила, берем. Я слегка охренел, но ответил, конечно (привыкать уже стал). Но сначала пройдемся с Освальдом, добавила Матаня. Ага. Отвели Вегу, потусовались у главного здания, потом взяли Освальда, отошли три метра от входа на прогулочную площадку, и Матаня, уперев руки в боки, заявила: пошли оформлять.

Кого?

Его.

Его?

Да.

А Вега?

Всё!

Ну да ёлки ж палки.

Всё!

Но...

Всё!

Ну, всё так всё.

Мы поплелись к Ирэн Александровне договариваться насчет Освальда. Я всю дорогу гундел (и слегка охреневал)... Матаня спросила, ты же сам его хотел? Хотел. И что? Пока мы гуляли с Вегой, я перенастроился на Вегу, а теперь обратно... Всё, я сказала Освальд, значит, Освальд. Может быть, сначала поговоришь с Ирэн и о Веге, и о Освальде – что она посоветует? – робко предложил я. Хорошо.

Матаня ушла, а мы с Освальдом сели в машину. Точнее, я сел на переднее пассажирское сиденье, а он на асфальт у моих ног, у машины.

Вокруг все тётки приютские страшно засуетились, в том плане – ах Освальд, ах Освальд, ты уезжаешь домой! Какой домой, успокаивал я тёток, только договариваемся. Да вы что, удивлялись они, Матаня уже договор подписывает.

Я повздыхал и стал устраивать Осике лежбище на заднем сиденье. Постелил одеяло и попонку.

Вернулась Матаня и радостно сказала: всё, наш!

Поехали?

Да.

Мы засунули упирающегося всеми четырьмя лапами Освальда в машину и поехали.

Я сейчас заплачу, сказала Матаня, от счастья.

И заплакала.

Вечером пошли гулять в парк.

Не нравится мне имя Освальд, сказал я, как у убийцы Кеннеди.

Придумай другое.

Он итальянец?

Скорее всего, помесь корсо с кем-то.

Похож на старого гладиатора на пенсии.

Точно, одобрила Матаня.

Данте.

Странно у вас как-то зовут гладиаторов.

Как уж есть.

Дантик-бантик – ерунда, ей-богу.

А как, спросил я.

Тиберий.

Не выговоришь же.

Тибик.

А это не дурацкое?

Нет.

В общем, так мы час и гуляли.

А когда вернулись, поняли, что – нашли свою собаку.

И Освальд это понял.

Теперь он проводит день следующим образом – нагуляется, наестся каши с трюфелями, придёт в комнату, где я на диване читаю книжку или пишу за столом, уляжется на коврик, уткнётся мордой мне в ступни, закроет глаза, распустит слюни океаном и задрыхнет.

Мне кажется, он абсолютно счастлив.

Я спрашиваю у Матани: он счастлив?

А то... Когда идёшь навстречу собаке с абсолютной любовью – каждая будет счастлива... Все как у людей... Да?

Поезд в городе.

А потом кончилось лето, и мы с Васей Фёдоровым и Полканом Поликарповичем Поповым стали готовиться к побегу на юг. Вася предлагал пиратскую Тортугу, Полкан Поликарпович – город-герой Севастополь, а я был согласен хоть куда, лишь бы тепло.

Запаслись варёной картошкой.

И вареной сгущенкой (одной банкой).

Парой страусиных яиц.

Огурцами из банки тёти Маши, жены дяди Толи Брюханова.

Кипятильником без провода и кастрюлей с одной, но длинной ручкой.

Двумя удочками из орешника.

Крючками.

Наушниками.

Ещё взяли бумазейные носки, одна пара с дырками на больших пальцах для вентиляции южным ветром, а другая – целая, для морозов средней полосы.

Добираться решили своим ходом.

Вышли рано утром во вторник.

Пока все спят.

Чтобы никто не хватился.

Да и кому хвататься?

Вышли и пошли по компасу – на юг.

Так и идём с тех пор.

ПЁС

Т. П.

Мы клад искали – землю рыли,

А оказалось – сам пророс —

Наш пёс – коричневые брылы

И чёрный, лучший в мире, нос.

Мы в парк идём гулять сегодня,

Мы любим всех, все любят нас,

И если милость есть господня —

То вот она – здесь и сейчас.

Уж листья падают с деревьев
И осень в гости к нам спешит,
Но появляется доверье —
Единственный от горя щит.

Когда завалит все скамейки
Московский сероватый снег
И на тропинках ветер змейки
Закрутит вроде бы навек,

Мы будем чай гонять на кухне,
Мы будем в свете фонарей
Следить, как снег вначале вспухнет
И вдруг осядет в феврале...

Мы шли гулять, богам на зависть,
В любви взаимной — ох и ах,
Мы фыркали, в траве валялись,
И возвращались все в слюнях.

Мы счастье для себя открыли,
И оказалось — вот он клад —
Наш пёс — коричневые брылы
И умный, чуть печальный взгляд.

Николай ВИНОГРАДОВ

ЖЕЛЕЗЯКА

Фрагменты

Володя наконец-то дождался своего парохода под названием «Волгонефть». До этого он на танкерах не работал. Как только увидел эту уродливую длинную железяку, приписанную к Астраханскому судоремонтному заводу, настроение у него сразу упало ниже ватерлинии.

«Всё, доплавался до баржи какой-то! Удивительно, как это корыто ещё плавает, даже в море выходит. А бензином-то как прёт, на автозаправке так не воняет», – возмущался он.

Владимир много раз бывал в Астрахани, когда работал на пассажирских судах, но даже не знал, что здесь есть затон и судоремонтная база – филиал от самарского пароходства «Волготанкер». Теплоход уже успел сходить в Самару, где его осмотрели на предмет годности для перевозки бензина.

* * *

Каюта начальника радиостанции находилась на палубу ниже штурманской рубки, рядом с каютой капитана. Ночью, когда Володя только-только успел погрузиться в глубокий сон, к нему постучали.

– Э-э, начальник, подъём! Я Саня, второй штурман, только вот вахту сдал! Тебя Кэп на рыбалку приглашает.

– Привет! Что за шутки, родной? Давай, Саня, приходи завтра. Ага? Тогда и познакомимся, и пошутим, – недовольно буркнул спросонья новенький радист.

– Да я серьезно. Мы уже два часа, как из устья в Каспий вышли. У нас все рыбачат, закон такой. Если не во что переодеться, пойдём в кандейку, боцман подберёт чего-нибудь. Я в одних плавках всегда рыбачу, только сапоги резиновые надо обязательно, – топтался у входа в каюту второй штурман.

– Ты о чём вообще? Какая рыбалка, а? Ночь же! – продолжал возмущаться Володя, будучи уверенным, что его разыгрывают ради смеха, как новичка.

– Мы как раз всегда по ночам и рыбачим. Короче, вставай и приходи на мостик! Там тебе Кэп сам всё объяснит. Seriously говорю, давай, приходи!..

– Доброй ночи! – поприветствовал новенький радист ночную вахту.

– Ага, заходи, Владимир Александрович! Я тебе уже чаю налил, – подхватил его под локоть капитан.

На мосту, кроме Кэпа, у штурвала стоял рулевой и в лобовой иллюминатор смотрел третий штурман. На мостике было ещё довольно темно, рассвет только начал брезжить.

– Сейчас адаптируешься к темноте... Знакомьтесь! Это наш новый начальник, Владимир Александрович Смирнов. Вот! А это Иван, наш старший рулевой. Он же боцман, он же шкипер, – знакомил командир судна нового начальника радиостанции с ночной вахтой судоводителей.

– Очень приятно! Моя кликуха – Ключ, но это для своих, – ответил, освещаемый маленькими тусклыми лампочками на навигационных приборах густым басом какой-то верзила.

– А это наш третий штурман, Евгений Павлович, только второй рейс делает. После ленинградской мореходки, и сразу к нам. Днём в море сам рулит, а по ночам ему одному пока рано.

– Женья! Кликуха – Студент, тоже для своих, – представился молодой третий штурман, похожий по габаритам на юношу.

– Мы тут все свои. Меня обычно Кэпом кличут, а тебя уже просто начальником начали звать. Тут до тебя радиостом хлюст один был. Локатор, вот этот маленький, весь раскурочил, а устроить не смог, на одном теперь ходить приходится. Давно этого хлюста списать собирался. Совсем ничего не делал, говнюк, только пьянствовал. Все мы здесь любители выпить, но надо же и дело делать. Надеюсь, ты не такой? Женат? – сразу, как на допросе, начал сыпать вопросами капитан.

«Ёкарный бабай! Куда попал? – как-то сразу пал духом Володя. – Ну и дисциплинка здесь!»

– Был... в разводе.

– И дети есть?

– Дочка... в школу ходит... алименты плачу, – буркнул себе под нос Смирнов с неохотой.

– У меня внучонок тоже осенью пойдёт, утром его увидишь. Дочь здесь с ним катается. Полную семейственность развёл. Муж дочери – третьим механиком, жена – поваром. Хотел дочь прачкой оформить, так не дают пока. Штат раздуваю, видишь ли.

– Василий Васильевич, а чего мне Секанд про рыбалку заливал?

– Зови просто Василич, я всем господам офицерам так разрешаю ко мне обращаться. Ну, при чужих, конечно, как положено. Это я к тебе Сашку послал. Вон смотри в окошко, что за рыбалка! Осётр пошёл, севрюжatina, бестер. Даже пару белуг поймали час назад.

– Эх, ни хрена себе, рыбалочка! А как это вы придумали? Эх ты, вот это рыба! Это что за рыба... вон та, огромная, как кит? – с удивлением разглядывая в лобовой иллюминатор огромную белугу, восторгался радист.

– А-а, это как раз белужка. Завтра моя Татьяна из её башки такую уху сварганит, пальчики оближешь.

– Ну и рыба, я таких ещё не видел. Акул ловили на экваторе, но они по сравнению с этой просто мальки. Пойду спущусь, погляжу...

– погоди! Мы тут все рыбачим. Сейчас Клюз сапоги тебе резиновые подберёт и топор даст помощнее. Надень трико какое-нибудь старенькое и майку, что похуже. Ви-

дишь, волна по палубе гуляет? Надо будет сейчас балласт малость откачать, а то осадка лишнего, рыбачить хреново. Студент, возьми руль! А ты, Ключ, спустишь, покажи начальнику, как осетра глушить! И чтоб за борт хвостом его бестер не скинул. Через пятнадцать минут всех рыбаков сюда, на инструктаж! А я сейчас осадку уменьшу...

Поглазеть на рыбалку и поесть осетринки Володя был, конечно, не против, но перспектива самому рыбачить его не очень прельщала.

«Видимо, придётся порыбачить, никуда не денешься, – недовольно рассудил он. – Этот боцман, Ваня-Ключ, громадина под два метра. Руки, как грабли, одной кистью может мне черепашку раздавить, как сырое яичко. Вот уж кто точно от обезьяны произошёл, причём от гориллы. Ломом не перешибёшь, а лишь пощекочешь. Создал же бог образину!»

– Ты, Алексаныч, не бойся, бей прямо между глаз. Я обычно обухом, аж мозги на два метра разлетаются. Мы бошки всё равно за борт майнаем... и требуху с лапами тоже. Берём только тушку – хранить негде. А икра у них сейчас ещё зелёная, невкусная... если только на жарёху. Через пару месяцев, ближе к маю, вся чёрная будет – самое оно!

– Слышь, Ключ, а что здесь за система? На что ловите-то?

– Ни на что, сама в кукан залазит. Сейчас увидишь.

Система оказалась несложная, но эффективная. По обоим бортам, от бака до юта, проложено по тросу. Длина рассчитана опытным путём так, чтобы они волочились по дну. Трос взрыхляет дно и отрывает от него ракушки, на которые сбегаются осетровые породы рыб. Посередине троса приделывается кукан – дугообразный, похожий на хоккейные ворота, каркас, согнутый из толстой металлической трубы, к которому привязана сеть крупной ячейки, как сачок, длиной метра два. Куканы поднимаются консолями, управляемыми с крыльев мостика с обоих бортов. Стрелой, как удочкой, управляет вахтенный штурман – главный рыбак. Через пятнадцать-двадцать минут поочерёдно с правого и левого борта один кукан поднимается, а другой погружается в воду. Высота ворот кукана

где-то около метра, ширина чуть побольше. За один подъём из такого кукана вытаскивается штук пять-шесть рыбин. Когда трос взрыхляет дно, осётр клюёт ракушки и сразу его подхватывает кукан хвостом в сачок, а мордой в ворота. Ячейка сетки рассчитана так, чтобы рыбина не смогла вывалиться из кукана, запутавшись плавниками в сетке (ластами, как их называет Клюз). Задача Володи была всего-навсего убить или сильно оглушить рыбину ударами топора по голове и за жабры оттащить на середину палубы, где её потом разделают и разрежут на куски уже другие рыбаки. Поначалу ему было немного боязно. Средний осётр весит под восемьдесят кило, а длиной около двух метров.

«Не знаю, как Клюзу удаётся обухом размоzzжить осетру голову так, чтоб мозги разлетались! У меня что-то и с пяти ударов убить не получается. Ну и бестер попался! Вообще всю башку раскрошил, а он всё ещё живой, гад, – бурчал себе под нос Володька. – Похоже, придётся за жабры сначала вытащить из кукана. Дотащу уж как-нибудь волоком, ладно хоть рыбины все скользкие и палуба мокрая».

– Вообще эта чертяка очень живучая! Бывает, даже без головы бьётся и трепыхается. Если хвостом по ногам даст, может и ногу сломать, и за борт смайнать. Но у осетра зубьев нету, он губами из ракушек слизняков высасывает, – рассказывал Клюз в перекур. – Помню, на Кубе барракуду поймали. Такая тварь – живучее бестера. У неё вообще даже через пару часов отделённая от тушки башка может сама укусить, если будешь пальцами в нее тыкать.

На палубе рыбачат четыре-пять человек по четыре часа через восемь. Один забивает и подтаскивает, двое раздвывают, а последний солит и укладывает в тару. Соль бузун, крупные кристаллы желтоватого цвета, запасается заранее. Идёт, например, по Волге мимо баржа с солью, вот и происходит с буксировщиком обмен соли на дизельку. Да и без дизельки, за пару литров водки могут отсыпать хоть полбаржи этого бузуна.

Днём от скуки солильщику кто-нибудь приходит помогать, одному здесь не справиться. Тары, как правило, не хватает – на судне всего двенадцать двухсот литровых

бочек. Засаливали в пожарные ящики, которых по всей палубе шестнадцать штук, но и этого было далеко недостаточно. Кэп на свой страх и риск, от жадности или от азарта, приказал солить рыбу прямо в шахте лага. Эта шахта находится на полубаке, размерами два на два метра и глубиной метров шесть от палубы до днища. На дне находится трубка Пито, самая главная деталь лага, которым измеряют скорость судна в стоячей воде. Поэтому из-за рыбы на каботажных судах типа «Волгонефть» вряд ли у кого-нибудь можно обнаружить действующий лаг. Да он таким судам не очень-то и нужен. В реке они идут по фарватеру, где особенно не разбежишься, а в море на таких судах главное не скорость, а лишь бы добраться до порта назначения. Больше двадцати километров в час всё равно не разгонишься, даже порожняком. В Каспии штормит иногда похлеще, чем в океане. «Волгонефть» – железяка длинная, сто тридцать метров, а шириной всего семнадцать, надстройка на корме. Бывали случаи, когда такие суда ломались на гребне волны, даже двойные борта не спасали. Восемь штук танков! Обломится такое длинное корыто где-то посередине, и дрейфуют две половинки. Ладно бы порожняком, а бывает и с нефтью.

Днём тоже рыбачили, но уходили подальше от берега так, чтобы в локатор, на самой большой шкале в пятьдесят километров, был виден край берега. С подачи Кэпа Володя передал радиограмму, что у них шторм и они якобы вынуждены прятаться в подветренных берегах. Надо же до самого верха шахту лага севрюгой забить!

На завтрак Татьяна Михайловна, жена капитана, успела уже пирогов с осетриной напечь. Знала про рыбалку, хоть одна рыбина, но на пироги поймается – опару заранее поставила. Ей, видимо, помогала Маринка, её дочь.

– Начальник! Володя, садись сюда, за наш стол! Здесь всегда место начальников. Так, кто ещё не слышал? Повторяю в последний раз – чистой воды завтра не будет! Кто хочет помыться, мойтесь сегодня, а то неделю грязными ходить будете или мыться забортной. Воду экономить! Оставляем только попить да суп сварить. Передайте всем, чтобы не было неожиданности!

Кают-компания небольшая – посередине два четырёх-местных стола и один длинный общий стол, вдоль иллюминаторов. Телевизор «Чайка» с большим экраном встроен между книжными полками. Напротив – мягкий диван на восемь сидячих мест, обитый зелёным дерматином. Вот и вся мебель, которую можно было запихнуть в такую кают-компанию.

– Ну как тебе рыбалка? Плечо не болит, намахался топором? Погоди, заболит ещё. За ночь тридцать восемь рыбин засолили – две белуги, ты их видел, восемь севрюг небольших, килограммов по сорок, а остальные осетры с бестерами. Сейчас позавтракаешь, радиограмму отправишь, что продолжаем штормовать. Ещё ночку порыбачим, и хорош. На обратном пути с бензином пойдём, а я гружёным не рыбащу, – вводил Володю в курс дела Кэп.

– Василич, как же так? В шахту лага солить начали. Трубку Пито уже не отскребёшь, без лага останемся, – возмутился радист.

– Не бери в голову, мы уж пять лет без лага ходим, – успокаивал его капитан. – Ты лучше вот что сначала... у нас связь с машинным отделением пропадает. Этот балбес, что до тебя был, чего-то целую неделю всё вошкался, да так ничего и не сделал. Посмотри сегодня, а то без связи с машиной на манёврах хреново. А потом уж и локатор. Он хоть и не к спеху, а надо. Вдруг и этот накроется. Без локатора-то нам, сам знаешь, далеко не уехать.

Железяка уже пятый год ходит рейсами Ленинград – Махачкала, перевозит девяносто второй бензин. Роковые девяностые – многие суда, особенно пассажирские, встали на прикол. Востребованным остался лишь нефтеналивной флот. Страна медленно, но уверенно превращалась в сырьевой придаток для остального мира. Нужно было как-то вывозить углеводороды за кордон. Пригодились сразу и такие ржавые железяки, которые и в море-то выпускать страшно. Некоторые суда не только без лага ходили, но и с более весомыми дефектами. Большие флотские начальники закрывали на это глаза, и пошли по Волге караваны ржавых пароходов, обломков СССР. О какой дисциплине можно было говорить в те времена? Груз терялся по доро-

ге в больших количествах, убытки не поддавались никаким подсчётам. Верхи грабили по-крупному, низы тоже по мере своих возможностей. В шлюзах часто приходилось делать так называемые паузки. Осадка не позволяла пройти через шлюза, приходилось перекачивать нефтепродукты в другие суда-посудины, а после шлюза обратно. Вот здесь-то бензин и «испарялся» десятками тонн. И так по всей Волге.

Пятнадцать членов экипажа. Из штурманов – Кэп, старпом – Чиф, второй – Секанд и третий помощники. Из маслопупов – стармех – Дед, второй, третий и четвёртый механики. К маслопупам относился также и электромеханик. На палубе – два матроса, в машине – два моториста. Повар – жена Кэпа. Ну и сам Володя, начальник радиостанции, по должности относящийся к палубной команде и подчиняющийся непосредственно капитану.

Конец марта. Судно пошло под первую свою погрузку. Сейчас на борту ещё три пассажира – дочь Кэпа, Марина – молодая и довольно симпатичная женщина с сынишкой Антошкой, любимцем всей команды. И ещё жена второго механика, Елена – катается с ним весь отпуск. Тоже симпатичная, высокая и стройная женщина, но стеснительная тихоня. На палубу выходит редко, обычно с мужем. Или загорает на палубе, когда Аусыч, её муж, на вахте. Прячется на приличном расстоянии от рубки за мачты или пожарные ящики, чтобы матросы в бинокль не глазели.

После завтрака Володя сходил на бак, проверил связь с мостиком. Попросил старпома проверить связь с машиной.

«Везде всё нормально, пока. Ну и ладно! – решил он. – Надо посмотреть, когда связь пропадёт».

Зашёл на мостик, включил ламповый локатор «Донец» – вообще целей не отбивает.

– Чиф, а давно у вас «Донец» не фурычит?

– Не знаю, я вообще им почти не пользуюсь, всё больше «Океаном». На нём хоть след от цели хорошо виден, можно сразу курс движущейся цели определить. А этот пока-а раскоцегарится...

– Я тебя попрошу, не включай пока локаторы! На мачту слазаю, посмотрю.

- Какой нельзя включать?
- Никакой пока не включай, чтобы меня рупором антенны с мачты не скинуло.
- Ага, понял! А ты надолго?
- Минут на двадцать. Сможешь без радара?
- Ну давай! Я тогда сейчас ближе к берегу прижмусь..

Старпом Николай – молодой человек, тридцать один год всего. Самарец, оканчивал Горьковский институт инженеров водного транспорта. Сначала на пассажирах работал лет пять, потом женился, и жена заставила его уйти на грузовики. Парень он видный, а в форме так вообще – Ален Делон. Девушки и молодые женщины, которых на пассажирах всегда почему-то больше, чем по статистике полагается, могли и во грех ввести. Вот из ревности она его и отправила на «Волгонефть», чтоб у него соблазна не было. Как мужик вроде и ничего, но сам себе на уме как-то. Со всеми в хороших отношениях, но особой дружбы ни с кем не ведёт. Здесь все матом ругаются – одно мужичьё, ясное дело. У жены Аусыча, наверное, уши уже все повяли. Лаются в дело и не в дело, а он нет. Ругнётся, может, если молотком по пальцу тяпнет, так это не в счёт – тут и Тургенев И. С. лихо бы выругался. Чистюля и брезгуша. В каюте ходит в махровом халате. На берег сходит, так прихорашивается, как мадмуазель, два часа. В карты играет только в преферанс. В шахматы Володька с ним сыграл партий пять.

«Слабовато играет и больше не предлагает. Почему? Болезненно переносит проигрыш? Странный парень. Анекдотов знает мало, да и рассказывать их совсем не умеет, но смеётся над ними от души. Порой и анекдот не смешной, а если он засмеётся, так сразу все заржут. И не от анекдота, а от него, потому что он так заразительно хохочет».

Антенны локаторов находились на слишком близком расстоянии друг от друга. Если включить сразу оба, то можно попасть на такой момент, когда при вращении оба рупора хоть на секунду посмотрят друг на друга – поцелуются. Тогда более мощный выбьет более слабому полупроводниковые кристаллы в приёмнике. Именно так,

видимо, и случилось. Володя слил скопившуюся влагу из волноводов, подсушил их немного, как смог. Заменял в приёмниках у обоих кристаллы – и всё заработало. Даже картинка на экранах обоих локоаторов чётче стала. К обеду эта новость уже разошлась по всему пароходу. На обед была такая вкусная уха, что Володька уплёл три тарелки и только из скромности не попросил четвёртую.

– Ну, начальник, молодец! Я думал, ты как минимум дней пять локоатор чинить будешь. Этот балбес его же весь раскурочил. Ну, теперь у меня хоть душа спокойней будет. Видел, ты на бак ходил. Связь, что ли, проверял?

– Связь мостик – бак и мостик – машина есть, надо ждать, когда пропадёт, сейчас ничего не сделаешь!

– Понятное дело! Ладно, когда сломается, я тебе скажу.

– Василич, знаешь, почему «Донец» отрубился? Сразу оба локоатора крутились под высоким напряжением. Вот один другого и прострелил. Если есть нужда крутить сразу оба локоатора, то один должен крутиться в ждущем режиме, без включения высокого напряжения. Скажи своим, может, кто об этом забыл! Я кристаллы в обоих приёмниках заменил. Осталось всего четыре штуки, последние.

– Это Студент, скорее всего, нагадил. Я его одного как-то пару раз оставлял ночью в водохранилище. Ладно, разберёмся. А ты составь запрос на радиодетали, какие тебе нужны. Только радиogramму отправляй не в Астрахань, а на Самару – у наших куска мыла не допросишься, честно тебе говорю. Отправляй, я потом подпишу.

Василич – маленький, лысый мужичок-колобок, с круглым солидным животом, короткими ножками, пятьдесят восемь лет от роду. Капитаном стал в девятнадцать, как он сам про себя рассказывал. Да и капитаном-то стал на барже, образования даже среднего нет. В длинном слове может сделать две-три ошибки, но настолько тёртый калач!

Глазки маленькие, узенькие, как щёлочки, но очень живые, насквозь любого видят. Память для его годов просто феноменальная, особенно если это касается денег. Когда-то капитанов не хватало, и он вовремя подsunулся. Сначала на буксирах, потом на судах побольше и вот уже лет пятнадцать на судах река-море. Но он здорово справляется

со своей должностью, всё видит, везде успевает, всё заранее предусматривает.

Бывает, правда, уходит в запои дня на два с супругой на пару. Видимо, нервы устают всегда быть в натянутом состоянии. Если Татьяна в такие дни хоть иногда появляется на своем камбузе, то он на мостик не поднимется, хоть пожар случись. Все об этом знают и все боятся, потому что без Вась-Васи, как его для краткости прозвали молодые члены экипажа, на судне не может решиться ни один, даже пустяшный, вопрос.

Жизнь заставила его стать большим психологом-практиком. Он, как мудрый еврей, всегда знает, с какого боку подойти, кому и сколько дать на лапу. За его маленькой спиной, как за скалой от сильного ветра, может спрятаться вся команда. Он капитан и всю ответственность всегда берёт на себя. Как-то спокойно, без суеты находил выход из, казалось бы, совсем безвыходных ситуаций. Бензин налево сбывали, с рыбой попадались – он всегда смог отмазаться. Всё у него везде схвачено, за всё заплачено. Володя всё время боялся залететь с дезинформацией в радиogramмах, и Вась-Вася, словно чувствовал, сам как-то пришёл в радиорубку.

– Ну давай, распишусь!

– В чём?

– В радиogramмах, конечно. Не тебе же садиться, если что. На это у тебя я, твой капитан, есть.

Он вообще ни одной радиogramмы за всё время не давал в письменном виде – всё устно, хотя обязан давать именно в таком и с подписью. Володя у него как секретарь был.

– Алексаныч, сколько я в прошлом месяце мазута заказывал, не помнишь?

– Не помню! Сейчас сбегая, посмотрю.

– Не бегай, ладно! Прибавь на этот месяц на пару тонн побольше. Нам они, может, и не нужны, погоды не наладят, а если дадут – хуже не будет, это во-первых. А в-третьих, они там нас не так сильно подозревать будут. А то подумают, что, мол, если не просят, значит, хватает. А если хватает, значит, не штормуют в Каспии, а отстаиваются где-то и сдают дизельку налево.

– Железная логика! А где пропало во-вторых?

– А во-вторых, они сами там все знают, что на таком количестве мазута, какое они всем судам выделяют, никто не доедет, как ни экономь.

А экономить Вась-Вася умел на всём. Это было его кредо, жизненная позиция. На колпит (коллективное питание) для команды выделяется не густо. Либо живи впроголодь, либо сбрасывайся с зарплаты на жорево. Никто не сбрасывался ни разу и ели всегда от пуза. Никто никогда не считал, сколько колпитовских денег уходит на продукты. Конечно, крупы, картошку, макароны, масло и прочее необходимо покупать – без этого никак. А если пошла осетрина, то мяса уже не жди. Осетрина считается деликатесом, от неё не всякий осмелится морду свою воротить, но и деликатес когда-нибудь, да надоест. Меньше чем через пару недель на эту осетрину уже никто смотреть не мог. Поначалу каждый с большим удовольствием, конечно, откушивал пирог с белужьей визигой (спинным мозгом). Никто не ленился сходить на палубу, где по бортам во всю длину железяки висят и вялятся, истекая соком, сказочной вкусноты огромные куски осетрины, севрюги и бестера (помесь белуги с осетром). Нет, не ленился – ходил и отрезал-таки граммов триста-пятьсот севрюжьего балычку под холодненькое пиво. Но потом никто уже запаха осетрины переносить не мог. Начался ропот команды. Татьяна выкидывала на помойку продукты своего труда со столов – нетронутые кусищи жареного осетра. В каюте Кэпа слышалась ругань, но на следующий день были уже макароны с тушёнкой по-флотски. Все окончательно понимали, что такое настоящий деликатес! Эта осетрина позволила Кэпу совсем не тратить колпитовских денег, а они немалые, не хилая прибавка к зарплате. Но никто против не был. Все сыты, а как крутится Кэп, чтобы прокормить свой экипаж, никого не волнует.

Володя сразу как-то подружился и легко сошёлся характером с электромехаником Виталиком, молодым мужчиной тридцати восьми лет. Его земляк, тоже жил в Горьком и совсем недалеко, как оказалось. Электромеханик,

как и радист, на реке вахты не несёт. Виталик работал уже четвёртую навигацию на этом танкере.

В последнюю ночь рыбалка была ещё круче. Один раз в кукан попало сразу восемь штук осетров. В мотне кукана были одни хвосты, а огромные морды умудрились каким-то образом впихнуться в размеры ворот кукана. С одного подъёма – шестьсот пятьдесят кило!

«Василич прав, плечо не просто болит, а ноет, вызывая о помощи к моему мозгу, как провинившийся матрос к строгому, но справедливому капитану, – ворчал про себя Владимир. – За две ночи я собственными руками убил девяносто два живых существа. Причём варварски, топором промеж глаз, как учил меня великий наставник Ключ».

Ваня-Ключ по возрасту – ровесник Виталика, может, чуть постарше. Он детдомовец, детство было несладким. Был женат, но жена его бросила за пьянство, он платит алименты за сына. Да, пьёт Ключ частенько, есть такой грех за ним. Старается держаться, и здесь ему с этим недугом немного легче бороться. Он осознаёт, что является маленькой шестерёнкой в целом механизме, представляющем собой экипаж железяки, и что без него людям будет трудно выполнять свою работу.

Прозвище это он получил потому, что всегда свои речи заканчивал словами: «Ферфатер в клюзе, и здохен шванс!» Видимо, в школе он учил немецкий. Из этой фразы всем без перевода было понятно только одно слово – клюз, которое и стало родным псевдонимом Ивана.

Однажды, при опускании судна в шлюзах, в открытое окно кают-компания, когда оно находилось на уровне бетонки, прыгнул какой-то наркоман-воришка. Чиф был на мосту и заметил его. Стали ловить всей толпой. Задраили все двери, чтобы не убежал. Зашхериться ему особенно негде было, и через десять минут он был зажат у двери на корму. Но у этого придурка, видимо, крыша поехала или шибко обкуранный был. Он, как загнанный зверь, махал ножом и никого к себе не подпускал. За поясом у него был виден японский видеоманитофон, хозяином которого мог являться только Саня – Секонд. Все ходили к Сане в каюту смотреть Шварценегера.

Приёмами против ножа никто не владел, а долбануть каким-нибудь багром было жалко, да и последствия могли быть печальными. Тут всех растолкал Ключз и спокойно приказал:

– Так... рассосались все отсюда! Быстро!.. Брось нож, а то руку сломаю...

Ворюга, поняв, что против гориллы нож бесполезен, а пистолета нет, взвыл утробным воем, как дикий зверь перед неизбежной гибелью, и опустил руку с ножом. Тут же, молниеносно, Ключз ладошкой вцепил ему такую оплеухину, что тот аж подпрыгнул. Железная дверь на корму открылась, и вор вывалился за порог.

– Ферфатер в клюзе, и здохен шванс!

Клиент ушёл в глубокий нокаут и не мог слышать са-краментальной фразы Ключза. Ваня в своё время служил в морской пехоте, потом остался на сверхсрочку и дослужился до мичмана. Владел приёмами боевого самбо и рукопашного боя, даже награды имел.

А по природе своей он – самое добрейшее существо. Руки, хоть и имели вид граблей, но умели делать всё. Или очень многое, не считая основного предназначения по должности боцмана и шкипера. Он просто не мог обходиться без какой-либо работы. Это его золотое качество сразу заметил мудрый Кэп и максимально приблизил Ключза к себе. Назначил шкипером, хотя такой должности в штате нет, как и должности старшего рулевого. Копеечные доплаты, но дело здесь не в деньгах. Авторитет капитана на судне – это очень большое дело! Если нет авторитета, нет и дисциплины.

Вась-Вася авторитет имел, как и большой жизненный опыт. Он, может быть, и не знал, что такое психология личности, но с годами стал хорошим психологом-практиком – кнут и пряник, как при дрессировке. Быть на капитанской вахте считалось достоинством, это значило быть в фаворе, чего не так-то просто заслужить.

Ключза уважали, и он это понимал, старался не обваляться, следил и контролировал каждый свой шаг. Кому безразлично уважение общества, в котором живешь, даже такого маленького, как команда железяки? Но специально

он никогда не выпендривался. Втихаря, оказывается, помогал Татьяне на камбузе. Никто его об этом не просил. Лишь однажды увидел, что женщине тяжело, и решил помочь. Сначала помой помог вынести раз-другой, мешок картошки подтащить, тушу мяса разрубить. И так постепенно это как-то вошло у него в привычку. Не ради благодарности от Кэпа, тот даже не знал, что Клюз после ночной вахты не сразу ложится спать. Камбуз всегда открыт, мало ли кого приспичит похавать среди ночи. Можно прийти, подогреть то, что осталось от ужина, и утолить голод. Никто тебя в этом никогда не попрекнёт. Клюз, пока Татьяна ещё не встала, начистит картошки, поставит на плиту бадью с водой, наточит ножи, хлеба нарежет и завернёт в тряпочку. В общем, поможет чем может. У Татьяны с утра всегда было отличное настроение. Все это замечали, но по мере своей испорченности приписывали эту причину к мужским достоинствам Кэпа.

К трём часам ночи наконец-то закончилась рыбалка. Всё! На судне не осталось никакой свободной тары, даже пожарного ведра, куда можно было бы засолить рыбу. У всех руки разъело от этой соли, особенно у солильщиков. Хотя солить приходилось всем, даже Кэпу. Даже Елена, эта скромница, пару раз принимала участие то ли из любопытства, то ли совесть замучила, то ли муж на неё поднажал. Шахта лага была заполнена доверху, мясные и рыбные морозилки забиты, и последние две осетринные туши валялись на палубе без приюта. Выкинуть за борт — жалко, а прибрать было совершенно некуда. Матросы отмывали с палубы последние следы преступления, складывался лишний такелаж. Бузуна оставалась ещё целая гора. Накрыли полиэтиленовой плёнкой в несколько слоев, накинули брезент, обложили досками и обвязали верёвкой. Кэп, окончательно поняв истину, что выше задницы всё равно не прыгнешь, распорядился идти на Махачкалу...

* * *

«От Махачкалы до Баку волны катятся на боку...» — вспомнились слова из песни, которые Вовка слышал ещё

в юности. Тогда он даже и мысли не держал, что когда-нибудь побывает и в Баку, и в Махачкале.

Порт, где грузились бензином, находился от самого города Махачкала очень далеко, не меньше десяти километров. Кто-то поехал на автобусе разгонять тоску, у Володи денег не было. Виталик предлагал ему в долг, но тот отказался. На последние деньги, перед самым прибытием на борт этой железяки, он, как положено, купил пять бутылок водки для прописки. Одну оставил, чтобы распить отдельно с Кэпом, а остальные отдал на растерзание толпе, которых ей хватило только губы помазать.

«Сдалась мне эта Махачкала, – рассуждал Володька. – Я вообще не любитель песчаных берегов. Как в пустыне – жара да песок».

Фильм «Белое солнце пустыни» снимался как раз в Махачкале, недалеко от места, где грузились бензином. Володя сразу вспомнил этот фильм.

«И чего тут смотреть? Как молятся на своих ковриках бородатые мусульмане в выгоревших халатах? Или на тощих ослов? Вернее, ишаков. Не в том смысле! Я уважаю любую веру, конечно, но это место мне как-то совсем чужое, не родное. Если бы судьба заставила меня здесь жить, я бы считал себя несчастным каторжанином. Ни травы, ни берёз, ни снега зимой! Скорее бы загрузиться и в обратку», – изнывая от жары, мысленно выговаривал он своё недовольство.

В железяку влезает пять тысяч тонн хорошего бензина. Кэп опять, уже в который раз, бежит на берег с презентами, чего-то мухлюет с балластной водой. Хитрый и ушлый, как двадцать пять евреев и один хохол вместе взятые. С берега пришёл довольный, чего-то, видимо, уладил, немного навеселе. Вовка от нечего делать в штурманской отирался, смотрел сверху в иллюминатор на погрузку. В штурманской разрешалось курить. А вообще, курить разрешалось только в строго отведённых местах, в список которых, кроме мостика, входила и радиорубка. Но всё равно курили и в каютах втихаря. Не бежать же вниз, в курилку, среди ночи. Увидят – попервоначалу штраф! Но все понимали, что на пороховой бочке сидят. Не зря же

здесь гробовые платят. Парами бензина все дышат, а они кругом, спрятаться некуда. На палубу к танкам без особой нужды никто не ходит. Там вообще, кажется, пукни – и весь пароход взорвётся.

Кэп с берега почему-то не к себе в каюту, а сразу в штурманскую зашёл, чего-то прятал в стол с картами. Сунул и запер стол. Вовка кашлянул, чтобы Вась-Вася не сильно напугался.

– А-а, начальник! Ты чего в город не поехал? Там такие дыни, три копейки – тонна! О, слушай, выпить хочешь? Давай по чуть-чуть!

– Ферфатер в клюз! Почему бы и нет. Когда нас примерно закончат грузить?

– Планирую завтра к обеду отчалить. Не нравится мне ихняя культура – верблюды плюются. Скорее бы слинять отсюда. Я тут от Таньки коньячок прячу, а то она при одном его виде сразу в гипноз входит, отказаться не может. У меня тут и пара конфеток осталось. Ну, давай за успех!.. Фу-у, ну и жара... за тридцать, наверное. Как тут люди живут? Я сейчас к ихнему главному ходил. Сидит такой, в тюбетейке, задница в два раза ширше, чем у моей Таньки, с кресла с обеих сторон свисает. Морда во-о, шеи нет, как у меня, но в галстук, в костюме даже. И что главное – не потеет. А я весь потом истёк, как из парной. Ты вон тоже потеешь, гляжу.

– Не потеют только мертвецы! Фу-у, во-о как бензином-то попёрло, аж в носу засвербило.

– Все восемь танков, считай, открыты. В море выйдем, не так сильно пахнуть будет, ветерок подует. Ну, по второй? Всё равно делать нечего. Я тут опять кое-чего схимичил. У меня от своих секретов нет. Думаешь, я просто так ходил на берег, чтобы с этим шейхом пообщаться? Я балласт ещё на Волге весь слил, а сказал, что мне ещё двадцать тонн слить нужно. Даже чистый пресняк весь слил – потерял до Волгограда. Будут грузить по отметкам. Если всё пройдёт гладко, тонн пятнадцать-двадцать бензина у нас лишняка будет. В прошлом году мы удачно крутанулись. Перед Волгоградом, у Никольского, совхоз есть богатый, с паромной переправой на две машины-трёхтонки.

За ночь весь лишний бензин продадим, только качай! Они нам в последний раз ещё и двух хряков в придачу дали, с опалённой шкурой уже.

Да-а, большую работу с рыбой сделали! Затарились – обожрёмся! Четыре с половиной тонны засолено, все морозилки забиты. У меня в Самаре сбыт есть, на всех денег хватит. Мы по паям делим – у меня два пая, у Деда с Чифом – по одному и две десятых, у всех офицеров, и у тебя в том числе, – ровно по одному паю. У остальных по ноль семь – никто не в обиде. На всех танкерах так, как при коммунизме – от каждого по возможностям, каждому по труду. Или по потребностям, как уж там?

– Это принцип социализма, при коммунизме изобилие, делёж неуместен.

– Вот гады, такую страну развалили. Кто там из них прав, кто виноват? Когда этот путч начался, мы в Каспии рыбачили. За работой все новости прослушали. Сюда приехали, как с Луны свалились, ничего не знаем. ГКЧП, расстрел Белого дома! Дожились, моя Украина для меня за границей стала. Я же хохол, родом из Каховки. Да-а, чего и говорить! На родине уже десять лет не бывал. Как родителей схоронил, так там и делать нечего стало. Ну чего, давай за Украину, что ли? Допьём уж, чего тут осталось.

– Ферфатер в клюз!

– Ай, молодец! Нравишься ты мне! А чего ж с морей-океанов-то ушёл?

– Да... меня по распределению во Владивосток запыкали, а там – ни кола ни двора. Морячил, морячил, а очередь на квартиру не только не уменьшилась, а даже отодвинулась. Да и родители стареют. Женился, дочь родилась. Развелись, правда. В общем, наморячился, хватит.

– А я всю жизнь вот на железяках живу. Эх, разморило меня что-то, не спамши сегодня. Пойти разве вздремнуть до обеда...

«Коньяк у Кэпа хороший! Что-то меня с полбутылки тоже развозить начало. Все на берегу, потрепаться не с кем, один матрос на трапе парится. Усталость тоже ещё сказывается, плечо ноет. Пойти, может, тоже замкнуться на массу до обеда?» – расслабившись, решил Володька...

– Э-э... начальник! Подъём! Опять я тебя бужу, привет! Мы уж все отобедали, меня Татьяна за тобой прислала. Сегодня обед из-за нас на час позже сделали. Кэп тоже ещё не обедал.

– Привет, Сань! Что-то никак от рыбалки этой отойти не могу. Спасибо, что разбудил! Ну, как съездили?

– О-о, нормалёк, зря не поехал. Дынь накупили – еле в автобус влезли. Я три новых фильма купил, да Виталия два. Сегодня вечером посмотрим. Два боевика, два ужастика и один – порнуха даже. Новьё, ещё в России не крутился, говорят. Я купил! «Греческая смоковница» называется.

– Я это твоё новьё ещё два года назад смотрел. Смеёшься? Это же классическая эротика. Её можно даже по телеку показывать. Порнуха! Ты когда уходил с обеда, Кэп уже в кают-компании был?

– Вот, блин, опять обули! Ладно, и классику посмотреть можно. Я вот сейчас как раз Кэпа будить иду. А что?

– Ты, это... скажи ему, пусть сначала ко мне заглянет. Дело есть, скажи...

– Ладно! Ну давай вставай...

– Алексаньч, что это у тебя за дела ко мне в твоей каюте? Я по каютам команды не шлѐндаю, ко мне все ходят. Возьми это в привычку! Без обид!

– Понял, Василич! Больше не буду.

– Ну, чего за дела у тебя? Давай быстрее, Татьяна только нас с тобой ждёт. Ей тоже отдохнуть хочется.

– Пять секунд, Василич! Не обижайся, я тут на толпу четыре пузыря выставил за прописку, а один для нас с тобой специально заныкал. Может, перед обедом по чуть-чуть, а?

– Ферфатер в клюз! Только давай короче... Ты мне тут команду не спаивай, я ведь знал про прописку. Студент себе нос об дверь ободрал, еле до каюты дошёл. Он ещё и пить-то не умеет.

– Последний раз, Василич! Но ведь положено.

– Ладно! Давай, наливай мне полный стакан за это, и пошли...

– Ну наконец-то! Явились – не запылились. Я уж два раза подогревала. Ну-у, где-то уже причастились, голуб-

чки. Чего нет? Вон морды-то покраснелись, и пахнет от обоих. В такую-то жару.

– Мне, чур, маленько! Куда столько-то, Михайловна? Не съем! В такую жару что-то и аппетит пропал.

– Ешь, Алексаньч, надо поесть! Зря, что ли, жена старалась? Чтоб всё съел!

– Наши-то мальчишки опять в городе напились. Фрол Мичурину морду намылил, дыню не поделили. А дыня-то действительно хороша, под два пуда!

– Фролова надо в Астрахани списывать. Он на практике у нас, из шмоньки. (ШМО – школа мореходного обучения.) Как с берега возвращается, так пьяный. Так-то дурак дураком, а пьяный – ко всем драться лезет. Жалко мальчишку, а что делать? Я в его возрасте себе такого позволить не мог.

– Штурмана с Виталькой новых фильмов понакупили, сегодня смотреть будем. У тебя в радиорубке, Алексаньч, между прочим. Она у тебя большая, как кинозал, больше кают-компаний – все уберутся. Мы при Фёдоре Степаныче всегда у него смотрели.

– Степаньч – это тот самый хлюст, что до тебя здесь начальником был. Действительно, все как-то привыкли в радиорубке. И покурить можно. Два дивана, а кто хочет – на полу. Только, Тань, передай всем на полднике, чтоб с дынями и арбузами не приходили. Всех выгоним и арбузы отберём!..

Татьяна Михайловна хоть и являлась представительницей слабого пола, но, если бы не женская одежда и частые слёзы на глазах, вряд ли бы кто-то догадался об этом. Конь в юбке – это сказано про неё. Короткая стрижка, чуть ли не под полубокс. Голос – густой бас. Даже когда она спокойно говорила, казалось, что орёт. Матом владела не хуже боцмана Ключа. Вес под сто двадцать кило. Если б вдарила и попала – нокаут!

Ей также были присущи мужские пороки – она курила и выпивала. Если Кэп прятал своё спиртное на мостике, то она, естественно, где-то на камбузе. После выпитого стакана водки она даже выглядела лучше, как бы расцветала немного. Появлялись женские жеманности – подобие кокетства. Курила тонкие женские сигареты.

С возрастом, а ей тоже уже за полтинник было, у неё стали опухать ноги, ходить долго уже не могла. Её постоянно мучило давление, особенно плохо переносила тамошнюю жару. Образование – восемь классов, даже корочек судового повара не было. Её профессия – капитанова жена!

Несмотря на внешность и грубоватые привычки, Михайловна была человеком очень широкой души, переживала за каждого члена команды как за родного. Не прийти на обед или ужин значило обидеть Татьяну. Для этого у тебя должны быть очень веские причины, а таковых для неё не существовало. Кроме одной, которую она считала уважительной – быть пьяным в стельку!

Она всегда видела, кто и как уплетает её стряпню, и радовалась как ребёнок, когда у человека был хороший аппетит и он просил добавки.

– Эй, Мичурин, зайди к Деду, он последний остался!

– Не может он, у него уважительная.

– Ладно, я ему тогда на плите оставлю. Очухается, придёт и сам себе разогреет.

Стаж работы на флоте у неё был огромным. На берегу помнила себя только почтальоном, когда её однажды собака покусала, но это было ещё до замужества. А потом всю жизнь – куда муж, туда и она. Иногда они ссорились с ним, и ругань с десятиэтажным матом из их каюты была слышна даже в машинном отделении.

– ...дождёшься, спишу к едрене матери на берег и будешь там куковать!

– ...без меня. Я хоть слежу за тобой, неблагодарный! А кто людей кормить будет?

– ...людей я кормлю, а не ты. Ты только готовишь.

У всей команды в такие периоды падало настроение, было уже не до шуток и анекдотов. Каждый чувствовал за собой подобие вины. Как дети, когда из-за них ругаются родители, прячутся и сидят насупившись по углам, желая скорейшего мира, чтобы не быть невольными свидетелями этой ругани. Но, слава богу, такое бывало не очень часто.

Но когда был какой-то праздник или у кого-то из команды был день рождения, все собирались вечером на корме,

накрывался общий шведский стол, ломящийся от всевозможных яств. Здесь Михайловна особенно старалась, чтобы память от вкуса этих деликатесов осталась в памяти каждого надолго, может, даже на всю жизнь. Праздник проходил весело, чуть ли не до утра. Вахтенных подменяли, чтобы каждому досталось отведать всего особо вкусного. Но им не наливали, да они и сами бы не выпили, как и те, кому предстояло вахтить. Вот сменишься, тогда маленько можно!

Уж каких увеселительных мероприятий не видывал Володька за время работы на пассажирских судах с туристическими рейсами, но вот так, почти по-семейному, он видел только на железяке. Кто-то сбациает свою любимую песню на гитаре, кто-то фокус покажет. Шутки, анекдоты, смешные жизненные случаи, смех до слёз! Потом песни под баян. С берега машут рыбаки с удочками. Хорошо, мол, поёте! Завидуют. И выпито порядочно, и пьяных нет, а память как о маленьком кусочке счастья – на всю жизнь.

* * *

Радиорубка на «Волгонефти» была действительно очень большая – от кормовой палубы вдоль правого борта всей надстройки до каюты радиста, которая казалась маленькой каморкой по сравнению с радиорубкой.

– Алексаньч, а это тот самый ключ, на котором ты стучишь?

– Это так называемый русский ключ, или «дятел» в простонародье. Я на нём редко работаю, рука быстро устаёт и скорость большую не дашь. С собой вожу вот этот, электронный – сам сделал. Одними пальчиками работаешь. В одну сторону нажмёшь – точки выдаёт, в другую – тире. И скорость можно вот этой ручкой регулировать.

Саня, второй штурман, фанат видеофильмов. Накопил денег на японский видак и маленький телевизор с декодером. Возил его на каждый свой пароход со всей довольно солидной коллекцией фильмов, которые просмотрел, наверное, уже раз по тридцать каждый, и знал их все наизусть. Просто он, этот Саня, не мог быть один, ему

обязательно нужно было общество. Если к нему в каюту никто не приходил смотреть боевики, то он шёл на корму играть в карты или домино. Если не находил никого в людных местах, с кем можно было бы пообщаться, то даже оттянув свою четырехчасовую вахту, он мог снова торчать в штурманской рубке ради общения. Саня знал все сплетни на пароходе – кому что нравилось, кто кому и сколько был должен, кто чего умел, кто о чём мечтал, кто и как жил до этого. Любитель компаний, не пропускал ни одной выпивки. Но как-то быстро хмелел, начинал хвастать и привирать, пока сам не понимал, что наврал такое, чего и быть не может.

Окончил тоже, как и Студент, ленинградскую мореходку, но визу ему хлопнули на последней практике, когда он пытался провезти из Италии контрабандой тридцать, вместо положенных двух по таможенной декларации, музыкальных дисков. Погорел на искусстве, как говорится. Поэтому вот и сидел в каботаже, на этой железяке.

Ему было уже под тридцать, а он всё ещё ходил во вторых. Не был женат и говорил, что даже не собирается. «Моряку жена что некурящему сигареты – сам не куришь, а других угощаешь!» – это была его любимая фраза, придуманная, конечно, не им, но из-за частого употребления в разговорах, он привык считать её своей. Она как бы оправдывала его вынужденную холостяцкую жизнь. На самом деле, Секонд был очень робким с девушками, надеялся повстречать скромную, добрую и верную, но при такой флотской жизни ему всегда попадались далеко не такие.

Фильмы смотрели долго – одни уходили на вахту, другие приходили. Даже Дед пришёл. Его за глаза все Тетерей звали, потому что он был почти глухим, как тетерев. Татьяне приходился двоюродным братом, возрастом уже под пенсию. Высокий, худощавый, с длинными седыми волосами, но на вид ещё довольно крепкий мужчина. Тоже всю жизнь механиком проработал, из машины не вылезал. В машинном отделении настоящий ад – шум от двигателей такой, что кричишь, а сам себя не слышишь. Даже не верится, что такое может быть. Чтобы сказать кому-то что-либо, нужно орать прямо в ухо.

Трапы в машинном отделении очень крутые и скользкие от масла, того и гляди, поскользнёшься и рёбра переломашь. Если на улице под тридцать, то в машине все сорок пять, да ещё духота, запах соляры и этот запредельный по децибелам шум. Никто Ивановича на пароходы не брал, а жить без них он уже не мог. Только Вась-Вася сжалился, Татьяна упростила.

У Деда был слуховой аппарат, но маленький наушник всё время выпадал из уха. Стармех часто обрывал проводок и батарейки менять замучился. Изобрёл свой собственный усилитель звука. В обыкновенном оцинкованном ведре сделал вырез для лица и надевал это ведро на голову, как шлем. По бокам, где уши, вварил две воронки-рупоры. На пароходе он везде носил с собой своё изобретение, надевал на все собрания. Над ним все смеялись, как над придурком, потому что в этом шлеме он был похож на инопланетянина. Но Тетеря не обращал на это внимания, главное — он хоть что-то в нём слышал.

Саня был горд, что благодаря своему виду доставлял всей толпе удовольствие. Все эти фильмы Володя уже смотрел по нескольку раз, когда сам крутил видео на пассажирах, что входило в его обязанности как радиста. Поэтому он рано ушёл спать. Его разбудили только на рассвете, чтобы закрыть радиорубку. Накурено в ней было так, что сквозь дым, как в густом тумане, едва можно было различить очертания передатчиков.

В Астрахани Вась-Вася как главный на железяке и как абориген всегда приказывал бросить якорь на пару суток якобы на мелкий ремонт и пополнение ЗИПа. Сам же со всей своей челядью просто отдыхал в домашних условиях. Большинство членов команды тоже были местными, и их всех также сдувало ветром с парохода первым же буксиром до самого отхода...

* * *

Остались только шесть человек нести все вахты. Володя с Виталиком как самые ненужные были посланы гонцами в город за спиртным. Им насовали столько денег, что они

даже не запомнили, кто сколько дал. На все деньги они купили водки и большую сумку помидор с малосольными огурцами. Вернуться на судно им удалось только через четыре часа – долго ждали рейдового катера.

Увидев кучу бутылок спиртного, сдачи никто не потребовал и даже не заикнулся. Да её и не осталось, все деньги были изведены на это святое дело до последней копейки. Как любил говаривать Ключ: «Сколько водки не бери, всё равно на похмелку не останется»...

– Где будем, в кают-компании или на мостике?

– Может, лучше на корме посидим, на воздухе?

– На мосту не позволю! Я здесь у вас за старшего, а мостик – это святое место! – сразу обрубил всех Коля-старпом.

– Да, ладно тебе, Колян! Святое!.. Сколько раз там выпивали. А на корме тоже стрёмно, увидеть с берега могут, даже без бинокля. В кают-компании душно, пропотеет все. Опять же, кому-то надо всегда на мосту торчать – вдруг по рации вызовут.

– Матроса посадим, пусть торчит! Кто у нас остался?

– Один Мичурин! Он волгоградский, но его Дед заставил машину драить. Сказал, чтоб к его приходу машина блестела, как котовые яйца. Уже пашет!

– Ладно, пойдём на мост! Только, пожалуйста, не свинячить! Ключ, возьми пока пару пузырей, зачем всё тащить? Мало будет, сходим. Студент, не в службу, а в дружбу, сбегай на камбуз, принеси тарелочки, вилочки там и всё такое. Балычку захвати, лучше севрюжьего отхряпай, посидим по-человечьи.

– Да, вот именно! И давайте не будем нажираться как свиньи!

– Чья бы корова мычала, Санёк.

– Ну погнали! За удачный рейс!..

– К вечеру астраханцы начнут за рыбой приезжать. Наверняка и Кэп кого-нибудь из своих пришлёт... Надо бы погодить с пьянкой-то, – предложил Чиф.

– Ну-у, до вечера-то всё выветрится! А у них на берегу что, сухой закон? – высказал своё мнение Секонд.

– У тебя-то точно выветрится, Саня. Только не раньше, чем придём в Волгоград. Без обид! – поддел его Ключ.

- Ну, раз так, то я вообще больше пить не буду.
- Ладно, извини, пошутил я.
- Надо бы Мичурина позвать на чарку, а то как-то неудобно.
- Ты прав, начальник, я как-то про него и забыл, – согласился Чиф. – Машина – мостику! Ботаник, поднимись срочно в штурманскую...
- Батюшки! Мичурин, ты же негр настоящий. Неужели у вас в машине столько грязи, что ты её всю на себе сюда принёс? Ты же на мостик пришёл, не в машину. Штурманская рубка, запомни, – это святое место!
- Не-е, не всю. Это только маленькая её часть. Я, наверное, и до отхода не успею всё отскрести. Чего я один-то? – прогнусавил паренёк.
- Мы тут решили немножко расслабиться. Много не нальём, тебе ещё пахать. Робу сбрось на палубу, умойся и приходи в одних трусах. Да-а, списывают твоего дружка. Один теперь в машине сидеть будешь, безвылазно.
- Ну, за тех, кто в море!
- Вот это моряк, сразу видно! Только как такого моряка с фингалом под глазом в Волгограде родители встретят? Подумают, что тебя здесь все бьют.
- Я вот и хочу скорее разделаться с машиной да в город сбежать. Надо позвонить, чтобы не встречали.
- Ну, это ты зря. Подумаешь, подрался! С кем не бывает. А родители – это святое! Ты им балыка свалишь как добытчик. Надо порадовать предков, это святое! Наоборот, позвони, чтобы обязательно встречали. – корчил из себя наставника Николай перед молодым практикантом.
- Ладно! Ну, спасибо, я пошёл!..
- Давайте тогда вот эти две доделаем, а уж вечером посидим капитально. Так, Клюз и Студент идут на камбуз! Посмотрите, что можно быстренько, но питательно приготовить на всех к обеду и ужину. Жрать всё равно захочется. Мне нужно вздремнуть, а то до 04.00 всю ночь не спать. Ты, Санёк, рассчитывай с 04.00 до... хотя бы до 10.00. Радиоэлектрические и Студент с Клюзом – на подхвате! Цель – смотреть, чтобы никто не подплывал и следить за вызовами по рации на шестнадцатом канале!..

* * *

Летом, особенно в конце, стоит кому-то увидеть в бинокль на берегу помидорное или бахчевое поле, железзяка останавливается, бросает якорь. Спускается на воду дюралюминиевая лодка-«казанка» с мотором «Вихрь», и у сторожа за пузырь водки набирается помидоров, арбузов, дынь, сколько надо и сколько возможно увезти.

Сейчас в низовьях Волги уже тепло, жарко даже. В совхозе, около Никольского, где обычно пассажирские суда делают остановку для отдыха туристов, устраивая праздник Нептуна, железзяку всегда ждали. Как темнело, к её борту подходил буксиришко с платформой, на которой убирались две трёхтонные машины-бензовозки. За ночь в несколько ходок скачивали в них около двадцати тонн бензина по цене в два раза меньше государственной. И совхозу хорошо – есть топливо для техники, и команда не в накладе! В придачу колхоз всегда давал двух поросят, прямо живых, по центнеру с лишним веса в каждом. Ключ временно, до освобождения морозилок, делал для них подобие хлева на корме. Дед однажды притащил откуда-то маленькую глупую собачонку, которая всю дорогу тявкала на хрюшек.

Деньги от продажи бензина Кэп, как и обещал, делал согласно паям по принципу социализма. У Володи в первый же рейс появились неплохие деньги. До полочки ещё дожить надо, а тут с неба свалилось три месячные зарплаты...

В Самаре, бывшем Куйбышеве, по приходе пришлось бросить якорь на рейде. Долго ждали, пока причал не освободится. Нужно было сделать промерку груза, пополнить ЗИП и прочее. Как в Самаре не причалить, когда здесь находятся все руководящие органы?

Свободные от вахт и работ поехали рейдовым катером на берег. Четыре человека, как маленький табор – Володя, Виталик, Саня и Ваня, первым делом заглянули в кафешку. Как же? С приходом по коньячку – святое дело! Коля-Чиф – местный, уехал домой к жене.

Помотались по магазинам, зашли на почту, отправили переводы и небольшие посылки. Потоптали самарские до-

стопримечательности, зашли ещё по коньячку и с чувством выполненного долга, затарившись спиртным на время стоянки, поехали на железяку.

За ужином у каждого на столе уже стояло по стакану водки, лично от Кэпа. Потом пьянка пошла полным ходом. Группировались компаниями по каютам. Получили деньги за осетрину, и немалые. Как не обмыть – святое дело!

Маленький табор в том же составе, плюс Коля-Чиф, сидели в радиорубке с возможностью покурить для полного кайфа. Ночью к табору примкнули Кэп с Татьяной и двумя пузырями, оставив Студента вахтить на мостике. Им, видимо, было скучно выпивать вдвоём. Все уже были в состоянии солидного подпития. К водке с балыком организмы у членов табора уже испытывали отторжение, поэтому выпивали в основном только Кэп с женой.

– Ты, Колян, давай последнюю, и... поспать тебе надо чуток, скоро на вахту. После вахты можешь домой съездить до вечера, – распорядился Кэп.

Высказывались слова благодарности лучшему капитану Астрахани, от которых у Василича аж слезу прошибало. Санёк, как обычно, быстро и незаметно отрубился на диване, так как окончательно заврался и его уже никто не слушал. В третьем часу ночи, едва выговорив свою знаменитую фразу, пошатываясь, ушёл к себе спать Клюз. Чуть позже, вся иззевавшись, задевая за все углы своим тазобедренным, пошла и Михайловна.

– Иди ложись! Тебе спать-то осталось чуть-чуть. Мы ещё посидим... Вот, Алексаныч, это тебе довесок! Не говори ничего, бери – это твоё! За жестокое убийство благородных пород рыб – самую тяжёлую и опасную работу. Мы тебя испытать хотели. Вон и твой брат, Виталька, подтвердить может. Считай, это как премия!

– Спасибо, раз так! Тогда по чуть-чуть? За премию...

– Ну давайте, да пойду я на мостик загляну. Сейчас к вам Студента пришлю, так вы ему плесните, он пацан хороший...

– Заходи, Студент! Я, правда, уже пьяный совсем сию. Вон, с Виталей выпейте, он один у нас живой ещё остался, как последний из могикан. О-о, да ты ещё и со своим

пузырём. Тогда буди Саню, а я сейчас на его место, до завтрака...

Володя завалил рыбой всех своих родственников. Железяка на пару часов, якобы для забора питьевой воды, причаливала в Кстове, недалеко от Горького. На самом же деле, Вась-Вася просто давал возможность Володьке с Виталиком выгрузить свою рыбу. Володю встречал отец на своем «Запорожце». Чтобы перевезти до дома дары Каспия, приходилось нанимать «уазик»-«буханку». Кроме осетрины грузились арбузы, помидоры, абрикосы и персики, зелёные и красные перцы, целыми мешками вяленая вобла, свежемороженые лещи, толстолобики, сазаны, сомы и другая рыба, которая стоила в астраханских садках очень дёшево. В «буханку» всё не убиралось, и отцу приходилось даже подкачивать колёса у своего «Запора» – тоже был перегружен. Не меньше выгружал в «Волгу» своего брата и Виталик.

Стихи по кругу

Александр ВЫСОЦКИЙ

* * *

Мои зимы меня заморозили,
мои лета меня заморочили...
как безудержно мчатся года!
Обезумленно мечемся, метимся
в цель благую, с которой не встретимся,
может быть, никогда.

Никогда!

Только стоит ли в чем-нибудь каяться?
Пусть случается то, что встречается
ненароком на нашем пути.
Да, не только лишь в мае нам маяться
Но и в сбивчивых буднях сбывается
то, что можно в мечтах лишь найти.

Отпусти меня, дума бесплодная!
Пусть душа, для полета свободная,
воспарит над рутиной туда,
где в потоке событий обыденных
необычное в яви увидено
и подарено мне навсегда.

* * *

Пустынна, уныла дорога
и траурен тротуар.
Величественно и строго
расставил деревья бульвар.

И груз одиночества тяжек.
И некому слова сказать.
Не только окрестности, даже
себя самого не узнать.

Какое в душе там бушует
и неутоленностью бьет?
Немотствует что-то ошую,
тоска одесную бредет.

Бывают минуты такие,
когда ты живешь не спеша,
нужны не потоки людские,
а близкая чья-то душа.

* * *

В поэзии для творчества свобода.
А дальше выбирай сам, человек:
нелъстивая державинская ода
иль льстивая сатира имярек.

Лариса МАЗУР

Дзержинск

Сонет

Ты – дух морской или властитель вод,
Что омывают бережно так тело?
А на востоке небо посветлело -
То начинается песнь свою восход.

Ты – плоть и кровь или стихийный сон?
Герой романа или кинофильма?
У птицы Феникс – видишь! – снова крылья.
Порос травой, голый прежде, склон.

А может, ты... инопланетный гость,
Решивший познакомиться с Землею?
Иль странник с романтической душою,

Которая пронизана насквозь
Дыханьем солнца, свежестью ночною?...
Ответ один – предчувствие сбылось.

Владимир ИЛЬИЧЕВ

д. Коробцово, Ярославская область

* * *

Судьба меня приводит в те места,
где ты, как выясняется, бываешь.
Я знаю от осеннего листа,
что ты меня, как прежде, знать не знаешь...

Но мы гуляем вместе по листве,
шагая и за линию сюжета.
Заметно мне, что линии здесь две,
а ты потом, поздней заметишь это.

Потом, поздней, когда настанет срок
стереться общепринятому слою,
а стая многоопытных сорок
расскажет даже мне, чего я стою.

Потом, поздней, когда мои листы
под кронами слежаты перегноем,
когда узнаешь ты – при чём здесь ты,
когда Урга подарит нам каноэ.

Скупая на цвета, как береста,
и щедрая на них, как Билли Айлиш,
судьба меня приводит в те места,
где ты, как выясняется, бываешь.

我们

Я во взгляде твоём –
чуть живая оконная муха,
без глобальных проблем,
потому что с другой стороны.
Как не смыло дождём?
Грязный случай, мушиная пруха.
Но везло бы так всем –
и прозрачнее стали бы сны.

Надо окна помыть –
ты помыслишь и выберешь клининг,
и тогда я сползу
в измерение номер икс-ноль ,
где несложное «мы» –
иероглиф на мокнущей глине,
без намёка на звук,
а с намёками – позже, весной.

Никому не скажу,
что я чувствую. Да и не смог бы.
Рассказать о таком –
значит, сделать из мухи слона.
Небывальщина. Жуть –
жить в глазах застекольной особы.
Незаметно. Молчком.
Потому что не муха она.

А вокруг столько их,
по-осеннему злых насекомых,
что, казалось бы, нет
популяциям оным угроз.
Ну, а я вот затих,
не штурмую свои бастионы.
Для чего мне ответ,
раз на глину сползти – не вопрос?

Я ничтожный изгой,
наделённый дарами Вселенной,

я во взгляде твоём
для тебя созидаю дары,
с чувством номер икс-ноль,
в безграничной истоме мгновенной...
и оконный проём –
что-то вроде червонной дыры.

Павел КЛИМЕШОВ

* * *

*О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть...*

Иннокентий Анненский

Вспоминаю тот разрыв,
Он внезапным был и грубым:
Горькой трезвости не скрыв,
В раздражение вязли губы.
Резко сгинула приязнь,
Словно вовсе не бывало...
Но зачем излилась грязь?!
Не осёкся я нимало.
Где она? И чем живёт?
Помнит. Напрочь ли забыла?..
Неподъёмен давний гнёт
От предательского пыла.

* * *

Увяли тихо упования
На запоздалую любовь –
В печальной мгле существования
Я предстаю аскетом вновь...
Ну что ж, забудусь в стихотворстве,
Словами целясь в никуда,
И при Евтерпином потворстве
Продолжу скудные года.

Лишь изредка в неясном прошлом
Мелькнул ласкающие дни,
Когда влюблялся столь дотошно
И оставались мы одни
С той дамою, собой манящей,
Но остывающей, как лёд...
Как странно в скудном настоящем
Она сквозь стынь улыбку шлёт!

Александр ШИНЕНКОВ

с. Надёжино, Нижегородская область

Зеркала

Милая, милая –
Ты уже душою в сентябре.
Милая, милая –
Золотая осень на дворе!
Зеркала в комнате –
Первые морщинки возле глаз...
Полноте, полноте –
Зеркала обманывают нас!

Где-то – где коллаж из снов цветных –
Все юны, и нет там пожилых.
Мы оттуда выпали на час –
Зеркала обманывают нас!

Старое видео –
Где ни грусти, ни морщинок нет.
Стройная, милая –
Вот они – твои семнадцать лет!
Чистая, дивная,
Самый дорогой мой человек!
Нежная, милая –
Ты такая для меня навек!

Перечитывая классику

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ

Москва

«ПОРАЗИТЕЛЬНО ДО СТОЛБНЯКА»: смерть в творчестве Бунина

Смерть — это один из основных страхов каждого человека. Нас страшит её непостижимость и неизбежность, пугает бессмысленность жизни: зачем жить, если всё равно рано или поздно превратишься в прах? Но, наверное, самое страшное для любого человека в смерти — забвение. Бунин как человек, остро чувствующий дыхание жизни, на протяжении всего своего существования так же остро чувствовал ледяное дыхание смерти, которая постоянно заглядывала ему через плечо. Об особом отношении к смерти говорит тот факт, что во многих своих произведениях писатель пишет слово Смерть с большой буквы — уж не попытка ли это задобрить старуху с косой, показав ей нарочитое уважение?

В «Жизни Арсеньева» есть замечательное, несомненно, автобиографическое признание: «Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...»

Знакомая Бунина вспоминала сходное высказывание: «У меня не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел» (Т. Д. Муравьева-Логинова. Живое прошлое // Иван Бунин. М.: Наука, 1973. Кн. 2).

А. Н. Толстой передаёт рассказ М. Горького (Бунин не раз гостил у него в Италии):

Тогда в моде была такая игра. Сидят в ресторане, зашёл человек, и вот даётся 3 минуты, чтобы посмотреть и разобрать его. Горький посмотрел и говорит: он бледный, на нём серый костюм, узкие красивые руки и всё. Андреев смотрел 3 минуты и понёс чепуху, даже цвет костюма не успел заметить. А вот у Бунина был очень зоркий глаз. Посмотрел и за 3 минуты всё успел схватить, он даже детали костюма описал, что галстук с такими-то крапинками, что неправильный ноготь на мизинце, даже бородавку успел заметить. Всё это он подробно описал, а потом сказал, что это международный жулик. Почему – этого он не знает, но жулик. Тогда они позвали метрдотеля и спросили, кто этот человек. Метрдотель сказал, что этот человек откуда-то появляется часто в Неаполе, что он собой представляет – не знает, но у него дурная слава. Значит, Бунин совершенно точно сказал (*Слово есть мышление* // Алексей Толстой. *О литературе*. М.: Советский писатель, 1956).

Неудивительно, что человек настолько чувствительный воспринимал смерть намного более болезненно, чем любой другой.

Думаю, что всё его творчество – это попытка убежать от смерти, обрести бессмертие через литературу.

Бунин, вопреки бытовавшей среди реалистов ХХI века идее зависимости человека от среды, предлагает собственную концепцию личности. Он видит человека как страстное, чувственное существо, брошенное в этот мир, как в космос, и мучительно пытающееся его постичь.

Не устану воспевать вас, звёзды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Тёмных бездн сияющие руны.

В детстве я любил вас безотчётно, –
Сказкою вы нежною мерцали..
В молодые годы только с вами
Я делил надежды и печали.

Вспоминая первые признанья,
Я ищу меж вами образ милый...
Дни пройдут – вы будете светиться
Над моей забытою могилой.

И быть может, я пойму вас, звёзды,
И мечта, быть может, воплотиться,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!

(«Не устану воспевать вас, звёзды!..», 1901)

Самоосознание – это величайший дар, который получил человек, но за него пришлось заплатить слишком высокую цену – боль от понимания своей смертности. Знание о том, что мы вырастем, расцветём и увянем – извечный спутник нашей жизни.

Осознание своей смертности преследовало человечество с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш рассуждал о смерти своего друга Энкиду: «Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен, / И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться? ... Грудь моя исполнена скорбью, / Я смерти боюсь».

Жить с постоянной мыслью о смерти очень тяжело, поэтому мы придумываем разные способы смягчить этот страх. Кто-то пытается продолжить себя в своих детях, кто-то ищет бессмертия, становясь богатым и знаменитым, кто-то верит в чудесного спасителя. Очевидно, что Бунин пытался не кануть в Лету при помощи литературы. Писатель и сам объяснял своё стремление к «словесному ремеслу» страхом перед «гробом беспамятства».

Ощущение тоски и обострённое понимание конечности своего существования было вызвано также и тем обстоятельством, что за всю свою долгую жизнь Бунин так и не обрёл своего настоящего дома, оставшись вечным

скитальцем, странником, обитателем гостиниц и чужих квартир.

Помимо этого, он не чувствовал свою причастность к человеческому обществу. Дворянин по рождению, он вёл жизнь разночинца, лишённого прочных корней и привязанностей, зарабатывающего на жизнь собственным трудом. Этим трудом для Бунина стала литература во всех её формах и проявлениях.

«Я тогда жил, несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам...)», – писал Бунин.

А вот как он передает это же чувство оторванности от всех в стихах:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать «прости» родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьётся сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом
С своей уж ветхою котомкой!

*(«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»
25 июня 1922)*

Об одиночестве в мире литературы и ощущении своей непризнанности Бунин однажды поведал в одном мучительном ночном диалоге Корнею Чуковскому:

Он с первых же слов стал хулить своих литературных собратьев: и Леонида Андреева, и Фёдора Сологуба, и Мережковского, и Бальмонта, и Блока, и Брюсова... Он говорил о писателях так, словно они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху толпы. Леонид Андреева, который в то время был своего рода властителем дум, он сравнивал с громыхающей бочкой – и вменял ему в вину полнейшее незнание русской жизни, склонность к дешёвой риторике. Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна. Брюсова – как

совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой учёностью. И так дальше. И так дальше. Все это были узурпаторы его собственной славы.

В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он ощущает себя единственным праведником, очутившихся среди преуспевающих грешников» (К. Чуковский. *Дневник. Март 1968*).

Ощущение невысказанной тоски Бунин испытал ещё в младенческом возрасте. Вот что он пишет в «Жизни Арсеньева»: «Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел лёгкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и моё сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна».

Тогда Бунин ещё не знал, что это чувство одиночества и тоски пройдёт с ним через всю его жизнь.

О своём особом отношении к смерти Бунин пишет всё в той же «Жизни Арсеньева»:

Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что всю жизнь живут под её знаком, с младенчества имеют обострённое чувство смерти (чаще всего в силу столь же обострённого чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своём детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той ночи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» Вот к подобным людям принадлежу и я.

Я с особой чувствительностью слушал в младенчестве о тёмных и нечистых силах, сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоумённые впечатления, боязнь тёмных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей – и привидений, иначе говоря, всё тех же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.

Говоря о смерти, об отношении к ней, невозможно не коснуться и веры в Бога. Так верил ли писатель в Бога и в то, что существует другая, загробная жизнь? Вот что он говорит о своих детских ощущениях:

Когда и как приобрёл я веру в Бога, понятие о Нём, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с чёрными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли; это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но всё же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть – вообще ещё очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого поста.

Бунина тянуло к Богу, и свою любовь к нему он чаще всего высказывал в поэзии, а не в прозе. Интересно, что в опубликованной переписке с архимандритом Киприаном Керном Бунин обращается к нему почти как деревенская старушка к своему батюшке. Он пишет: «Батюшка, перекрестите меня, чтобы мне было легче жить».

В 1918 году Бунин пишет такое стихотворение:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Были ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

А этими строками заканчивается стихотворение, написанное, когда Бунину было 82 года, за год до смерти:

Никого в подлунном мире,
Только Бог и я.

Писатель снова, как будто в детстве, остается наедине с Богом.

Страшное и в то же время обыденное, близкое к природе открытие делает герой Бунина в «Жизни Арсеньева» после похорон Писарева, общего знакомого их семьи: «Мир стал как будто моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушёл из него...» Природа жестока и в то же время справедлива: приходит время, и всё отжившее, старое, дряхлое должно дать дорогу новому, свежему, молодому. По-другому быть не может, как бы страшно это ни звучало. Вообще у деревенских жителей, которые ближе к природе, особое отношение к смерти, они воспринимают её как нечто само собой разумеющееся, как-то просто и без надрыва, понимая, что все мы пришли из земли, в землю же должны и уйти. Бунин же, умом понимая этот непреложный закон природы, так до конца и не смог его осознать и с ним примириться.

Первый раз со смертью Бунин столкнулся уже в детстве, когда умерла его маленькая сестра. И это первое столкновение со смертью вызвало у него смешанное чувство ужаса и восторга, удивление перед непостижимым и преклонение перед тайной. В романе «Жизнь Арсеньева», который в какой-то степени является автобиографичным, писатель вспоминает ночь, когда отпевали его сестру: «Более волшебной ночи не было во всей моей жизни». Тогда он открыл для себя страшную тайну бытия, что «вообще всё земное, всё живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью» и что с ним тоже «каждую минуту может случиться то дикое, ужасное», что случилось с его сестрой. Потом до самых последних дней Бунин будет бояться и избегать зрелища смерти.

Не случайно «Жизнь Арсеньева. Юность» открывается торжественной фразой из книги старообрядца-проповедника XVIII века Ивана Филиппова, варьирующим мотив памяти: «Вещи и дела, аще не написанныи бывают, тмою покрываются и гробу безпамятства предаются, написанныи же яко одушевленнии...» Не по этой ли причине и герой Бунина Арсеньев, и сам писатель так болезненно стремились к литературе? Ведь только

напечатанное слово может гарантировать человеку бессмертие и незабвение.

Возникает логичный вопрос: а как Бунин пришёл к литературе, какими путями?

Одна из глав «Жизни Арсеньева» начинается такими словами: «Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих... Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу».

Согласно другим воспоминаниям писателя, судьбу его определил скорее не случай, а предопределение.

«То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь “на роду написано”. <...> От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но всё-таки могу представить себе их не писателями, а вот самого себя не представляю, – утверждал Бунин («Из записей», 1927).

Внешним же толчком послужило одно странное происшествие. Когда писателю было восемь лет, он увидел в какой-то книжке изображение уродливого человека, карлика с палкой, и прочёл подпись под картинкой, поразившую непонятным последним словом: «Встреча в горах с кретином».

В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день всё-таки каким-то началом моего писательства? Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами... <...> Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки останутся во всемирной истории («Автобиографические заметки», 1950).

Книга основывается на личном материале, и в этом смысле она продолжает традицию художественных авто-

биографий. Параллельно с Буниным писалось «Детство Никиты» А. Толстого, «Юнкера» А. Куприна, «Богомолье» И. Шмелёва, чуть позднее – «Времена» М. Осоргина.

Однако, не отрицая связи жизни Алексея Арсеньева с собственной жизнью, Бунин протестовал против чисто автобиографического прочтения. «Вот думают, что история Арсеньева – моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошёл в её жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился в неё. Да ведь как влюбился... Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть её во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я её выдумал... Проснулся однажды и думаю: господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А, оказывается, её не было...» – рассказывал Бунин одному своему собеседнику (А. Седых).

Но в другом интервью он признался: «Можно при желании считать этот роман автобиографией, так как для меня всякий искренний роман – автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых, оживляет работу, а во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору».

В романе легко узнаются реальные люди (отец писателя Алексей Николаевич, братья Юлий и Евгений, обстоятельства мучительного романа с Варварой Пашенко). Наверное, именно поэтому при внесении правок Бунин намеренно дистанцировался от своих героев – поменял имена и удалил те эпизоды, в которых бы легко угадывались эпизоды его собственной биографии. Тем самым он поставил перед читателем нелёгкую, но интересную задачу: так сказать, отделить зёрна от плевел, то есть понять, что в романе на самом деле происходило с писателем, а что является чистой выдумкой.

В 1933 году, после выхода романа «Жизнь Арсеньева» в свет, Бунин первым из русских писателей получил Нобелевскую премию, на которую впервые он был выдвинут ещё в 1922 году (в 1923 году её получил ирландский поэт Йитс).

В официальном сообщении Нобелевского комитета указывалось: «Решением Шведской академии от 10 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер». В своей речи при вручении премии представитель Шведской академии Пер Хальстрём, высоко оценив поэтический дар Бунина, особо остановился на его способности необычайно выразительно и точно описывать реальную жизнь. В ответной речи Бунин отметил смелость Шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту. Стоит сказать, что во время вручения премий за 1933 год зал Академии был украшен, против правил, только шведскими флагами – из-за Ивана Бунина – «лица без гражданства». Как считал сам писатель, премию он получил за «Жизнь Арсеньева», свое лучшее произведение.

Бунин любил вспоминать эпизод, случившийся во время его визита к Мережковским сразу после присуждения ему Нобелевской премии. В комнату ворвался художник Х. и, не заметив Бунина, воскликнул во весь голос: «Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую премию Бунину дали!» После этого он увидел Бунина и, не меняя выражения лица, вскрикнул: «Иван Алексеевич! Дорогой! Поздравляю, от всего сердца поздравляю! Счастлив за вас, за всех нас! За Россию! Простите, что не успел лично прийти засвидетельствовать...»

Вернёмся к теме смерти в творчестве Бунина. Впервые в полную силу эта непростая тема зазвучала в рассказе «Сосны», который был написан в Ялте в 1901 году, когда Бунин гостил у Чехова, спасаясь от личных невзгод и переживаний. «Море, небо полно невыразимой радости, а я один, дьявольски один, т. е. не в смысле знакомых, конечно, – писал Бунин в это время в письме Н. Телешову. – Пропадает моя молодость ни за что». «Сосны» – рассказ о смерти и похоронах охотника Митрофана, который «прожил свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни» и прошёл «тяжёлую лесную дорогу» жизни «беспрекословно». «И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, – перед смер-

тью». Рассказчик предлагает Митрофану съездить в больницу, на что он отвечает, снисходительно улыбаясь: «За траву не удержишься». Что это: обесценивание и равнодушие к собственной жизни или то спокойное отношение к смерти простых людей, которое всегда удивляло Бунина и которое он называл «мудростью народа» или «мудростью предков» и которое всегда стремился постичь?

А может, всё намного прозаичнее? Может, дело не в мудрости? Может, не видя смысла в своей жизни, крестьяне так просто относятся к смерти? Вот что говорит Митрофан о своей жизни: «Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной – и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку». Черета дней, которые сливаются друг с другом, не принося никакого просвета впереди, – есть ли за что бороться, стоя на пороге смерти и, возможно, видя в ней своё избавление?

Как видно из рассказа, Митрофан и сам не понимает, для чего живёт: «Придешь, заснёшь – глядь, уж опять утро и опять пошёл на работу... была бы шея – хомут найдётся! Говорят – живёте вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить, – не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано – и шабаш».

Поражает рассказчика не только равнодушие к собственной смерти, но и равнодушие крестьян к смерти близких людей. «Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?...» Вся атмосфера рассказа нарочито будничная, обыденная, скучная, нет никакого надрыва, ощущения случившейся трагедии. Митрофана отпевают и хоронят с такой деловитостью, как будто смерть – это что-то настолько будничное, что не стоит на ней заострять внимание.

Писатель с благоговением говорит о погребальном обряде, о молитве, в которой он слышит «печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни». Но ни философия, ни религия не могут утешить героя. После похорон он с печалью смотрит на могилу Митрофана, на его новое

пристанище. «Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным – думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, – тайну ненужности и в то же время значительности всего земного».

Заканчивается рассказ такой фразой: «Отдалённый, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...» Сосны здесь символизируют вечность. Это не случайно. Ещё в древнем славянском погребальном обряде хвоей ели посыпали постель покойника, а сосновой хвоей – дно гроба. Несменяемая зелень ассоциируется с вечным покоем.

В повести «Митина любовь», впервые опубликованной в парижском журнале «Современные записки» в 1925 году, смерть носит несколько иной характер. Самоубийство главный герой, студент Митя, совершает не в силах выдержать мук отвергнутой любви к ученице частной театральной школы Кате. «Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного – хоть на минуту избавиться от неё и не попасть в тот ужасный мир, где он провёл весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжёлый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил». Герой принимает смерть с радостью, с наслаждением, но до конца не осознаёт совершаемого поступка. Тем нелепее кажется его смерть, которую он совершает под влиянием эмоций, когда понимаешь, что если бы он дал себе немного времени на раздумья, может, и не было бы этой смерти, а прожил бы он долгую счастливую жизнь, женился, завёл детей.

Когда Митя только планировал самоубийство, он «и сам не мог понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, обо-

рвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые открылся перед ним...»

В «Митиной любви» Бунин снова затрагивает неоднократно поднимаемую им тему: детское восприятие смерти:

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на неё большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери крышку гроба, обитую золотой парчой, – и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всём: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошёл в сад, в пёструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, ещё более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц – и ничего не узнавал: во всём была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только ещё сверху горячей траве бабочки, – всё было не так, как сутки тому назад, всё преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, её вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как ещё долго чувствовался – или мнился – в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Не один раз в своих произведениях Бунин описывает это ощущение перемены восприятия мира после близкого столкновения со смертью. Она словно накладывает на всё отпечаток своей мерзкой костлявой лапы, и после того, как ты с ней соприкоснёшься, уже ничто не будет так, как прежде.

В июне 1896 года Бунин посетил ялтинское кладбище, после чего родилось стихотворение «Кипарисы», в котором он печально и тревожно говорит о неизбежности смерти. У многих народов кипарис – дерево грусти, печали, смерти. Овидий с горечью восклицал: «Мне хорош

один только похоронный алтарь, опоясанный зловещим кипарисом».

В стихотворении кипарисы представляют собой резкий контраст с «городом живых», где «гремит и блещет жизнь», «минутная, дневная», которая «не смущает» их. Этими противопоставлениями Бунин напоминает, что человек и всё окружающее смертно, что рано или поздно все попадают туда, где «задумчивой толпой» их «ждут» кипарисы.

В рассказе «Темир-Аксак-Хан» нищий татарин в крымской деревенской кофейне поёт песню о «славном Темир-Аксак-Хане», перед которым «трепетал весь подлунный мир». Перед кончиной этот «славный хан» сидел в пыли на камнях базара и целовал лохмотья калек, говоря им: «Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать». «И, когда господь сжалился наконец над ним, – пишет в рассказе Бунин, – скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замёл их развалины под вечно синим, как драгоценная лазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем». Так, устами нищего Бунин утверждает, что нищий и царь одинаковы перед лицом смерти. Тогда зачем же богатство, слава, наслаждение женской красотой, власть и могущество? «А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя? <...> Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мёд земных обольщений?» Смерть всех сравнивала, перед её лицом все наги и беспомощны.

Когда в своих произведениях Бунин касается темы смерти, он использует определённые символы, которые кочуют у него из одного произведения в другое, – это сосна и кипарис, пыль, тишина и звёзды.

«Пыль – это последняя стадия энтропии, властвующей в мире. Серая, однородная и неизменная пыль – это то, во что превращается вся богатая и яркая материя жизни, это смерть, неподвижность, вечность. Это конечное торжество грозных сил вселенной», – пишет Ю. В. Мальцев в своей книге «Иван Бунин».

Пыль скорее всего ассоциируется с прахом и тленом, которые в свою очередь символизируют смерть.

В рассказе «Сосны» Федосья, притворяя за собой дверь, произносит: «Там пыль!» Это восклицание Федосьи кажется странным, ведь за дверью лежит «сухой бархатистый снег». Здесь пыль ассоциируется у Бунина с известием о смерти Митрофана.

Не зря «славный Темир-Аксак-Хан» перед кончиной сидит в пыли, и именно в пыль и прах превратятся его царства, города и дворцы.

В рассказе «Алупка», повествующем о другой смерти – о смерти любви, героиня идёт по «пыльному переулку», потому что у Бунина пыль появляется только тогда, когда он будет говорить о смерти, разрушении и забвении.

Пыль символизирует не только смерть, она ассоциируется со скукой и неподвижностью.

Пыль, которая покрывает остатки некогда великих цивилизаций, встречается во всех «путевых поэмах» писателя. Он с тоской наблюдает, как эта азиатчина и пыль засасывает Русь. В 1913 году Бунин пишет рассказ «Пыль», в котором повествует о городе, который кажется насквозь пропитанным пылью: «запыленные тополя», «пыльное солнце», «запыленные извозчики», «серый от пыли вагон трамвая», «истёртые, с пылью в складках, сапоги» мещанина, «вагон покатился вниз навстречу целой тучи пыли», «серебристое от зноя и пыли небо», «пыльное стекло» вагона. Здесь звучит тема вырождения и деградации. Герой рассказа спешно покидает «этот большой мёртвый город, вечно заносимый пылью, подобно оазисам среднеазиатских пустынь, подобно египетским каналам, засыпаемым песками».

Смерть у Бунина часто сопровождается тишиной, которая является выразительной доминантой произведения, символом мировой гармонии. В рассказе «Сосны» тишина ощущается буквально физически, она отдаётся в ушах звоном полного беззвучия и какой-то непостижимой пустоты, притом что в рассказе всё-таки присутствуют люди. Одиночество и смерть всегда идут рука об руку: человек приходит в этот мир один, и последний путь ему приходится преодолеть в полном одиночестве.

День похорон Митрофана кажется «очень долгод в мёртвой тишине». «В деревушке – ни звука, робко краснеет огонёк тихой избы Митрофана». После похорон Следопыта тишина приобретает особый, космический смысл, символизируя гармонию мира. Вот почему она «царит» на лесной поляне.

В произведениях Бунина о смерти всегда присутствуют звёзды – символы вечности. И это не случайно. В стихотворении «В горной долине» Бунин пишет: «Бледны и грустны вы, горные звёзды: / Вы созерцаете смерть». Звёзды принадлежат ночи, в таинственную жизнь которой писатель пытался проникнуть всегда. Ночь для Бунина – это такая же тайна мира, как и смерть. Во многих его произведениях смерть незримыми нитями связана с ночью, важнейшими элементами которой является ночное небо и звёзды. В рассказе «Сосны» «большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной». В рассказе «В ночном море» «звёздный узор», неподвижно стоящий в вышине, «созерцает» духовную смерть героев, лишённых самого дорогого для человека – памяти.

Смерть преследовала Бунина всю жизнь: смерть Чехова, потрясшая писателя, гибель от менингита единственного сына – пятилетнего Коли, смерть родителей, а затем и любимого брата Юлия. Смерть следует за Буниным неотступно, на каждом шагу напоминая о своём присутствии.

Смерть кажется ещё более жуткой и нелепой, потому что после смерти остаются предметы и вещи, окружающие человека при жизни, и даже животные, к которым был привязан человек. В стихотворении «Художник» Бунин рисует образ А.П. Чехова, думающего о своей скорой кончине: «Он, улыбаясь, думает о том, как будут выносить его...». В стихотворении Чехов обращается к «томящемуся от зноя, грифельному журавлю», птице, живущей в его саду: «Что, птица? Недурно бы на Волгу, в Ярославль!». Бунин воспроизводит жуткую картину похорон Чехова: «С крыльца с кадиллом сходит толстый поп, Выводит хор...

Журавль, пугаясь хора, Защёлкает, взвосьётся от забора – И ну плясать и стучать клювом в гроб!» Осиротевший «грифельный журавль» переживёт своего хозяина, как и в рассказе «Сосны» переживёт Митрофана его собака. Человек уходит, а мир, который он любил, остаётся. Поэтому смерть в изображении Бунина кажется ещё более страшной, безжалостной и жестокой.

Все понимают неизбежность смерти, но никто не хочет исчезнуть совсем. О самом страшном в смерти – забвении – Бунин повествует в рассказе «В ночном море», действие которого происходит у берегов Евпатории. В основу рассказа положено реальное событие из жизни писателя: его встреча на корабле с бывшим другом А.Н. Бибиковым, к которому когда-то ушла В. Пашенко.

Пугает уже самое начало разговора двух попутчиков, случайно встретившихся на корабле, спустя двадцать три года после последней встречи:

– Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены.

– Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?

– Гм! Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте: в могиле. Не шуточная вещь.

Создаётся полное ощущение того, что эти герои уже мертвы, в них нет никаких чувств, никаких стремлений.

Один из попутчиков сообщает другому, что жить ему осталось считанные дни:

...я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее – год. У меня достоверно установленная и мною самим, и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывало. Только саркастически усмехаюсь: хотел, извольте ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою

голову добился – великолепно узнал свою собственную смерть. То бы меня дурачили, обманывали, – что вы, батенька, мы ещё повоюем, черт возьми! – а тут как обманешь, как совершь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью «Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить... *Finita la comedia!*»

И снова полное равнодушие, никаких чувств, никаких эмоций.

Ещё страшнее становится, когда видишь, с каким безразличием воспринимает герой рассказа весть о смерти своей бывшей возлюбленной. Он был даже удивлён «своему бесчувствию»: «Развернул утром газету – слегка ударило в глаза: волею божиею, такая-то... с непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой чёрной раме, на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... Затем постарался загрузить...» «Слегка ударило в глаза», «постарался загрузить», «даже грусти не вышло» – и это он говорит о женщине, которую когда-то любил без памяти.. «Говорят: прошлое, прошлое! А всё вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только, слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то», – произносит собеседник героя.

У героев рассказа «В ночном море», действительно, нет прошлого, потому что нет памяти, она мертва. Жизнь их призрачна и иллюзорна. Эти герои ещё живы, но, по сути, они мертвы.

Ф. А. Степун в своей книге «Иван Бунин» заметил: «Над первою смертью мы не вольны, вне благодатной веры она сплошной ужас и трепетанье твари. Над второю смертью у нас есть власть. Имя этой власти – искусство. Магический жест этого искусства – память. <...> В сущности, каждый подлинный художник – творец вечной памяти и заклинатель смерти».

В 1915 году появился рассказ «Господин из Сан-Франциско». Замысел рассказа возник у писателя во время путешествия на пароходе, следовавшем из Италии. Трагедия смерти господина из Сан-Франциско заключается в том, что смерть приходит к нему совершенно неожиданно, вне-

запно, прямо посреди тягучей скуки медленно протекающих дней, которые он вместе со своей женой и дочерью проводят в праздных развлечениях, купаясь в угодливости прислуги, окружающей их на протяжении всего их путешествия.

Смерть наступает в такой будничной обстановке и так неожиданно, что её не успеваешь осознать: «Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочёл несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, – как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напряжилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперёд, хотел глотнуть воздуха – и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом – и всё тело, извиваясь, задирая ковёр каблукми, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то».

Началась суета, а хозяин метался, уверяя гостей, «что это так, пустяк, маленький обморок с господином из Сан-Франциско».

Бунин показывает, как сильна в человеке жажда жизни, как из последних сил он цепляется за последний шанс выжить: «А он ещё бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный...»

Но вот уже наступают его последние минуты:

Господин из Сан-Франциско лежал на дешёвой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мёртвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещённого отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, – его больше не было, – а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось – хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Как мастерски, уделяя особое внимание мельчайшим деталям, Бунин рисует сцену смерти, ничто не ускользает от его поразительного внимания. Картина получается на удивление реалистичной, как, впрочем, всё в прозе Бунина.

В этом рассказе Бунин устраивает для своих героев своеобразное испытание смертью. Перед господином и его семьей лебезит хозяин отеля и вся прислуга в надежде на щедрые чаевые, но как только тот умирает, поведение тех же самых людей кардинально меняется. На просьбу жены умершего перенести его тело в комнату хозяин отеля отвечает:

«— О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско».

Смерть таким образом открывает завесу и показывает, что на самом деле представляет из себя господин из Сан-Франциско и те, кто его окружают. Смерть безжалостна, она не терпит фальши, и на её арене игра происходит только по её правилам.

Находясь в эмиграции в Париже (и уже так и не вернувшись в Россию), Бунин рассуждал о человеческой жизни: «Что вообще остаётся в человеке от целой прожитой жизни? Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства. Мы живём всем тем, чем живём, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живём. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастья или несчастья, яркого сознания приобретения или потери; ещё — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти». В этих словах и грусть, и ностальгия по прошлому, по тому, чего уже никак не вернуть.

С годами к Бунину приходит трагическое понимание того, что все близкие люди, которые уже покинули этот мир, живы, только пока живёт его память, а когда он умрёт, и они умрут уже навсегда. «Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют — в моей памя-

ти. Когда умру, им полный конец... Всё живое становится для меня моё прошлое... Боже, как всё вижу, чувствую!» (Дневник, 22 сентября 1942).

С годами, приближаясь к завершающему этапу своей жизни, Бунин всё чаще задумывается о смерти, но только теперь она для него более зрима, он уже чувствует её ледяное дыхание на своём затылке. Писатель понимает, что он тоже умрёт, как все люди, потому что таков закон природы, но до конца осознать этого так и не может.

Страх смерти всегда идёт рука об руку со страхом старости, потому что с приближением старости приближается и та черта, которую каждому человеку суждено перейти только один раз и откуда нет возврата.

Вот что рассказывал Набоков:

Когда я с ним познакомился, его болезненно занимало собственное старение. С первых же сказанных нами друг другу слов он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Он наслаждался только что полученной Нобелевской премией и, помнится, пригласил меня в какой-то дорогой и модный парижский ресторан для душевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов и кафе, особенно парижских – толпы спешащих лакеев, цыган, вермутных смесей, кофе, закусок, слоняющихся от стола к столу музыкантов и тому подобного... Душевные разговоры, исповеди на Достоевский манер тоже не по моей части. Бунин, подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным словарем, был озадачен моим равнодушием к рябчику, которого я достаточно попробовал в детстве, и раздражен моим отказом разговаривать на эсхатологические темы. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрёте в страшных мучениях и в совершенном одиночестве», – горько отметил Бунин, когда мы направились к вешалкам... Я хотел помочь Бунину надеть его реглан, но он остановил меня гордым движением ладони. Продолжая учтиво бороться – он теперь старался помочь мне, – мы выплыли в бледную пасмурность парижского зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг приятное лицо его перекосилось выражением недоумения и досады. С опаской распахнув пальто, он принялся рыться где-то подмышкой.

Я пришёл ему на помощь, и общими усилиями мы вытащили мой длинный шарф, который девица ошибкой засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга, к скабрезному веселью трёх панельных шлюх. Закончив эту операцию, мы молча продолжали путь до угла, где обменялись рукопожатиями и расстались.

В одном из своих последних рассказов, «Бернар» (1952), Бунин вспоминает французского моряка, спутника Мопассана, последняя фраза которого, произнесённая перед смертью, звучала так: «Думаю, что я был хороший моряк».

«А что хотел он выразить этими словами? – размышляет Бунин. – Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас даёт вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что всё в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намеренье, направленное к тому, чтобы всё в этом мире “было хорошо” и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость».

Бунин завершает этот рассказ полными скромной гордости словами: «Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».

В ноябре 1952 года Бунин написал последнее стихотворение, а в мае следующего года сделал последнюю запись в дневнике: «Это всё-таки поразительно до столбняка! Через некоторое, очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!»

Бунин очень много думал о Чехове, смерть которого его сильно потрясла, так как, по словам самого Бунина, ни с кем из коллег литераторов у него не было таких тёплых отношений, как с Чеховым. Думал он о нём и в последние дни своей жизни. По воспоминаниям М. Алданова, когда больному Бунину читать стало трудно, «читала вслух

жена, Вера Николаевна. 7 ноября читала ему до полуночи (он скончался через два часа после этого) письма Чехова; он просил делать в некоторых местах отметки: готовил о Чехове книгу. О нем всегда говорил с нежностью; а о Льве Толстом с благоговением, – с ним никого и сравнивать нельзя» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1953, кн. 35). Умер Бунин в съёмной квартире в Париже в присутствии жены и последнего секретаря Алексея Бахраха от склероза лёгких и сердечной астмы.

Писатель работал до последних дней – на столе осталась рукопись книги о Чехове. Все крупные газеты поместили некрологи, и даже в «Советской правде» появилось краткое сообщение: «В Париже скончался эмигрантский писатель Иван Бунин». Его похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Мне кажется, что лучше всего о таланте Бунина отзывался архимандрит Киприан Керн, о котором я уже упоминала в этой статье. Он написал в одном из писем Бунину: «Боже мой, сколько Ты дал этому человеку, Боже мой, как Ты одарил его, как он богат Тобою... Я восхищаюсь замыслом Божиим о вас и думаю о том величайшем назначении человека, которое дано всякому и с особенной силой запечатлено на вас».

Вехи памяти

Сергей ШЕВЦОВ

Москва

«НИЧЕГО В МИРЕ ДОРОЖЕ НЕТ»

Воспоминания актера Н.Г. Волошина

*Посвящается народному артисту РСФСР
Николаю Григорьевичу Волошину*

Справка

Волошин Николай Григорьевич. Родился 1 января 1927 года в Кривом Роге. Советский актер театра и кино.

Заслуженный артист РСФСР (21.05.1968). Народный артист РСФСР (21.10.1981).

Окончил в 1952 году ГИТИС. Работал в Свердловском театре драмы (1952–1955). С 1956 по 1993 год – актёр Нижегородского академического театра драмы имени Горького. Сыграл главные роли в десятках спектаклей. Снялся в художественных фильмах: «Как закалялась сталь», «На застрашенной улице», «Хлеб – имя существительное», «А в России опять окаянные дни», «Семья вурдалаков», «Украинская вендетта» и др. Лауреат премии им. К.С. Станиславского, награжден орденом «Знак Почета».

Ушёл из жизни 20 сентября 2000 года. Похоронен на нижегородском кладбище «Марьяна Роца».

Предисловие

Я, Сергей Шевцов, военный журналист, полковник полиции, до поступления в военную академию с 1979 по 1984 г. работал в г. Горьком специальным корреспондентом, начальником отдела газеты «Начеку» Управления внутренних

войск МВД России по Приволжскому округу, нередко также мои материалы публиковала газета «Горьковский рабочий», был внештатным корреспондентом этой газеты. В Горьковском театре драмы работала в качестве актрисы моя супруга Флера Заринова (ныне Шевцова). Я посмотрел в то время все спектакли театра, был знаком со многими его актерами. Горьковчане (нижегородцы), многие театралы наверняка хорошо знают и помнят Николая Григорьевича Волошина, народного артиста РСФСР, который прослужил в этом театре 37 лет. Талантливый артист и замечательный светлый человек. С ним работали нынешние директор театра Борис Кайнов и бывший худрук театра народный артист России Георгий Демуров, другие артисты театра.

Я уже учился на редакторском отделении в военной академии в Москве, когда моя супруга рассказала мне о том, что Николай Григорьевич в кругу артистов в неформальной обстановке рассказывал о том, как подростком пережил войну в фашистской оккупации. Мне эти истории показались интересными, я позвонил Николаю Григорьевичу в Горький, и мы договорились о встрече. Я специально приехал к нему из Москвы в гости, и мы долго беседовали, он рассказал мне о пережитом. Эти материалы, эти записи, к огромному сожалению, поначалу затерялись в моих архивах в связи с частыми моими переездами. Но вот я нашел их, систематизировал, отредактировал, структурировал по смысловым блокам в новеллы, и получилось то, что получилось.

С. Ш.

Солдат цвета спелого хлеба

Вы спросите, что самое главное, самое яркое в моей жизни, что так сильно волнует меня все мои долгие годы? Серая шинель! Русская шинель...

Как вижу солдат, так слезы на глаза наворачиваются. До чего же я их люблю! Они мне жизнь заново подарили. И если меня спросят днем и ночью, кто угодно спросит: был ли у тебя самый счастливый день, и есть ли он у тебя? Я с ходу отвечу. У меня был этот день.

Те, кто на фронте, пережили одно, а мы, кто остался на оккупированной территории, пережили другое. Мне шел

четырнадцатый год, когда немцы заняли Кривой Рог. Не забыть, как они въезжали в город в трусах. На мотоциклах. В касках и трусах. Сапоги и трусы. Такая работа у них чистая. И танкисты скалили зубы, выглядывали из башен. И наши пленные солдаты шли по обочине. А как их бомбили! Такой грохот стоял! Не жалели немцы снарядов. А одного солдата или офицера на телеге везли. Все белье нижнее в крови, только маленькие белые пятна оставались, а остальное все пропитано кровью.

И мы пережили долгую, бесконечную страшную фашистскую оккупацию. Казалось, мы, худые, бледные, обессиленные, больше просто не выдержим. Четыре месяца фронт стоял под Кривым Рогом, наши готовились к штурму, накапливали силы. Все время стреляли. Грохотали снаряды... Эти четыре месяца ожидания довели нас до крайности. Как юность многое терпела! Порой было ощущение, что чем больше стреляли, тем больше азарта, наступал какой-то необъяснимый восторг: давай, пускай рядом рвутся снаряды! А порой страх набрасывался, и я кричал маме, чтобы она меня в угол спрятала и завалила подушками.

Последние несколько недель были самыми страшными. Казалось, целую вечность просидели с моим другом, а потом и с отцом и дядькой в яме и дышали через трубочки в крышке. И в погребе прятались. Немцы многих оставшихся мужиков и подростков либо угоняли в Германию, либо расстреливали. А потом после войны, когда бегал я в этот погреб за тарелкой холодца, то не выдерживал даже нескольких секунд. Такой ужас охватывал.

Гитлер называл Кривой Рог «Золотым Рогом». 60 процентов – железная руда! Но наши, покидая город, взорвали все, затопили шахты, и Гитлеру ничего не досталось. А теперь наши возвращались. Как ждали мы этого дня, не передать никакими словами.

И вот начался штурм, грохот был сильный. И мы почувствовали, что город начинают брать. Мы потом узнали, что был приказ советского командования по зданиям не стрелять из тяжелой артиллерии, бить только по позициям немцев, все в городе беречь и сохранять. Только «сорокапятки» лязгали, лязгали где-то близко. Наши солдатики

брали улицу за улицей автоматным и пулеметным огнем. И своими жизнями. Сохраняли нас, сохраняли...

Из погреба слышно было, как бой начинался отдельными выстрелами, а потом лавина пошла, водопад, все смешалось. И потом этот водопад вдруг оборвался, затих. И мы подумали, что атаку немцы отбили. Тишина. Показалось, еще мгновение, и мы не выдержим, от отчаяния умрем. И замерзли, и дышать нечем. И вдруг слышим, доносится какой-то стук в дверь нашей хаты. И какой-то неясный голос крикнул. Показалось, немецкий. Но потом я понял. Кричали: «Кто есть?!» Видимо, солдат пробежал, стукнул и крикнул. И потом соседская девочка все поняла и увидела, и стала стучать чем-то, шуметь и кричать: «Наши! Наши!»

И вот мы выбрались из своего маленького деревянного корытца, в котором сидели в погребе. В нем было не так сыро, как на мокром холодном полу. И, дрожащие, выползли из этого подвала. Мы были как ростки давно выкопанной картошки – вялые, бледные. И сразу же ослепли. От солнца и белого снега. Это был в феврале такой день! И только я стал различать деревья, хату нашу, огород... И вдруг – вот оно, мое счастье на всю жизнь! Через огород бежит к нам фигурка, бежит русский солдат.

Четыре года перед нашими глазами были лягушачьи, эти жабы шинели, эти чужие запахи и лающая речь. И страх, что вот это все чужое с нами навсегда, а наше, такое родное до слез, наша Родина, наши солдаты никогда не вернуться. Такой страх у меня, пацана, был, конечно. И потом – вот он бежит – русский солдат в шинели спелого хлеба. Сейчас шинель у военных немного другого цвета. А тогда была, как созревшая пшеница, выгоревшая, серо-желтоватая. Она для меня приравнялась к земле, к траве, к лесу, хлебу, слилась со всем самым дорогим для меня. Я всегда переживаю этот момент, как будто он был полчаса назад. Всегда остро, всегда одинаково сильно.

И солдат-то бежит обыкновенненький, небольшого роста, шинель длинная. Но цвет шинели – спелого хлеба, спелой пшеницы, наша волосатая родная шинель! И мы этого солдатика обнимали, целовали, и он счастливый,

и он плачет, и мы плачем. А девочка соседская почему-то кричала сквозь слезы: «Папка! Папка..!» Хватала его за шинель и прижималась к нему. Хотя это был не ее папка. И в те минуты как будто все праздники мира ворвались одновременно в мою грудь и разорвали ее в каком-то радостном фейерверке. Мне казалось, что я повис на какое-то время в воздухе. Внутри меня разорвался огромный снаряд счастья.

Солдатик. У него, помню, на голове пилоточка, пшеничные волосы... Маленький, заплетается в длинной шинельке. И этот простой человечек, простой-простой, деревенский может быть, и слова-то красивые пафосные говорить не умеет, и как он решает судьбы людей, судьбы Родины и всей планеты! Вдруг приносит счастье освобождения.

Это мой солдатик, солдат-освободитель в серой шинели, стоит на пьедестале в Трептов-парке и рассек своим мечом фашистскую свастику и прижал всех нас, своих детей, с маленькими трепещущими сердечками к своей груди.

И уже в те минуты, когда мы встречали этого солдатика, меня как будто пронизало: сколько у меня теперь в жизни будет радости, сколько всего может случиться хорошего! И я начал рисовать, и о театре немножко мечтать.

И я теперь как увижу солдата в форме, так не могу отвызаться от тех моих ощущений. Я их люблю. Это моя вечная любовь – русский солдат. Вечная любовь. На всю жизнь.

Живая-мертвая девушка

И еще у меня был сильный момент потрясения и переживаний. Когда я увидел первого убитого человека. Это была русская девушка. Прекрасная девушка. Она лежала в высокой траве рядом с лесополосой. Травы благоухали, стрекотали кузнечики, бабочки перелетали с цветка на цветок. И тишина удивительная вокруг, и эти мошки, и пчелы мед собирают. Дз-з-з-з... – гудит так все тихонько, все живет. А она лежит в этой живой траве настолько прекрасная! И не обезобразила ее ни война, ни смерть. И крови не было видно. И волосы светлые, как лен. Глаза закрыты, как будто спит. Не помню, сколько времени

стоял над ней. Казалось, она хоть и не дышит, но живая. Гимнастерочка чистая, только карманы были вывернуты, документы, видно, у нее забрали. Сапожки хромовые начищены до блеска.

Она лежала как упрек всему миру. И я думал, что если бы увидели матери этих немецких солдат, кого их сыновья убили, то мне казалось, что они бы своими руками задушили своих сыновей.

Мать нашла сына

Когда наша армия освобождала Кривой Рог и через город пошли русские танки, откуда-то из всех погребов, укрытий и щелей повылазили полуживые мужики и хватали в руки кто вилы, кто лопаты, кто немецкий автомат подобрал, цеплялись за танки, лезли на броню и с нашими танкистами так шли в атаку. С криками «Ура!» висели на танках, как муравьи. Рвались добывать немцев. Столько накопилось ненависти!

А немцы за городом успели окопаться, и когда наши танки к ним приблизились, то почти всех сидящих на броне мужиков фашисты посбивали из пулеметов. Был февраль, мерзлая земля. Убитых прикапывали на ходу, наспех, неглубоко. И вот одна женщина, соседка наша, Прокопенко ее фамилия, у нее уже два сына погибли на войне, похоронки получила, теперь пошла искать своего третьего сына, который вместе с другими мужиками вскочил на танк и погнал добывать фашистов. Как она в феврале пошла по полям, так ходила и зимой, и весной, и летом... С лопатой ходила и мешком. Утром уходила, к вечеру возвращалась домой. Как на работу ходила. Знала, в каком направлении ушел танк, на который он запрыгнул. Подрывала мелкие могилки, по одежде искала. Жара стояла. Степь на Украине в жару высыхает быстро. А прикапывали могилки наскоро, неглубоко. Она подрывала, подрывала могилки, где были похоронены, присыпаны солдаты. И только в августе нашла его. По одежде нашла. Откопала. Он уже весь высох, истлел в могилке. Взяла она сына, положила в мешок и принесла к себе домой во двор.

А потом хоронили его с почестями. В закрытом деревянном гробу. Много народу, помню, было. Кто-то громко выступал и говорил о подвиге народа и его сыновей. Мать стояла возле гроба и молчала. И нельзя было понять, о чем она думала, что переживала. Может, о чем-то разговаривала про себя со своим младшеньким сыном? Она так долго его искала.

Колесо истории

Как красиво пели у нас по вечерам украинские песни! Во дворах, в садах, собирались целыми семьями и пели. И потом вот эту красоту, это песенное счастье, как мечом, рассекла война.

Мы жили на окраине, на улице Кривбасовская. Хата-мазанка. Из глины. Я двадцать седьмого года рождения, сестра – двадцать восьмого. Старший брат – тысяча девятьсот семнадцатого. Брат сразу ушел на фронт.

Я окончил семь классов, и началась война. Отчетливо помню, стоял в хате громадный деревянный мамин сундук, он до сих пор у мамы есть. Я на нем спал. А у меня над головой висело радио – черная бумажная тарелка. И когда пошли сообщения о войне и боях, то я никак не мог представить эту войну, не хватало фантазии. Как невозможно представить живое существо из другой планеты, так невозможно было представить войну мальчишке, никогда ее не видевшему. Помню только тяжесть внутреннюю, тревогу и страх.

А отец наш служил в армии и Гражданскую войну прошел. Ему сельхозмашиной три пальца на правой руке оторвало, но он тоже засобирился уходить с нашими войсками, хотел воевать. Где-то на подходах к городу уже слышны были разрывы снарядов и как строчили крупнокалиберные пулеметы. Бабы начали собирать мешки и котомки мужикам, но многие из баб за мужиков вцепились и тоже пошли. Но через некоторое время вернулись. Дошли до Днепропетровска, а там им объявили, что переправы перегружены: «Возвращайтесь домой и берегите землю. Мы вернемся». Вот такие слова от русских солдат принес отец. Его тоже отправили обратно как инвалида.

Позже, после войны, появилась манера упрекать людей: «Ах, ты был в плену?! Ах, ты был на оккупированной территории?!» Обзывали по-всякому, и такое случалось. А что мы пережили, они не знали. Но потом, к счастью, это изменилось и отношение к нам стало другим.

Отца немцы поначалу не трогали. Изуродованная рука. И нас, мальчишек, поначалу не трогали. У них перво-наперво какая политика была – показаться хорошенькими. Ходили по дворам и агитировали вступать в националистические войска и становиться полициями. Но никто не пошел с немцами, никто не записался в предатели. Я таких не знал, хотя такие и были. Настолько советский человек крепко воспитан, что сбить его с толку невозможно, за редким исключением. Советский человек – который завоевал право на свободную жизнь.

И отец наш при своих трех классах образования удивительно мудрый и крепкий был. Убежденный. И мама безграмотная. И как они почти спокойно и без паники восприняли сам факт начала войны.

Отец немцев не боялся, смело и спокойно вел себя с ними. И мама с него пример брала, немцев вообще не боялась. Как она их обманывала! Даже прикрикивала на них иногда. На стене в хате висела фотография – мой брат и двое его друзей-военных, все в буденовках. Мама сказала: «Не сниму ее ни за что!» И книга, помню, толстая, страниц семьсот, то ли Сталина, то ли Ленина. И дарственная надпись на ней моему брату за успехи в школе. Мама заявила: «Не буду книгу убирать!» И потом немцы подходили к фотографии: «О, мама, зольдат? Зольдат?» – «Да, солдат. А вы тоже солдаты.»

– У, мама, пух-пух! – тыкали пальцем в фото.

– Это мой сын!

– Я-я! Пух-пух, зольдат!

Отец до войны мужицкой природной своей логикой и рассудительностью мирил поссорившихся мужиков, они к нему сами шли советоваться и жаловаться, а он уверенно так и основательно судил, расставлял все по полочкам. Он и истопником работал, и маляром, и в поле целыми днями мог трудиться, и дома. На заводе работал разнорабочим.

И где и о чем Гришку Волошина ни попросят, то он сделает, рассудит и поможет. Он очень любил газеты читать, разбирался во всех черчиллях и рузвельтах. Анализировал и сопоставлял, делал свои мудрые выводы.

И вот уже война во всю грохочет, немцы Кривой Рог заняли и дальше пошли, а к отцу мужики все приходят на разговоры, за советом. Как будто сил им придавали эти беседы. Как-то возле нашей хаты днем собралось немало народу: «Гришка, скажи, что дальше будет?» И вот наш отец выдержал паузу и высказался, как гвоздь забил: «Колесо истории не повернуть вспять!»

Ох, как меня эта фраза тогда поразила! Я так восхищенно на отца посмотрел: какой он умный, как правильно и железно он это сказал! И я уверен был, что он сам эту фразу придумал. Своей железной логикой и какими-то умными и правильными политическими выражениями отец убеждал мужиков: наши вернутся, немца побьют и выгонят.

После войны мужики, кто остался в живых, помню, приходили к отцу, удивлялись: «Гришка, откуда ты все знал?! Как ты все правильно говорил про колесо истории!»

Сабля и наган

У меня был друг Витька Шаблий, сосед. Железный парень! Он предложил; «Давай искать оружие. Оружие доставать!».

И это стало нашей целью. Решили, что потом когда-нибудь мы обязательно применим это оружие против немцев. Пошли в лесополосу, где недавно были бои и где я увидел убитую девушку в военной форме и пережил, стоя возле нее, сильнейшее потрясение.

Облазили все, но автоматов, пистолетов или гранат мы так и не нашли. Но нашли саблю со сломанным концом. В то время наши, отступая, ничего не оставляли врагу, шахты взрывали, заводы. Кто уже не мог воспользоваться оружием, то уничтожали и его. Видимо, офицер наш сунул кончик сабли куда-то и сломал ее. А мы с Витькой решили, что принесем саблю домой, заточим ее и она нам обязательно пригодится. Хотя по городу везде уже висели

объявления: за хранение огнестрельного и холодного оружия – расстрел на месте.

Шесть километров было до деревни от лесополосы. Мы саблю прятали в штанину и рукой ее придерживали. И притворялись, что у нас не сгибается нога. И шесть километров, не сгибая, тащили ногу, передавали друг другу саблю, несли ее через немецкие посты. И мы ее пронесли.

Как мы ее потом перепрягивали! И мазутом смазывали, закапывали в огороде, и в колодец совали... По камням, расставив ноги, спускались в колодец и между камнями саблю втыкали, потом проверяли, не нашел ли ее кто-нибудь. А немцы в колодце каждый день воду берут... Потом мы саблю под крышу в солому втыкали, чтобы можно ее было быстро выхватить оттуда. Но она сама иногда вываливалась. Приходим, а она на земле лежит.

Кто-то предал нашего соседа, донесли, что он коммунист. Схватили его немцы и повезли в степь расстреливать. А мы знали, что у него есть наган. И вот мы с Витькой этот наган искали. А у нас, поскольку везде шахты, все заборы – каменные. Муры. И нашли мы его в камнях в муре, револьвер с барабаном, завернут в белую тряпочку. И носили мы под штанами этот наган с Витькой по очереди. Один раз попробовали даже стрельнуть, но он не стрельнул. Он перележал, наверное, капсюли отсырели. Потом мы, глупые головы, даже направляли его на себя и пытались выстрелить, но он все равно давал осечку. Мы с этими наганом и саблей хотели к партизанам уйти, искали их возле шахт, знали, что под землей скрываются партизаны. Немцы их искали, водой затапливали, дымом выкуривали. Но мы их тоже не нашли.

Так мы с Витькой никаких подвигов и не совершили. Но уж напереживались, натерпелись всего!

Отец нашел наган и утопил его в нужнике. Все равно толку от нестреляющего револьвера никакого, а расстрелять нас самих за него могли запросто. А сломанная сабля до сих пор хранится. Я ее сыну передал. Он развелся, а сабля осталась у свахи. Я ей говорю: «Мне сабля нужна». А она на меня так косо посмотрела, не поняла меня: «Пожалуйста, отдам, я вообще к вещам безразлична...»

Она не поняла ценности для меня этой вещи. Но сына я прошу, чтобы пошел к бывшей теще и саблю обязательно забрал.

Металлолом

Сначала немцы нас не трогали. Но потом стали показывать свои зубы. Им уже, видимо, не хватало металла. И создали они такой штаб майора Шу по сбору металлолома. И нас, мальчишек, под конвоем гнали собирать этот металлолом. Конечно, мы работники у немцев были еще те, под любым предлогом сачковали.

Нас, группу большую мальчишек, летом отвезли под Николаполь. Там баржу ржавую на куски резали автогенщиками, а мы должны были все это таскать, возить и в вагоны грузить. Как же нас там заморили и обезобразили! Кормили жутко. В ушах до сих пор у меня голоса: «Ауштейн! Ауштейн! – Встать! – Шнель! – Быстрее!» Это какой-то ужас. Голодные, худые, обезображенные. Жили мы в каких-то бараках, держали нас за какой-то оградкой, как свиней, как скот. Нас действительно превращали в скот. Хотя иногда казалось, что скоту лучше жилось, чем нам.

Я помню, узнали парни, что у меня день рождения. У нас миска была большая для стирки одежды. Мне все хлопцы в нее понемногу отлили своей баланды на ужин, бурды этой немецкой, которую мы ели. В честь моего дня рождения поделились. Полведра, наверное, отлили. А я был высокий уже тогда. Съел я эту бурду и остался голодным.

Потом морозы ударили, все замерзло-примерзло. То ли металл из баржи уже выбрали. Но работы закончились, и вот нас набросали в грузовик, как мусор какой-то. Ноги у нас не сходились, потому что у всех была чесотка, все в гною, в крови. И между пальцев гной. Нам не дали помыться за все эти месяцы ни разу. А фрицы как к этому относились: «Сдох ну и сдох». И погибли там несколько ребят. И вот в кузове в мороз везли нас очень долго. Все кашляли, стонали, худые, замерзшие. И всю дорогу я думал об одном: «А вдруг нас везут домой? Только бы мама меня не выгнала, такого страшного и больного». Все думал, переживал, хотя

бы за порог пустила мама. Уже к дому подходил, сердце из груди выскакивало. Оно так никогда у меня раньше не билось, никогда! Вот, думаю, скажу: «Мама, вот у порога буду жить, вот здесь, хотя бы рядом, только не выгоняй меня». Я был такой страшный, одичал, и мне казалось, что такого страшного мама меня в дом не пустит. Казалось, я уже не человек. И никто меня не узнает и не признает.

Но мама меня, конечно, выходила. Достала какие-то мази. Как она меня положила на подушки! Громадные украинские подушки... И прикрыла одеялом. Перед этим помыла меня в корыте. И намазала всего, и так и положила намазанного всего в чистую постель. И понравилось мне даже болеть, хотелось подольше лежать на этих подушках и чтобы мама меня мазала мазью и поила молоком. И чтобы эта болезнь не кончалась никогда. Так мне было хорошо возле мамы.

Не все одинаковые

Помню, немец был здоровенный такой. Курт. Так вот, он отличался от других. Спокойный и добрый. Так нам казалось. Как-то на завод нас, пацанов, погнали собирать металл. И пленные тоже собирали. Пленных конвоиры сильно избивали. Так страшно избивали! Ни за что. Вот они, пленные, человек двадцать, несут рельсы. И полицай рядом идет и дубинкой по головам, по плечам, по головам... Бьет, бьет, бьет...

И вот как-то однажды Курт семерых пленных накидал в грузовик, у них там и тела-то никакого не осталось. А он здоровый. Он их накидал через борт, вывез в степь и отпустил. Мы спрашиваем: «Почему вы это сделали?»

— Я коммунист, — говорит. — У меня вот здесь, в лацкане шинели, зашит пропуск.

А пропуска эти разбрасывали с наших самолетов. Там написано: кто с этим пропуском перейдет линию фронта, явится добровольно, тот будет встречен хорошо, не как враг. «Я обязательно перейду к вашим», — объяснил нам Курт.

И таких, как Курт, немцев было немало. В Запорожье тоже помню, когда мы работали, там один был брүнет,

волнистые волосы. Я еще удивлялся, думал, почему такой молодой и крепкий и не на фронте? Так он сказал однажды: берите этот железный ящик и опрокиньте его. Давай-те вырежем отверстие большое, дверь. Он достал где-то уголь, дров принес, растопили в этом ящике. Он посадил нас всех рядом с собой и говорит: «Работать не надо. Сидите». Поставили одного пацана на бугорок метрах в ста, чтобы следил за дорогой. Как только офицер едет, тот подает сигнал – и мы начинаем шевелиться, вроде как работаем. Наш немец доложит офицеру обстановку, офицер уедет – и мы снова к печке греться.

Солдаты встречались и такие, которые давали нам во время работы радио послушать, Москву. А сами на часах стояли, чтобы офицер не заметил. У нас на постое стоял один, шептал: «Я чех, мама, я чех! Ваши скоро будут!» В газетах пишут: русские далеко. А он нам шепчет: «Ваши уже Белая Церковь, Белая Церковь! Уже скоро ваши будут здесь».

И когда наши войска все ближе и ближе походили, эти солдаты, бывало, войдут в дом погреться, достают фотографии: «Вот это киндер, вот это мама, это папа... А тех, кто начал войну, – сжимают кулаки и стучат друг о друга, – надо головами!.. Нас обманули, мы здесь ни при чем...». В общем, пошли нытье и жалобы. «Гитлер капут!» – ругали Гитлера. А некоторые обвиняли всех сразу – и Гитлера, и Сталина, и Рузвельта с Черчиллем.

Конечно, вначале мы относились ко всем немцам как к заклятым врагам. А потом постепенно поняли, что не все они одинаковые. Среди них было немало сочувствующих нам и даже помощников. И когда мы видели, узнавали, что среди немцев много таких, как Курт, то начинали еще сильнее верить в победу, это придавало нам сил. Потому что видели, что эта непобедимая железная машина, как внушали нам сами немцы, что она не такая уж и железная и непобедимая и сама изнутри разрушается.

И потом, нам еще что нравилось, у них была разобщенность между солдатами и офицерами. Офицеры заносились, спесь из них фонтаном била. Офицер, он кто? Он – фон такой-то! А солдат для него – слуга. С откровенным

презрением относились к солдатам. У нас и генерал, и полковник – батяка, отец. И дисциплина при этом есть. А у них – на страхе. Ненависть. Я это чувствовал. Некоторые солдаты-постояльцы матери жаловались на офицеров: «Я ненавижу его...»

Хваленый немецкий кулак. Они торопились по-быстрому выиграть войну еще и потому, чтобы их не разгадали, не раскусили. Так оно, все это хваленое непобедимое, под нашими советскими ударами-то и расплозлось по швам.

Яма

Потом немцы стали вылавливать молодежь и мужиков и угонять их в Германию. Во-первых, рабочая сила им нужна была, а во-вторых, чтобы не было пополнения подступающей Красной армии. Потому что наши части приближались. Фашисты зачищали город каждый день, лавинами наваливались, рыскали и выискивали.

Но мы прослышали, что немцы не берут обезображенных. Кто-то научил нас, что если разодрать себе кожу, напустить туда слюней, то распухнет нога и станет такой страшной, что немцы тобой побрезгуют. И мы все это делали. А девушки лица себе портили, расцарапывали грязными ногтями. Обезображивали себе кто руку, кто ногу...

А меня отец решил ослепить. На время. Кто-то сказал, что если долго смотреть на огонь электросварки, то глаза станут настолько страшными, будут слезиться, гноиться, распухнуть, что немцы как увидят, то станут просто шараться от тебя.

В пять часов вечера начинался комендантский час. И отец заранее договорился на заводе с каким-то сварщиком, что тот ночью придет и ослепит меня, испортит. Чтобы я стал страшным. Мы днем разработали с отцом маршрут до завода, чтобы обойти патрули, и прошли по этому маршруту несколько раз. Речка, через речку большая труба, и по трубе мы должны были ночью проползти. Так мы и сделали, скрытно пробрались на завод. А сварщик не пришел. И это, в общем, мое счастье. Может, я вообще ослеп бы или потерял бы какой-то процент зрения.

И вот мы с Вилькой Шаблием в старом сарае, куда попал снаряд, вырыли рядом с воронкой яму, маленькую, как гроб, чтобы можно было вдвоем лечь или сидеть. Соломку подстелили, сделали потолок деревянный и мусором засыпали. Сбоку сделали деревянный квадратный лаз, куда можно было залезть, и чуть меньшей формы квадратный ящик. И засыпали этот ящик мусором, а снизу к этому ящику прикрепили ручки дверные. Возьмем за ручки, поднимем ящик, в сторону его сдвинем и вылезем ночью. А когда опасность – за ручки втягиваем ящик, и мусор наверху сам сравнивается. Мы считали, что это убежище потрясающее. А у стенки ямы – каменный забор, и мы сделали в нем три дырочки, и три трубочки в палец толщиной. Это была наша вентиляция, душник. И в стенке рядом сделали еще и маленькую нишу, свеча в ней горела.

Отец в 4 часа утра выходил из хаты на улицу и прислушивался. Когда гремят сапоги по мостовой – это значит идут немцы за город. За городом рассыпаются в три цепи и проходят через весь район. Три цепями одна за другой, навалом. Одна цепь – могли быть недосмотры, перебежки. А тут вторая цепь, третья. Вылавливали мужиков.

Но мы до этого где только не прятались. Это трудно себе представить. На чердаке – опасно, обозы искали фураж. В подвале тоже опасно. Но когда шли танки немецкие, мы на чердаке прятались. Танкисты-то не шибко лезли на чердак. А вот полицаи находили многих, они были самыми коварными.

А мама моя немцев обманывала. Бывало, лекарствами забрызгает весь дом. Немцы стучатся, а она выходит к ним:

– О, пан! – бледная вся с перепугу, с мокрой тряпкой на голове: – О, пан, у меня тиф!

– О, тиф! Шайзе! – испуганные, отворачивались и смывались.

В общем, в доме вонища от лекарств, бабуся, умирает от тифа, немцев распугала, а мы в это время могли как-то отсиживаться в яме.

Однажды, когда началась очередная облава и уже слышно было стрельбу, шум и крики, мы с Витькой ска-

зали моему отцу и моему дядьке, что нужно спрятаться к нам в надежное убежище. И вот отец мой и дядька Павло, Витька и я нырнули в яму. А яма-то в ширину метр, в длину – метра полтора. И вот выстрелы все ближе. Где-то граната недалеко рванула. Потом мы узнали, в подвал наш немцы гранату бросили. Цепь первая прошла, и Прокопенко, сосед наш, пробежал. Вторая цепь идет – очередь его скосили наповал. Это видели женщины.

А наши матери, моя и Витьки, со страху, чтобы обезопасить нас абсолютно, навалили на нашу яму сверху столько мусору и всякого хлама, старых колес, инвентаря! И мы стали задыхаться. Свеча все тише, тише горит. И погасла. Кислород кончился. А у нас было три тонкие трубочки связанные. А весна на Украине рано начинается. И талая грязная вода попадала в трубочки, в рот течет... Под нами в яме жижа, вода. Воздуха нет. И черно. Гроб! Стали мы друг у друга из рук эти трубочки вырывать, задыхаемся. Началось у нас истерическое состояние. И дядька Павло захотел пустить в яму немного воздуха, поднять коробку. Поднатужился и не поднял. И тут мы поняли, что наши матери нас завалили. Заживо нас похоронили. Хотели сделать лучше.

И вот дядька рвет эти ручки, толкает, ноги и колени его скользят в грязи, и никакого упора нет. Потом меня сложили, положили дядьке Павлу под ноги, чтобы было во что упереться. И вот он измолотил мои ребра, вмял меня в грязь всего. Как я уж там не знаю жив остался. И последними усилиями, видимо, предсмертными, он выворотил эту коробку и весь хлам.

На наше счастье, немцы, как мы поняли, место это уже осмотрели. Прошла уже третья цепь. Мы, когда все вчетвером вылезли из ямы, то увидели удаляющихся фашистов. Один из них, как помню, был в заячьей шапке и крикнул офицеру: «Хаус шайзе!» – «Дом плохой!» Немцы надевали что хотели, потому что замерзали. Платки женские, наушники специальные. И если им удавалось отнять у кого-нибудь меховые шапки – сразу же напяливали себе на голову. Только прикрепляли к ним свои знаки отличия. И вот мы смотрим на немцев, а наши матери, стоя в это время у дверей дома, видят наши четыре морды, торчащие из-за разваленной стены

сарая. И стали покрикивать немцам вслед: «Нет пана! Нет!» А на лице у мамы ужас. Но немцы не смогли этого прочитывать. Видимо, не смотрели в это время на лица. А отошли они всего лишь в соседний огород Вильки Шабля.

Мой отец и дядька опять нас в эту яму отправили. Деваться было некуда. И отец мой влез в старую рыхлую бочку и прикрылся старой свиной шкурой. А дядька, когда вылезал из ямы, зацепился тулупом за острый конец ручки. И когда он нырнул в ржавую сенокосилку, голову спрятал, а ноги торчали, и хвост от тулупа тянулся в сторону. Если бы немцы вернулись или новая цепь прошла, они бы увидели такую вот картину.

Побег

Из ямы мы с Витькой перебирались по-пластунски на чердак, у нас там в стрехе были проделаны наблюдательные дырочки – справа и слева. Наши с Витькой посты. Мы по очереди смотрели. Если техника идет, можно сидеть на чердаке. Если обозы, значит будут искать фураж, надо перебраться в яму.

Но потом отец договорился с кем-то на заводе, где он до войны работал, чтобы меня там спрятали. Потому что усиленно немцы стали выискивать и забирать именно молодежь.

Меня спрятали в большом цехе, где по краям были вырыты канавы, прикрытые палками. Засунули меня между труб, забросали всяким хламом. Думали, что немцы тут точно не найдут.

Весь день полицаи и немцы по заводу шарили. Слышу шум, разговоры. Видимо, они прочитали, что здесь набросано не просто так. Слышу команды немецкие и чувствую, разгребают хлам. Полог поднимают. А я между труб втиснутый лежу.

– Ану, вылезай! – полицай кричит.

А немец: «Ком гер!» – Иди сюда!

Я вылез. Он меня как долбанул сапогом, и я отлетел на несколько метров.

В тот день на заводе поймали еще нескольких пацанов.

Потом полицаи обнажают наганы: «Шаг влево, шаг вправо, стреляем!» И конвоируют нас за город в лагерь, где сконцентрирована большая масса людей. Оттуда их пересылали в Польшу, в Германию. Когда нас конвоировали, какая-то женщина дала мне большой кусок хлеба. И мы разделили его между собою. Нас было человек десять. Привели в казармы без окон, без дверей. Тут всех отбирали, сортировали, решали кого и куда направлять.

Помню, как мама прибежала. Ей сообщили: «Миколу немцы забрали и повели». Прибежала в полицейский участок. И ей разрешили подойти ко мне. И как она рухнула на колени передо мной, как она целовала мне руки и прощалась со мной! Мне так ее было жалко, так я ненавидел этих сволочей за то, что они вынудили маму стать передо мной на колени, плакать и целовать мне руки, что довели маму до такого унижения.

Мою маму звали Олей. Часто путали, когда отец кричит в саду, зовет, а сад громадный у нас был: «Оля-а-а!» И мы с мамой слышим и не поймем: то ли Оля, то ли Коля. И мы оба с мамой кричим в ответ: «Чего?!»

– Идите обедать!

И потом мать со мной попрощалась, какой-то узелок, мешок мне дала. Увели нас с полицейского участка, открыли ворота с колючей проволокой и загнали на территорию лагеря. Как скотину загоняют и закрывают громадные ворота. И потом я ходил по этой территории, и меня ужас охватывал. Наступил вечер, стемнело. Я забился в какой-то уголок помню, присел, и жутко так стало: кто орет, кто плачет, кто самогонку притащил и напился, кто-то визжит страшным голосом. И вдруг фонарик засветился. Луч стал бегать по лицам. И я попадаю в луч фонаря.

– Микола, ты?

– Я.

– Как ты сюда попал?

– Схватили.

И я узнал полицейского. Сосед. У него детей семеро было. Незлой человек, он мне нравился. Потом, позже, я узнал, что когда наши войска пришли, он тут же вместе с нашими ушел гнать немцев и вскоре погиб. И остались его

семеро детей сиротами. Он и еще некоторые полицаи как делали, я узнал: доставали самогону и немцев спаивали. Партию людей в это время запускали в лагерь, а в документах ее не фиксировали. И ночью потом небольшими группами выпускали.

И вот он меня увидел и говорит: «Иди в туалет, сними штаны и сиди так, будь при деле, жди, пока я не приду». А там около ворот громадный деревянный туалет. А время уже холодное, ноябрь, гололед, снег посыпал ночью, мороз. И вот я влез на обледеневший рундук, присел и стал ждать. Заходили мужики покурить. Другие шептались, оглядывались. Видимо, обсуждали побег. Но туда то и дело заходили немцы и избивали тех, кто там стоял без дела. А полицаи это знал и предупредил меня. И я много таких сцен наблюдал: врываются немцы и тех, кто не занимается делом, — бьют и выгоняют. А я все время сижу. Снизу сквозняк. Под ногами ледяные горки. Ноги немеют. Я привстану, чуть-чуть отдохну и снова сажусь. Так я просидел с восьмью часов вечера до часу ночи. Пять часов со спущенными штанами на этой дырке с ледяными сквозняками. Потом слышу голос моего знакомого. Он упрашивает дежурного полицаю у ворот отпустить меня. А тот огрызается: «Вот ты сам будешь дежурить, сам и отпустишь».

Долго он его уговаривал. И все-таки уговорил. Подвел меня быстренько к воротам, и рядом каким-то образом оказался еще один парнишка. И вот как только нас двоих за ворота выпустили — а уже было темно, черно, глаз выколи, — мы побежали. Дороги не видно, гололед, мы падаем. Бежали вслепую по ямам. Потом мы поняли, что добрались до Комсомольского парка, пошли по аллее. И вдруг неожиданно силуэт впереди, прямо на нас немец идет. А ведь комендантский час, за появление на улице расстреливают. А немец приближается и поет тихо себе под нос. Это было так неожиданно! Ведь когда в крошечной темноте мы слышали треск льда, бежать было уже поздно. А немец напевает. Мы шарахнулись в сторону. А он прошел, посмотрел на нас и не остановился.

И вот мы из парка огородами доползли до дома этого парня. И поскреблись в дверь. И мать этого парня и обра-

довалась, и в ужас пришла, потому что у них квартировался полковник эсэсовских войск. Меня она засунула в какую-то коморку, сына спрятала в другое место. Я маленько отдышался. И она меня выпустила во двор: иди, говорит, сынок, домой к маме.

И потом я еще долго полз на пузе огородами. И к утру приполз домой, и мама меня накормила и спрятала.

«Лемешев, давай..!»

Я все это пережил. Наши освободили Кривой Рог и погнали фашиста дальше. Я успел окончить горный техникум. Стране нужно было пополнять кадры. В холодных классах замерзали чернила. За плечами у нас висели винтовки, вот так учились.

Но потом становилось все лучше, лучше, лучше. Я начал расцветать. И все расцветали. Самодеятельность, эпоха возрождения! Взрыв талантов. Все начали рисовать, петь, в самодеятельности участвовать. И кроме того, что я учился разработке рудных месторождений, у меня проявился талант к рисованию, пению, у меня тенор появился. Лемешевым меня все звали: «Лемешев, давай!» Я и в хоре пел, и соло пел: «Ах ты, душечка». – из «Музыкальной истории», «Мы пойдем с тобой разгуляемся...» И играл генералов в самодеятельности. И выезжали мы в колхозы, на поля с концертами.

Как-то летом нас должны были послать в колхоз. Грузовик со скамейками должен был подойти. Мы его ждали. И я прилег на парту в аудитории в техникуме, и так уснул. Тут машина подошла, гудки, шум, гам. Полный кузов набилось. Все уехали. Чемодан, конечно, не забыли мой, прихватили с салом. А меня забыли. Как так?! Я же Лемешев! А уже вторая половина дня. Как же я без них! А они без меня как! И я пулей махнул по родственникам, велосипед спрашивать. Нигде не смог достать.

И я побежал. Направление, куда должны были ехать, знал. Бежал долго, шел, снова бежал. Снял обувь. До перекрестка добегаю, спрашиваю у людей:

– Тут веселая машина не проезжала?

- Чего?
- Ну, полный кузов веселых ребят!
- Вот сюда поехала.

И я снова пустился вперед. Солнце садится. А я бегу, задыхаюсь. «Сонце низенько, вечир близенько...» А я не могу их достать, все бегу. Стемнело. Я потерял силы. И на четвереньках заползаю в пшеницу и рухнул. Лежу и слышу: «Трям-трям, тыррям-тыррям...» Я услышал звуки бубна! А под музыку всегда силы немного прибавляются. И я встаю, бегу, падаю. Слышу уже скрипку и гармошку. И я, оказалось, пробежал тридцать пять километров. Почти тот же марафонец, который бежал, чтобы сообщить о победе. А я – чтобы быть при своих обязанностях. Уже темно было. И когда я приполз, и когда меня моя группа меня увидела, меня начали подбрасывать в воздух, кричать «Ура!»

Помню, в какой-то большой конюшне соорудили помост. Было очень душно, жарко и парко. Скотину вывели во двор. И мы на этом помосте давали концерт. Помню, Эмка был у нас скрипач, еврей. Талантливый. Он мог бы стать известным скрипачом, великолепно играл. Но он стал горняком. Вот помню, что звали Эмкой, а фамилию забыл. До пояса, смотрю, раздетый, голый, ручьями пот течет, скрипку прижал и рвет турецкий марш: «Памрам-па-памрампа, паррарампа!» Публика в восторге. Глаза у всех блестят, радостные все. А я тут же рядом у ног Эмки сижу. У меня между ног ведро с яблоками, и меду ребята где-то тоже достали. И вот я сижу обессиленный, восстанавливаю силы – макаю яблоки в этот мед и ем. А Эмка над головой у меня наяривает! И он меня, помню, ногой отодвигает, дай, мол, мне встать как следует.

Потом хором пели. И сам я спел на ура. Весело было, неповторимо. Вот почему, наверное, я так предан искусству, почему стал актером.

Такие во МХАТе нужны!

У меня было так много всяких талантов, что в горном техникуме, который я окончил с отличием, мне директор сказал: «Микола, тобі тут робить нечего. Давай, попал в пять

процентов (кто с отличием оканчивает, может пойти дальше учиться), – в Москве таких артистов нема». Еще сам я не знал и никто не знал, чем я буду дальше заниматься, певцом стану, художником, или артистом. В техникуме, когда я учился, образовали театр имени Жовтневой революции. Не хватало артистов, и меня пригласили. И я сыграл командира флагамена в «Гибели эскадры». Помню, я так загримировался, чтобы соответствовать возрасту своего героя, что был фиолетово-синим. Я не гримировался, а рисовал себе масляными красками возраст. От волнения, как вспоминаю и шучу, моя мертвенная бледность сменилась здоровой синюшностью. Помню, что был так зажат, что не мог вынуть спичку из коробочки. Я ее готовил за два часа до спектакля.

Горный техникум выкупил весь спектакль, в котором я играл. Успех был потрясающий. Директор сказал: «Давай, Микола, будь артистом». Режиссер нашего театра Лесь Олесь сказал: «Коля, такие во МХАТе нужны, как ты. А живопись останется твоим увлечением».

И жизнь наша постепенно становилась лучше. Брат старший привез из Германии белый материал, сшили белые рубашки. Дядька приехал из плена, американцы освободили, привез новый заграничный галстук. Натерли картошку, процедили, сделали крахмал, накрахмалили мне воротник рубашки да перекрахмалили, перегладили так, что когда я ехал в Москву, мне этот воротник шею перепилил. Мне любопытно было посмотреть налево, посмотреть направо, а он шею пилит, пилит, пилит. Шрамы вот здесь были. И все-таки я приехал вот такой, как пень, и сразу к Герасимову во ВГИК. А в газете раньше прочитал, что набирают учиться на артистов. И вот я в Москве, Герасимов Сергей Аполлинарьевич был где-то в экспедиции, и жена его, Тамара Макарова, отбирала первый, второй и третий тур.

– Что будете читать? – спрашивают меня

– Я чего буду читать? Та чего хотите! Я, хотите, сейчас вам Пушкина почитаю, или Горького «Буревестник с криком реет...» Или «Дуб и трость».

Потом мне за этот «Дуб и трость» от Гончарова попало, он меня долго еще дубом в шутку называл, когда я поступил в ГИТИС.

И вот после первого тура Тамара Макарова вызывает меня, польстила немного, чтобы мне как-то отказать: «Вы знаете, вашего плана актеры у нас уже есть. Черкасов, например». Я тут аж порозовел. Слушаю ее отказ и любуюсь ею. Миндальные глаза, улыбка божественная. Она мне отказывает, а мне хочется ее потрогать. До такой степени она мне нравилась! И я, счастливый, с отказом ушел от нее.

Посылают меня в Киев

Следующая моя попытка – Московское государственное театральное училище. Там меня тоже почему-то не приняли. Я и не задумывался почему. Потом в Вахтанговском тоже отказали. И все почему-то посылают меня в Киев. И я начал задумываться. Акцент всех шокировал. Речевики тут же шепчут мастерам, что это бесполезный субъект, что его все равно не исправишь.

А я хитрый. Пушкина для чтения выбрал. «Гебедженские развалины»^{*}. Я и сам не помню, где это я и как выискал у Пушкина, но интуитивно чувствовал, что надо придумать такое, чтобы ошарашить комиссию. И действительно, когда я объявлял: «Александр Сергеевич Пушкин, “Гебедженские развалины!”» – в комиссии начинали шептаться. Я на это и рассчитывал. Я думал: что они понимают, сидящие в этой комиссии! Какие-то Лобановы, Судаковы, Завадские, Горчаковы, Пановы и какие-то старые люди... Они тут в Москве, наверное, и не слышали того, что я им буду читать. Это же я, Микола, приехал, таких же нема в Москве!

Помню, Олега Стриженова не приняли. А потом дальше – больше, дальше – больше, и вижу, что надеяться мне уже не на что, что я не прохожу. Никому я не нужен. И никто меня не понимает. А в Кривом Роге художники в кинотеатре уже кисти и краски готовят, для кинорекламы с моим участием, – писали мне знакомые. И в театре имени

^{*} Н. Волошин неточен в авторстве стихотворения. «Гебедженские развалины» – одна из «Фракийских элегий» Виктора Теплякова (1804–1842), которую А. Пушкин в своей рецензии в «Современнике» назвал лучшей из всего цикла и процитировал большую ее часть.

Жовтневой революции обо мне с восхищением говорили: «Вот Микола наш там дает жару в Москве!»

И вот в ГИТИСе перед третьим туром подходит ко мне Андрей Михайлович Лобанов, бывший главный режиссер театра имени Ермоловой, а Гончаров Андрей Александрович ассистентом у него был в комиссии. Лобанов подходит ко мне, такой благородный, шикарный, лауреат Сталинской премии (за спектакль «Счастье» Павленко). И я прямо втесался в стенку от ужаса. А он говорит: «Возьмите что-нибудь из западной классики. Шекспира, например. Не так будет замечен акцент». И мне показалось, что мною заинтересовались. Но что такое западная классика? Я бросаюсь к студентам: «Хлопцы, шо це таке западна класика?» Они говорят: «Западная классика – это Мольер, Шекспир или Шиллер... Давай, беги в библиотеку, осталось четыре дня до третьего тура». И я побежал в библиотеку.

А остановился я в Москве в Филях. В двухэтажном деревянном доме в комнате жил однофамилец Вильки Шабля мой земляк Шаблий Иван Павлович. По призыву Метростроя давно уехал в Москву. Иван Павлович тут же кинулся меня консультировать и помогать мне. И вот мы с ним читаем, руками размахиваем. А выбрали мы «Гамлета».

– О, Микола, смотри, это важно: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!»

И я тут же начал выкрикивать «Быть или не быть?!»... И чувствую, что чего-то тут я недопонимаю. Мне бы что-то попроще... Прочитал я еще «Генриха четвертого». Потом «Отелло». И вот она, моя стихия! «Отелло». Я так рассердился на этого Яго! Он мне показался похожим на тех полицаев, братьев Пастернаков. Зверствовали, жутко людей избивали. И вот Яго, который такого благородного человека, как Отелло, обманул, и тот задушил Дездемону, он для меня стал полицаем, врагом, предателем. Вот так я проникся этой драматургией. Но всю же пьесу не прочитаешь перед комиссией. А я хотел всю прочитать. Думал, может, они и слышать-то не слышали про такую пьесу.

И вот я дома начал читать для Ивана Платоновича тот отрывок, где Дездемона уже мертвая, тут Эмилия... И вот

приводят, поймали Яго. Безвыходная для Отелло ситуация, и он предсмертный монолог произносит, проклиная Яго. Как раз по настроению, по духу мне этот кусок очень подходил. Я мог в нем высказать всю ненависть к фашистам, к полициям, которая накопилась у меня за войну. Ну, думал, держитесь, я вам так прочитаю, так врежу! Я все выучил наизусть, Иван Платонович мне помогает. Я в угол становлюсь, читаю. Он плачет, рыдает: «Правильно, Микола, давай!» — и слезы кулаком вытирает.

Но тут случилась неудача. Мы между делом боксировали. Надевали перчатки и хулиганили. К нам в гости заходил иногда друг Ивана Платоновича Вениамин Васильевич Устинов. Он сейчас работает в министерстве в нефтеэкспорте. Мы боксировали как-то с ним, боксировали, он мне как даст по губе! И вот такую шишку набил. Опухла губа. А завтра третий тур. Но я подумал: для трагичности момента и это сойдет. Злость моя еще больше усилилась.

...И я придумал жест

В ГИТИСе набирал курс Андрей Михайлович Лобанов и ассистенты Гончаров Андрей Александрович и Варвара Алексеевна Вронская. Третий тур. А я помню, как еще на первом туре я читал и все на голос нажимал. Лобанов меня останавливает:

— Подождите..

Я переспрашиваю:

— Шо?

— Вы своим голосом читаете?

— А чиим же! Конечно, своим!

И опять пошел выкрикивать и нажимать на голос. На-мека его я не понял тогда.

И вот идет третий тур, и я объявляю: «Шекспир! Монолог Отелло!» И тут же пошло шуршание в зале. «А-а-а, — думаю, — не знаете, что это такое!» А в зале сидели многие неудачники, чего я не учитывал. На третьем туре собиралась большая аудитория. Приходили и многие знаменитости. Завадский, Попов, Судаков, Горчаков... Речевики Сарычева, Титова, профессура... А сзади рассаживались в

основном поступившие, учащиеся. И критики. А критики – это неудачники, это все те, кто не поступил на актерский факультет. И они уже с первого тура заготовили свои критические едкие обороты: «Ах так! Мы не прошли! Ну, мы вам покажем...» Есть некоторая вражда между актерами и критиками. Первые говорят: вы необъективны, а другие: вы малоталантливы. И если бы я знал, что в зале сидят такие боссы, как будущие светила нашей критики, то я бы, наверное, онемел и ни слова бы не произнес. Но мне они тогда казались малосведущими людьми, я их не боялся, у меня было много смелости. И потом, у меня было внутреннее преимущество, сильнейшая злость к полициям и фашистам. И я думал накануне, что монолог-то я прочту, но поскольку я в театральном институте, то самое главное – это придумать для концовки ударный жест. И я его придумал, и был уверен, что сразу им комиссию намертво. И им деваться некуда будет, и они скажут: «Микола! Микола – наш!...»

И я читал: «Яго! Какую там тростинку в грудь...»

И последние слова: «О, Дездемона мертвая!» – я положил величественно кулак на лоб и застыл. Говорят, такой красный был, как рак. Но когда я читал, в середине отрывка так разгневался и так взмахнул рукой (а был худой и слабый), что от собственного взмаха улетел со сцены в угол. Ударился о стенку и не пойму, где я? Время идет, комиссия ждет, Миколы нет вместе с его Шекспиром.

Студенты вытолкнули меня обратно на сцену, я вспомнил, на чем остановился и яростно продолжил. Дочитал и ударным своим финальным жестом комиссию убил. И себя чуть не убил, так саданул себя по лбу кулаком. Мне уже шепчут: «Уходи, шуруй со сцены, другие на очереди...» А я уйти не могу, онемел и застыл. Потом, наконец, меня уволокли.

И вот через некоторое время объявляют список. Я попал в основной состав. Были набраны и кандидатами человек пять, но я – в основном составе. В результате нас оказалось четырнадцать человек на курсе. Половину взял себе Гончаров Андрей Александрович, а половину – Вронская Варвара Алексеевна.

И вот я уже народный...

Поначалу было мне очень трудно, потому что жил бедно. Бывало, купишь селедку и буханку хлеба и потом литра три воды выпиваешь. Живот полный – и ладно. Но потом постепенно становилось лучше, легче. На четвертом курсе за отличную учебу и общественную работу я получал сталинскую стипендию.

В течение двух лет меня увольняли, никак не мог исправить свою речь. Мой акцент – мой бич. А ведь в начале учебы я чувствовал себя таким талантливым! «Я тут вам всем жизни дам!...» Но чем старше становился, тем умнее, а чем умнее, тем скромнее. И вот мы с умом набирались скромности.

И вот я уже народный, а мне все труднее и труднее, и каждая роль мне кажется как первая. Беру ее и чувствую себя первоклассником абсолютно беспомощным. Потому что я серьезно отношусь к материалу, вижу, что мой герой – это не я, что это совсем другой человек. И чтобы стать им, какой мне нужно путь проделать, чтобы я полностью зажил жизнью этого человека. И тогда я буду только нужен, органичен, произведу какое-то впечатление. Так что работать мне все труднее и труднее.

Но к четвертому курсу я осмелел, поехал работать в Свердловск. Лобанов мог меня оставить в Ермоловском театре, у себя, но там мне могли дать только четыреста рублей, сорок рублей ставка. Из них надо было оплачивать квартиру, жить на что-то. Я не жалею, что не остался в Москве. Я хорошие театры прошел. Поехал в Свердловский театр, когда он был в расцвете. Народные артисты СССР Ильин, Буйный... Такой был звездный букет. На периферии хорошо. Рядом с блестящими актерами дают работать, дают роли, ты вырастешь. А в Москве ты можешь просидеть до старости лет в запасе. Я сразу получил роль Грязнова в «Любови Яровой», тут же – Николая Приходько в «Сильных духом», потом – Петю Трофимова в «Вишневом саде». И через четыре года меня представили на звание заслуженного артиста. Но я когда был на гастролях в городе Горьком – влюбился. Женился и тут же перевелся в драм-

театр этого города. И мне в Свердловске сказали: «Коль ты такой предатель, мы звание тебе не дадим». И отдали это звание другому артисту. Он сейчас работает в Москве в театре имени Маяковского.

И вот я уже тридцать лет работаю в Горьковском академическом театре драмы имени Горького. Здесь получил и заслуженного, и народного.

И я думаю о сыне

И все успеваюсь, все успеваюсь. Я все-все делаю по дому. Все на мне. Рынки, магазины, стирка, готовка... А жене я сразу сказал:

– Наташа, я слышал, что ты способная и талантливая. Давай, учись. Я буду дома все делать. Я украинец, маме помогал. Умею готовить.

И как взялся за дело, так по сей день. А она пять лет писала кандидатскую диссертацию. Сейчас она доцент кафедры усовершенствования врачей.

Но у меня разрыв времени. Репетиция в 11.00. Я до одиннадцати зарядкой час занимаюсь, на рынок сбегая, бульон сварю. В два часа репетиция заканчивается, и я обед готовлю. А Наташа, жена, в восемь утра уходит, в семь вечера приходит.

И я о сыне думаю. Мне что обидно, по секрету скажу. Смотри, как мне жизнь досталась. Я все успел. Сам на ноги встал, Наташке помог, и Валерку-то, сына, я выкормил, выходил. Когда у Наташи молоко пропало, я бегал к одной кормящей мамаше в Щербинки, к другой – за лыжный трамплин в Печеры. Одна даст немножко, другая немножко...

Я убежден: дети должны сделать несколько шагов дальше родителей. Обязательно. Я и техникум окончил, и заслуженный, и народный, и Наташка – кандидат наук, доцент, и секретарь профсоюзной организации санфака, у нее четыре тысячи членов профсоюза, она детским сектором заведует, и в местком работает... Сын же, он хирург, имеет все, полную свободу. Я говорю: Валера, иди в науку. Интересуйся этим, двигайся. А он мне:

– Нужны и простые врачи.

А я вижу за этим лень. Ну, он, конечно, любит свою профессию. Любит. И хирург хороший. Но нельзя же не ставить перед собой высокую цель, не планировать. Почему у меня все получилось? Я запланировал. И себя запланировал, и жену запланировал, и его. И когда у тебя есть звезда, цель – ты к ней, как стрела, стремишься. И обязательно достигнешь. Если не все, то почти все. «Бери вершину, будешь иметь середину», – как подсказывал Лев Толстой. А мой сын в субботу, в воскресенье спит до двух, до трех часов дня. Я успел и гараж построить, и дом сам построил, и все успеваю. В пять утра встану, съезжу в сад, полью огород, возвращаюсь – спектакль дневной сыграю, прихожу домой, а он еще спит. И мне это очень обидно. Если дети будут делать меньше шагов, чем родители, – это не дело. Должны превосходить. Тогда будет движение.

«Мама, отдохни...»

Маме исполнилось 90 лет, и мы все съехались ее поздравлять: сын с невесткой из Геленджика, я из Хмельника, радоновые ванны как раз там принимал, а жена из Горького. Мама всю жизнь была безграмотная женщина, но такая мудрая. С ней говоришь – глаза у нее ясные, ум свежий. Она, кроме пяти улиц в Кривом Роге, ничего не видела. Она, даже когда провожала брата моего Павла на учебу, когда лязгнули тарелки поезда и гудок раздался, схватила поезд, держит, тянет: «Павло, поговори еще, я поддержу». Вот такое сочетание наива, простоты и чистоты. И всю жизнь у нее – труд, труд, труд. Помню, когда я был маленький, у нее все что-то болело, жаловалась на что-то, и копошится все во дворе, в огороде, копошится...

Вот мы поехали к ней, помогали выкопать картошку. Жара тридцать – тридцать пять градусов.

– Мама, – говорим ей, – ты садись, отдохни.

Вынесли стульчик ей во двор. Нет. Берет лопату, идет на участок. Выбрала себе полосу. Мы, значит, один копает, другой выбирает, а третий носит. А она все сама делает. Я смотрю, мой сын уже полез на четвереньках под яблоню. В тень. И спит. Я на душ посматриваю. А мама шпарит, а

мама шпарит. Я ей говорю: «Мама, отдохни». А она: «Та ничего, дети, я привыкла». Одна живет в доме. Сама за собой ухаживает и в город с нами ехать не хочет. Вот такое поколение трудолюбивое. Всю жизнь трудилась не покладая рук. Вот такие люди, думаю я, очень твердые в характерах, во взглядах. Не нытики. Мы вот, интеллигенция, нам бы вот как бы поныть где-нибудь, вот поныть бы. А у них такие мудрые сердца, мудрые руки. Они очень мудрые. В начале войны они очень спокойно, твердо, без паники встретили немцев. Они знали, что будет трудно, но знали, чем это кончится – все равно наша возьмет. И это придавало им сил, уверенности. Только вот отец как-то... Он такой молчаливый был, никогда не жаловался. Умер уже семнадцать лет назад, ничем почти не болел. Мы поехали как-то в гости к старикам, жена послушала, пощупала пульс у отца и говорит потом мне: «Сердце у него уже как только живет?» Он все в себе, все в себе носил. И сколько ведь пережил! И так тихо ушел. А маме уже девяносто первый год, и она все двигается, копошит нам в пример.

Ничего в мире дороже нет

Переживши такое, Родину никогда, никогда ни на что не променяешь. Уйдешь опять на кусок хлеба, на воду, и это будет выше всех благ в мире. Лишь бы была вот эта осознанная свобода и Родина. Ничего в мире дороже нет и быть не может. Молодым наяву не надо пережить то, что мы пережили, но в сердце переживать надо. Сопереживать. Иначе остынет душа, зачерствеет, и настоящую цену свободы знать не будет. Сопереживание – это уже готовность. Будет сопереживание – проявится и патриотизм. Молодежь сейчас не говорит высоких слов, не кичится своим патриотизмом. Но когда случится война, не дай бог, все молчавшие проявят себя как патриоты. Во всю силу. Я не сомневаюсь.

Александр ЛУШИН

О ПОЛИЦЕЙСКОМ ЗАМОЛВИЛ Я СЛОВО...

В предвкушении особо значимых для нашего города юбилейных торжеств и массового празднования важнейших памятных дат, а таковая неуклонно приближается с каждым днем, как правило, историки и литераторы самозабвенно пишут о рачительных великих князьях-воинах, о многомудрых губернаторах, о купцах-толстосумах с их «честным» словом, в общем, о ком только не слагают хвалебные, но порой и совершенно объективные сочинения о действительно достойных большого уважения нижегородцах.

Герой моего небольшого повествования несколько выбивается из общего ряда, однако вполне заслуженно может представлять когорту тех славных земляков, которые когда-то доставили нашей «волжской столице» немалую, но, увы, забытую ныне известность. Более 26 лет он надежно обеспечивал общественный порядок и безопасность в Нижнем Новгороде на ответственном посту городского полицмейстера. Наверное, мне могут мимоходом возразить, дескать, чем мог так уж сильно отличиться какой-то полицейский чиновник, хотя бы даже и в высоком чине действительного статского советника, живший и служивший в далеком XIX веке. Однако у меня есть убедительные аргументы в пользу того, чтобы Николай Густавович Каргер (даже фамилия-то нерусская и сам лютеранин) в истории

нашего древнего русского города занял свое должное законное место. В самом деле, назовите мне хотя бы одного нижегородца, которому, хотя и недавно, были установлены сразу две памятные доски. Можно, конечно, вспомнить, Ленина, доски которому до сегодняшнего времени продолжают висеть на некоторых домах, но что сотворил «самый человечный» Ильич для нашего города, кроме жутких расстрельных телеграмм трагического восемнадцатого года и создания первого в советском государстве концлагеря? Я же начну свой рассказ, пожалуй, с интереснейшего факта, который, позволяет представить нижегородского полицмейстера с необычной стороны.

В 1870-е годы по крупным промышленным регионам Российской империи совершил, так сказать, исключительно познавательную поездку известный английский аристократ Г.А. Монро-Батлер-Джонстон, официальный представитель британского премьер-министра Б. Дизраэли, дипломат и экономист, влиятельный член консервативной партии и опытный разведчик, специалист по Востоку. Вернувшись на родину, он написал и издал обстоятельную книгу о состоянии и перспективах развития торговли России с другими странами с посвящением этой книги «полковнику Каргеру и другим официальным лицам, от которых получил так много доброго внимания». В этом последовательном сочинении немало страниц было отведено детальному описанию знаменитой промышленно-торговой Нижегородской ярмарки, уже ставшей «карманом России» и одним из важнейших центров масштабной международной торговли. Обратил внимание в книге английский путешественник и на образцовое обеспечение правового порядка в городе и на самой ярмарке, причем отметил, что полицмейстер лично любезно сопровождал его во всех поездках и давал необходимые пояснения. Конечно, полицейский чиновник в силу своих служебных обязанностей не только отвечал за безопасность высокого заграничного гостя, но и присматривал, исходя из секретных предписаний, за разносторонними интересами британца. Книга попала и в Нижний Новгород, после чего этот примечательный эпизод из биографии Николая Каргера

был упомянут известным местным историком-краеведом и общественным деятелем А.С. Гациским. Пусть оппоненты мои скажут, знают ли они хотя бы еще одного россиянина (причем провинциального), которому была бы посвящена книга, вышедшая за рубежом, да еще в Англии, которая всегда не отличалась любовью к России.

Вернусь к двум упомянутым памятным доскам, установленным на здании бывшего полицейского управления на улице Алексеевской, там, где были расположены старые Мытные ряды, и на фасаде современного Главного управления внутренних дел Нижегородской области. Наверное, можно их расценивать как своеобразный отданный долг памяти нынешних правоохранителей. И что – не более того? Давайте присмотрися внимательно к долговому жизненному и служебному пути этого «русского немца».

Сегодня мы с горечью говорим о том, что наши леса, богатство природное издревле, хищнически истребляются. Так же обстояло дело и в начале XIX века в некоторых российских губерниях, где оборотистые торгаши древесиной не щадили совершенно лесных богатств, даже приписанных к государственной казне. Император Николай I Павлович был заботливым хозяином русской земли, и опекаемый им Санкт-Петербургский лесной институт готовил хороших специалистов по охране лесов. Как известно, монарх тяготел ко всему военному, поэтому институт был создан как чисто учебное военное заведение. Выпускником лесной роты был Николай Каргер, который получил назначение на должность лесничего Макарьевского уезда Нижегородской губернии. А леса там были знаменитые, строевые, глаз радующие. И любителей барышей на этом лесе незаконно по карманам рассовать было немало. За 14 лет беспрестанного бдительного надзора за обширным лесным достоянием дослужившийся до капитанского чина лесничий Николай Каргер снискал в уезде известность неподкупного и честного чиновника. Во главе отряда лесной стражи он неустанно объезжал уездные леса, жестко пресекая незаконную вырубку деревьев, предназначавшихся алчными купцами для продажи.

Служба капитана Каргера была замечена губернским начальством. С 1860 года он переводом перешел на служ-

бу по Министерству внутренних дел, получил назначение васильским уездным исправником, а в июне 1867 года по ходатайству нижегородского губернатора был определен приказом министра нижегородским городским полицмейстером с переаттестованием в соответствующий гражданский чин. Николай Каргер не был карьеристом. Своего высокого назначения он удостоился за безукоризненно честную и добросовестную службу на благо Отечества. Это также подтверждалось последовательным его награждением орденами, медалями и иными знаками отличия Российской империи.

У нас любят вспоминать «лихие 90-е», а давайте-ка представим «лихие» 1860–1870-е годы. Пригороды Нижнего Новгорода с оврагами и слободами кишмя кишели разномастными бандами и шайками. А уж с весны до осени на богатую Нижегородскую ярмарку со всех концов страны съезжались удалые налетчики и мастера гоп-стопа, шайки карманных воров и картежных шулеров, проститутки (ох, простите, – «дамы полусвета»). Порядок в городе и на ярмарочных территориях традиционно в торговый период обеспечивали специально командированные лейб-казацкие караулы, но казаки, не имевшие никакого отношения к Министерству внутренних дел, не спешили подчиняться распоряжениям полицейского начальства. И тогда Николай Густавович Каргер начал действовать через губернатора следующим образом. Прежде всего была получена поддержка со стороны министерства о замене лейб-казацких отрядов местной регулярной конной полицейской стражей. Затем полицмейстер поставил этот важный вопрос перед городской думой, и с ноября 1872 года по март 1876 года буквально прошибал лбом решение об учреждении нового и, вне всякого сомнения, полезного для города полицейского формирования.

Городская дума не отказывала в рассмотрении этого вопроса, она даже полагала его заслуживающим некоего внимания со стороны общественности, но, как только заходил разговор о необходимых денежных расходах, нижегородские гласные «запевали» об убытках казне. Но полицмейстер Каргер, ужестатский советники орденов кавалер, убедил

и вынудил городскую думу создать конно-полицейскую стражу в виде эксперимента на два года. В 1877 году новое полицейское подразделение начало активно и с положительными результатами действовать согласно должностной инструкции, составленной лично энергичным полицмейстером. Этот тщательно разработанный документ и проверенный на практике правоохранный опыт получили одобрение в Министерстве внутренних дел, и здесь мы можем с гордостью сказать, что нижегородская инструкция явилась затем основой для создания дальнейших служебных нормативных актов по обеспечению правопорядка. И это не все: Нижний Новгород после столичных Санкт-Петербурга и Москвы стал городом с прекрасно поставленной надежной системой подвижной охраны общественного порядка, что отмечали все министры внутренних дел во время своих официальных визитов и о чем, напоминая, писал английский дипломат и разведчик.

Впрочем, за свое детище, то есть за конно-полицейскую стражу, настойчивый Каргер самоотверженно боролся с городской думой еще два года и все-таки победил! В июне 1879-го на заседании городской думы гласные признали, что конно-полицейская стража необходима для города и ярмарки, так как приносит реальные значительные успехи в борьбе с преступностью, обеспечивает правопорядок на улицах и площадях днем и ночью, и согласились на должное финансирование этой полицейской структуры.

Сделаем теперь небольшое отступление. В 1877 году граф Шереметев, богатейший магнат, хорошо знавший исключительную честность и порядочность Каргера, предложил тому оставить государственную службу и занять высокооплачиваемую должность управляющего обширными графскими родовыми имениями. В городе забили тревогу: слишком велик общественный авторитет полицмейстера, высокая оценка всегда сопутствовала его делам и начинаниям, но весьма заманчивым в плане материальном было предложение графа Шереметева. Неужели Каргер оставит должность? Писатель и одновременно чиновник П.И. Мельников спрашивал члена городской управы и губернского статистического комитета А.С. Га-

циского о том, действительно ли Каргер уйдет в отставку. Многие говорили о том, что от таких выгодных предложений никто не отказывается. Статский советник Каргер предложения графа Шереметева не принял. Он остался верным полицейской службе и городу.

Более того, на следующий год полицмейстер по собственной инициативе значительно усовершенствовал патрульно-постовую службу в Нижнем Новгороде. Он составил подробную инструкцию для городских чинов, которую направил в Министерство внутренних дел для утверждения на высоком уровне, и вновь ведомственный нормативно-правовой акт был не просто одобрен, но и рекомендован для использования в служебной деятельности органов полиции.

И еще одна достойная внимания история свидетельствует о том, каким ответственным и заботливым руководителем был Николай Каргер. Сразу обращаю внимание читателя на то, что жалованье полицейские чины получали весьма скромное, а нижние чины, прямо скажем, ничтожное. Многие были обременены многодетными семьями. Неоднократно полицмейстер пытался добиться от городской думы хотя бы самой малой добавки к жалованью своих подчиненных, но безуспешно. И тогда он пошел на весьма примечательное решение: добился личного приема у министра и выхлопотал дозволение взимать оплату по установленной таксе за прописку в Нижнем Новгороде в пользу полицейских. Таким образом, он сумел материально поддержать тех, кто исполнял трудную и порой опасную службу по охране правопорядка в «волжской столице», удержал от увольнения некоторых полицейских низшего разряда.

В 1881 году Нижегородскую ярмарку посетил император Александр III Александрович в сопровождении высоких сановных лиц. И тут полицмейстер Каргер постарался максимально использовать монарший визит в пользу города, предоставив свое мнение по необходимости создания как сугубо особой правоохранительной структуры ярмарочной полиции. Старания его не пропали даром, и через девять лет правительственным постановлением ярмарочная полиция в Нижнем Новгороде была учреждена.

Давал о себе уже приличные звоночки почтенный возраст. В 1893 году действительный статский советник (по Табели о рангах генеральский чин, редкий для полицмейстерской должности) Николай Густавович Каргер подал в отставку. Перечень его заслуженных верой и правдой наград впечатляет: кавалер орденов святого Владимира 3-й и 4-й степеней, святого Станислава 1-й и 2-й степеней, святой Анны 2-й и 3-й степеней, персидского ордена Льва и Солнца 1-й степени, шведского Командорского креста 1-й степени ордена Вазы, знака отличия за 50-летнюю беспорочную службу и многих медалей. Городская дума приняла решение по подписке дать в честь всеми уважаемого нижегородца торжественный обед, но Каргер попросил передать собранные – кстати, немалые – деньги губернскому благотворительному обществу вспоможения бедным. В этом решении отчетливо виден весь Каргер, благородный до мозга костей.

Скончался он в апреле 1896 года и был при огромном стечении нижегородцев погребен на лютеранском кладбище. Гроб с телом Николая Каргера к последнему приюту на руках несли губернатор, городской голова, высшие полицейские, военные и гражданские чины в сопровождении траурного караула. Памятник на могиле полицмейстера сохранялся еще в 1960-е годы до закрытия и сноса Лютеранского, или Немецкого, кладбища.

Что для нас личность Каргера сегодня? В советское время он, естественно, был забыт. Зачем ныне вспоминать его, да и нужно ли? Что ответить? Разве такие качества, как истинная и искренняя любовь к Отечеству, к людям, к ставшему родным Нижнему Новгороду, безукоризненная честность и достоинство, помноженные на высокое благородство, не заслуживают доброй памяти? Пусть не только памятные доски, но и мой скромный рассказ об этом полицейском свидетельствуют о его добрых и важных делах. Наверное, они должны быть справедливо вписаны в страницы нижегородской истории, ведь он и сам тоже творил историю своими делами.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

НАРАВНЕ СО ЗВЁЗДАМИ

Во все времена эстрадные певцы привлекали самое пристальное внимание публики. И только единицы из слушателей (да и то не сразу) замечали аккомпаниаторов, скромно сидевших за роялем и внимательно следивших за солистом. При всей репетиционной шлифовке поведение на сцене певца порой было непредсказуемо: стихия нахлынувших чувств могла самым непредвиденным образом изменить манеру исполнения. Незаметные зрителю нюансы должен был почувствовать и предугадать внимательный аккомпаниатор. Это было возможно в том случае, если он обладал не только безукоризненной музыкальной техникой, но и пониманием психологии артиста. Такие аккомпаниаторы ценились на вес золота. Совсем хорошо, если они при этом оказывались людьми легкими и контактными в общении, способными скрасить исполнителю досуг во время длительных гастролей не только в столичных городах.

С Давидом Владимировичем (Вульфовичем) Ашкенази (1915–1997) работали самые знаменитые певцы. В течение многих лет он выступал с Вадимом Козиным и Изабеллой Юрьевой. Аккомпанировал А. Вертинскому, Л. Утесову, К. Шульженко, М. Бернесу. С Ириной Архиповой гастролитировал за границей. Работал со многими звездами эстрады – Р. Бейбутовым, Л. Зыкиной, И. Кобзоном, В. Толкуновой, А. Баяновой, Л. Гурченко, Л. Голубкиной... Все эти знаменитые певцы считали за честь сотрудничать с Ашкенази, так как относились к нему как к выдающемуся музыканту.

А. Житницкий:

Он в музыке разных оттенков
Показывал истинный класс –
И Козин, Вертинский, Шульженко
Ему подпевали не раз.

А начиналось всё это ещё до революции. Давид Ашкенази родился в 1915 году в Нижнем Новгороде в семье бухгалтера. В детстве, обладая абсолютным музыкальным слухом, глядя на старшего брата, занимавшегося музыкой, он самостоятельно освоил игру на пианино. Неожиданно для семьи с 12 лет стал зарабатывать немалые деньги: тапёром «озвучивал» немые фильмы в кинотеатрах. Проявив недюжинные способности, попал на смотр художественной самодеятельности в Москве. Его заметил нарком просвещения А. Луначарский и выдал рекомендации для поступления в музыкальный техникум в Нижнем Новгороде. Здесь Ашкенази обратил на себя внимание театральных деятелей, и его пригласили работать в коллектив «Синей блузы», а затем и концертмейстером в оперный театр и филармонию.

Судьба иной раз преподносит неожиданные сюрпризы, резко меняющие жизнь. Так случилось и с Ашкенази. Гастролировавший в 30-е годы по стране популярный эстрадный певец Вадим Козин оказался в городе Горьком в неприятной ситуации: его пианист заболел. Замену нашли быстро: работавший в ресторанном оркестре Ашкенази пришёлся по душе знаменитости. Худой рыжий молодой человек удивил и восхитил Козина искусным владением инструментом, и он предложил ему работать совместно.

В 1930–1940-е годы Ашкенази много выступал с Вадимом Козиным и Изабеллой Юрьевой. Внимание популярных певцов к молодому аккомпаниатору объяснялось его умением понять не только музыкальные особенности их репертуара, но и индивидуальные черты исполнителей. Все они сходились в оценках Ашкенази: он был более чем аккомпаниатор. Его способности сразу же проявились при работе с Козиным. Репертуар певца был разнообразен: классическая песенная лирика, цыганские романсы,

современные песни, песни самого Козина... Как вспоминал Ашкенази, творчество певца сильно зависело от его настроения. Один концерт был не похож на другой, любая песня могла звучать по-разному. Козин настолько увлекался исполнением, что каждый раз допускал неожиданные импровизации. Это требовало необыкновенной чуткости концертмейстера – Ашкенази великолепно справлялся с этой задачей.

Отмечалось редкое взаимопонимание пианиста и певца не только на музыкальном уровне, но и во всём построении концерта. Вот как описывалось начало выступления Козина. Известно, что его внешность не отличалась особенной привлекательностью. Чтобы затушевать этот невыигрышный нюанс, был разработан некий ритуал. Ашкенази и Козин одновременно появлялись на сцене с противоположных сторон и быстро подходили к роялю. Без объявления номера Ашкенази брал первые аккорды, и Козин начинал петь. Дальше его голос и манера исполнения брали в плен слушателей и уже не отпускали до конца выступления; внешность исполнителя отступала на задний план и уже не имела никакого значения.

Надо сказать, что в период развёрнутого строительства социализма эстрада не принималась всерьёз и считалась искусством легкомысленным. Ей предъявлялись серьёзные претензии в аполитичности, сентиментальности, в потакании мещанским вкусам нетребовательной публики. Лиризм и интимность категорически не приветствовались. А тем временем концерты солистов с участием Ашкенази проходили не то что с успехом, а с триумфом. Но восторгу почитателей противопоставлялось некое критическое мнение, которым официальные органы пытались уравновесить ажиотажное поклонение зрителей. Тогда появлялись такие примерно эпиграммы (их можно было отнести и на счёт Козина):

Кумир девиц и дам, герой сеансов,
Но жаль, что следуешь традиции плохой:
Бессменной порцией «чувствительных романсов»
Ты кормишь, как демьяновой ухой.

Так что не всё безоблачно было на эстрадном небосклоне. Тем более что в скором времени началась война. С самого её начала Ашкенази принимал участие в работе фронтовых бригад в составе музыкального ансамбля. Приходилось выступать в невероятных условиях, но Ашкенази не смущала экзотическая обстановка. Если надо, он играл на аккордеоне, а однажды пришлось играть лёжа на полу: у рояля не было ножек. Был случай, когда его в прифронтовом Подмосковье отыскала команда НКВД и под конвоем доставила в Кремль. Оказалось, что на готовящемся праздничном концерте в честь разгрома фашистских войск под Москвой не оказалось классного аккомпаниатора, и все солисты вспомнили о нём как об универсале, способном не только подыграть певцу, но и превратить концерт в праздник.

После войны Ашкенази работал в Театре эстрады, аккомпанировал оперным и эстрадным певцам, танцевальным ансамблям, выступал в Большом зале консерватории с классическим репертуаром. Он неизменно пользовался популярностью как у публики, так и у исполнителей, с ним с удовольствием выступали любые певцы. Спустя годы многие из них с благодарностью вспоминали совместные концерты.

В 1949 году перед праздничным концертом выяснилось, что пианистка Клавдии Шульженко по каким-то причинам не сможет появиться перед публикой. За два часа до начала концерта певица прошла с Ашкенази всю программу и была поражена: «Создалось впечатление, будто с Додиком я работала долгие годы: он на лету ухватывал не только мои интонации, но и смысл каждой песни. Работалось с ним легко и уверенно».

С огромным уважением отзывалась об Ашкенази Алла Баянова: «Есть у меня несколько записей, которые ценны тем, что аккомпанировал мне сам Давид Ашкенази. Я никогда свои записи не слушаю, но эти я нет-нет да и поставлю на проигрыватель. Я вслушиваюсь в божественный аккомпанемент Додика, в эти его переходы, рулады в лёгких паузах между словами, как он легко заполняет их! Негромко, нежно. Песни у меня больше лирические, но в огненных цыганских напевах Ашкенази даёт силу и мощь, настроение, тонус. Неподражаемый мастер!»

Ашкенази называли волшебником фортепиано. Левон Оганезов вспоминал: «Он умел всё и не терпел халтуры. Он играл, и создавалось впечатление, что играет трио: слышался контрабас и ударник. Он создавал ощущение оркестра». Много выступавшая с Ашкенази Валентина Толкунова на вечере его памяти восхищалась: «Нынешние пианисты смотрят на его ноты и говорят: так невозможно сыграть».

И. Резник:

Я вижу вас, сошедших наземь,
Подмостков гордость и красу –
Исконный абрис Ашкенази
И толкуновскую косу...

Ашкенази был автором нескольких песен и романсов, его музыка звучала в эстрадных представлениях (например, в спектакле Марии Мироновой «Кляксы» – 1959 год, в программах Ильи Набатова). За несомненные заслуги в 1996 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Для солистов было немаловажно, чтобы аккомпаниатор помимо высоких музыкальных кондиций обладал ещё и привлекательными человеческими качествами. И тут Ашкенази оказывался на высоте: в нём не было ни грамма высокомерия, его отличала абсолютная доброжелательность, готовность прийти на помощь. Его уважали не только как профессионала, но и как человека. Недаром пела Толкунова:

Такого пианиста, артиста-оптимиста
Теперь на свете встретите едва ль...

Ашкенази был непритязательным, компанейским человеком. Во время пребывания в Горьком, несмотря на растущую популярность, семья его жила весьма скромно – в коммунальной квартире с соседями, общей кухней и прочими неудобствами. Репетировать дома было проблематично, тем не менее семья жила не замкнуто: приходили гости (зачастую знаменитые), случались нередкие застолья.

Жена Ашкенази была актрисой, неплохо пела. Это она отвела их сына к учительнице музыки. Когда отец вернулся

с гастролей, исполнение сыном Баха и Моцарта стало для него сюрпризом. Родившийся в 1937 году в Горьком Владимир Ашкенази стал более знаменитым, чем его отец. Сегодня это пианист с мировым именем, лауреат многочисленных музыкальных премий. По советским меркам жизнь его сложилась необычно. Имея жену-исландку, он ещё при Н.С. Хрущёве покинул Советский Союз и сделал на Западе блестящую карьеру. Он выступал не только исполнителем, но и дирижёром Лондонского, Берлинского, Кливлендского симфонических оркестров, камерного оркестра Рейкьявика и других. Владимир приезжал в Нижний Новгород на гастроли, вспоминал отца, своё детство, дом на улице Костина... У него пятеро детей, из них двое – музыканты. Дочь Ашкенази – Елена – также стала пианисткой, сейчас она профессор фортепиано, преподаёт в Музыкальной академии в Токио. Её сын Владимир (внук Ашкенази) – пианист и композитор – тоже добился известности, выступая с концертами по всему миру. Он многим обязан своему деду, вспоминает о нём с большой любовью: «Мой дед Ашкенази для меня прежде всего родоначальник всей нашей музыкальной династии. Его любовь к роялю была взаимной. Он обладал природным уникальным талантом «звучать», и при этом сохранять своё волшебное прикосновение. Мне посчастливилось провести с моим дедом детство и юность и даже поездить с ним вместе по гастролям».

Перечисляя имена талантливых детей и внуков Ашкенази, можно с полным основанием говорить об уникальных генах музыкальности, несомненно, связанных с искусством великолепного аккомпаниатора.

Об Ашкенази частенько вспоминали все, с кем ему приходилось работать на сцене. Каждый из них отмечал, что при его участии успех выступления был гарантирован. Об этом свидетельствует и заключительная фраза справки о нём и его творчестве в сводном томе «Эстрада России. Двадцатый век»: «Ашкенази был не просто концертмейстер, но выдающийся музыкант, работать с ним мечтали многие артисты».

Далекое — близкое

Петр РОДИН

Воскресенское

ПЕРЕКРЁСТКИ ЖИТЕЙСКИЕ

Место силы

Нет-нет да и вычитаю или услышу из телевизора выражение: «личное место силы».

Как я понимаю, речь идёт не о каких-то ведьмаках и бабайках, а про то как яркие моменты или места из ранних лет жизни влияют на всю судьбу человека, который определил и признал для себя со временем это самое «место силы».

Для меня таковым значимым местом стал «ружпарк», а если полностью, оружейный парк. Это забранная металлическими прутьями большая комната в ротной казарме, где хранится стрелковое оружие и боеприпасы.

В военном училище дело было, в советские времена. Сейчас поговаривают, что в те годы дедовщины в армии, а тем более в учебных заведениях, которые для неё офицеров готовили, и в помине не было. Свидетельствую: и в памяти есть, и очень даже было...

Старшина Васильченко, рыжий хохол-мордоворот, вёл роту курсантов-первогодков из бани. Помывка происходила по понедельникам в шесть утра в городской бане, которая в это время была никем не занята. Подошли уже к казарме.

— Рота — стой! Раз-два!

И показалось командиру Васильченко, знаковому для меня субъекту, что заспанный курсач, я то есть, не на положенную высоту свои яловики от земли взметнул.

Ну, и не сильно, а так, наставительно, пнул он под коленку нарушителю строевого устава.

А нарушитель, на автопилоте, то же самое – ему в ляжку. Без всякой злости, просто по инерции и спросонок.

Ну, а дальше всё пошло уже не по уставным статьям: чистка по ночам чугунных мусорных тумб в уборной, воспитательный «массаж в умывалке», да так, чтобы утречком никаких следов ни на бетонном полу, ни, не дай бог, на лице воспитуемого даже под лупой обнаружить было невозможно.

А вскоре, вот и оно, моё место силы из тех лет, тот самый «ружпарк».

Комиссия из округа посчитала мой одиночный выстрел из автомата АКМ, серии УП, номер 78-04 совершенно случайным, что сам я устно, на голубом глазу, а также письменно обязан был подтвердить. А куда деваться-то?

В толстые и жирные складки кожи на лбу старшины Васильченко я промазал. Точнее, пуля срикошетила от стального прута решётки оружейной комнаты.

Но пока я сидел на губе и пока ждал приказа на увольнение после госпиталя, никто не посмел меня унижить. Даже предупредительно относился ко мне и сам старшина. Обидчикам моим, его подручным, поодиночке сумел я ещё и «долги» возратить. Тем более что заручился поддержкой у сокурсников после огласки деталей заварушки.

А дальше, по жизни, училищный оружейный парк и стал для меня настоящим местом силы.

Шаруня

Как-то перед самым Новым годом послали меня мои домашние за пирогами да ватрушками. Ёлка уже красовалась в центре посёлка Воскресенское.

За углом уютного ларёчка под вывеской «Выпечка», вытаращив слезливые глазищи, уставилась на прохожих облезлая рыжая собака. Тощий кобель, скорее всего, закрылечкиных кровей, кажется, притащил в суетливую предпраздничную человеческую толкотню все свои собачьи беды.

На приличном в этот день морозце его левая задняя лапа заметно волочилась. А правую он то и дело отдёргивал от

утоптанного снега, как от разогретой сковородки-блинницы. Казалось бы, бездомок задрипанный, кои сейчас десятками по улицам бродят, людей пугают. Но что-то в этой псине, в её обличье, так сказать, и поведении показалось мне с человеческим схоже.

Остановился я и понаблюдал за Шаруней, как я его сам и обозвал. Одно ухо у доходяги было более обвислым, чем другое. Брюхо, как говорят, приросло к хребтине.

Выставив печальную свою морду поближе к раздатке прилавка, исходящего духмяным испарением печёнки, пережаренной с лучком на постном масле, Шаруня будто виновато вопрошал:

– А не очень ли строго за понюх меня здесь спросят? Не прилетит ли дрыном по бокам? От мусорных баков со жрачкой меня вчерашние дружки да жучки-сучки отвадили. А тут вот запашком мясным намахивает так, что он от рваных брылей до самого хвоста нутро пробивает...

Я встал в короткую очередь, намереваясь прихватить пару пирожков с картошкой и для Шаруни, а краем глаза всё за ним подсматривал.

Рядом на парковку, прохрустев льдинками вкатился крутой джип. Местный мажор с яркой, как бабочка, спутницей и с ненашенским загаром вальяжно прошествовал к ларёчной раздатке и отоварился без очереди. Шаруня тем временем проковылял к «лендроверу» и умудрился малость написать на его колесо с блестящими шипами.

Подоспевший водила замахнулся на него связкой ключей и выдал смачный плевок вместе с дорожкой жвачкой. И ведь точно попал псу в свалывшуюся на голове шерсть. А Шаруня неуклюже стряхнул «лапшу» с ушей, вдруг неожиданно взбодрился, шарахнулся в сторону и успел-таки клацнуть жёлтыми клыками по упругой ляжке подруги мажора.

Преследования не было – ветеран грызни за течных сушек знал все подворотни и дыры в заборах.

Я скормил Шаруне целых три пирожка. Два с картошкой и один с печёнкой. Отчего-то зауважал я его. Правда, пришлось долго приманивать разбойника, веру в людей он, видимо уже давно утратил.

Шифер

Сосед мой – Лёха Веселов, теперь уже Алексей Никандрович – пенсионер и заслуженный строитель РФ. На Ветлугу приехал по распределению из одного южного района ещё в семидесятых годах прошлого века. Окончил техникум и получил направление в местную СПМК. Сейчас уж мало кто и расшифрует это название. А в трудовой книжке мастера-строителя Веселова А. Н. «строительная передвижная механизированная колонна» значилась до самых аварийных горбачёвских да ельцинских времён. Строитель до мозга костей, эти две известные фамилии он при разговоре без мата не выговаривает. Такая уж у прораба, словно бы по кирпичику да по плите бетонной, сложилась нерушимая установка. Но, слава богу, речь не о ней. В последнее время стали Никандровичу детские годы вспоминаться да грезиться. За рюмашкой первача он и со мной воспоминаниями поделился.

Первое, что виделось ярко, с мельчайшими деталями – это история с шифером. Шесть годков Лёхе тогда было. Мать, отец, бабушка да брат с сестрой – обыкновенная деревенская семья. Местность безлесная. Маленькая, в три десятка изб, деревенька Фатьяново. Колхоз «Завет Ильича». Мать на ферме работала, отец там же грузчиком был. Совсем и не думалось тогда, что бедновато жили. Как бабушка говаривала, «гомозились» в одной куче семейной, не лучше, но и не хуже других. Народ в деревне был смирный. Предки были из приписанных к монастырю крестьян. Это Лёха позднее уже узнал, когда краеведением увлёкся. Изба у Веселовых была большая, пятистенная, от дедов ещё доставшаяся, но изрядно уже и обветшавшая. Отец материал для будущей стройки помаленьку готовил. А лесу добыть в тех местах делом тяжёлым было, почти безнадёжным.

Март месяц. Воскресенье. Взрослые у колхозной сенницы работали – солому «по себе» делили на трудодни заработанную и развозили по домам. Привезли и к крыльцу Веселовых.

Лёха с одноклассником и соседом Мишкой Липиным тут же крутились. Солнышко завалинку земляную пригрело.

– Мишк, а давай яички из земли лепить, – придумал Лёха.
– А давай, и ещё посмотрим, у кого их больше будет, – тут же согласился приятель.

Налепили яичек, а дальше что?

– Так-то они тут перемёрзнут, испечь бы их надо, – по-добрав сопельки, соображал Мишка. – А вот слабо тебе, Лёсык, спички вынести. Бауски забоишься.

– Кому это – мне слабо?

Лёха мигом взлетел на крыльцо, тихохонько встал на табуретку в задней избе и достал из известного ему места коробок спичек...

Бабушка с сестрой и младшим братом кое-как через окно спаслись. Люди помогли. Друзья-поджигатели спрятались на конном дворе в кормушках лошадей и прикрылись досочками. Отец Лёшку не бил. Только незнакомый милиционер или пожарник в картузе с гербом уши малость покрутил, так мать парнишку от него еще и защитила, приголубила, горько плача.

Лёха тоже часто потихоньку плакал ночами от обиды и злости. На кого, сейчас уж и не упомнить. На себя, наверное. Жили в землянке-мазанке, добрые люди пустили. Лёха чутко прислушивался ко всему, что говорилось вокруг о стройке. Он усвоил, что ничего нигде нет из материалов, но потихоньку всё же находилось. А вот шифера не было совсем. Делили его чуть ли не по листу всем колхозом.

Осень. Всем семейством в рядок уже спать укладывались на земляном полу. Мужик в низком проёме мазанки. Пьяный и страшный. При свете керосиновой лампы видны две человеческие фигуры: отец в одном нижнем белье и гость нежданный, которому тоже нужен был шифер. Бабушка часто над отцом подтрунивала за то, что «кочету голову отрубить и то боялся».

И тут он молчал. Только обхватил своими тяжелыми, в толстых, как змеи, синих венах ручищами шею пьяного мужика из соседней деревни и давил. Гость перешёл на хрип. Мать закричала: «Караул!» Бабушка творила молитву...

Но все остались живы. Так что голубая мечта детства Веселова Алексея Никандровича – шифер. До сих пор помнит, что надо было девяносто листов.

Иван Шапкин

С одним ветераном Великой Отечественной войны приглашены мы были в день Победы на большой и торжественный приём к губернатору Нижегородчины Валерию Павлиновичу Шанцеву. Я тогда главой района был. Но сначала про войку.

У бывшего танкиста из поветлужской деревни Баранихи «позывные» что ни на есть русские – Иван Григорьевич Шапкин. Стоило было задеть в разговоре тему войны, как он, почти сетауя, пояснял, что пришлось побыть ему в действующей армии всего-то пару месяцев и есть ли о чём тут толковать. Но из его скупого рассказа и пожелтевших справок становилось понятно, что его война продолжалась всю жизнь.

Квадратик плохонькой бумаги со штампом иркутского эвакогоспиталя № 1834 от 16 октября 1943 года. Читаю: «Дана красноармейцу Шапкину Ивану Григорьевичу в том, что означенный Шапкин И. Г. находился на излечении с 25 августа 1943 года по 16 октября 1943 года...». Ожоги 2-й степени, тяжелейшая контузия. Направление в психбольницу. Крепкий, деревенской закваски парень стал инвалидом первой группы. И было тогда ему девятнадцать годков от роду. Пришлось врачам для сопровождения покалеченного фронтовика до дома назначить медсестру.

Но со станции Ветлужская отпустил списанный вчитую боец сестричку Анечку восвояси, потому что встретил на вокзале земляка – Косарева Андрея Ивановича. Подвозил тот на лошадке новобранцев к поезду. На тряской телеге добрались они до родимой, в два десятка изб, лесной деревушки Баранихи.

– Да что, Григорий, не признаёшь, что ли? – представлял Косарев отцу вконец измотанного дальней дорогой сына-солдатики. Что было, то было: не сразу признал отец Иванку. С обезображенным ожогом лицом, глухим и едва видевшим свет, возвратился тот с войны. Месяца полтора не выходил из избы. Лица своего, слабости и частых припадков – последствий контузии – стеснялся.

Потом было лечение русской баней и пятилетка госпиталей. Пластические операции, лечение от контузии. Выжил солдатик, подлечился. Даже группу инвалидности потом сняли. На работу в сельпо устроился. Образование семиклассное по тем временам в чести было. Женился. Трёх деток с верной супругой Александрой Андреевной вырастили. Ягодные и грибные места никто лучше деда Ивана в округе не знал. Бессменный совхозный бригадир и депутат сельсовета, немало потрудился он на своём веку. Но всё же частенько доставала его война приступами боли и головокружения...

Сначала была танковая школа в Выксе. Там же, в учебном подразделении, 29 июля 1942 года новобранец Шапкин принял присягу. А потом попал молоденький механик – водитель танка Т-34 на главное для истерзанной страны и всех её Бараних, Соловьевых и Чернышых направление: Орловско-Курское, в составе 18-го танкового корпуса.

В одну из наших, давних теперь уже, встреч удалось мне дословно записать его слова о войне. Голос ветерана в диктофоне храню.

– Да нечего больно-то и рассказывать. Мы горели, немцы горели. Людей танками утюжили. Майор-дурак нас три экипажа на верную смерть послал. Из всех, скорей всего, я один живой и остался. Танк горит. Не помню, как из него и выбрался. А тут как раз топливные баки и шарахнули. Отбросило, зная, в ручейну, потому и не сгорел совсем-то. Да и наши вскорости подбежали. Вот и вся моя война.

Два месяца боёв – июль и август 1943 года. И два боевых ордена – Отечественной войны первой степени и Красной Звезды да ещё медаль «За отвагу».

И вот приглашены мы были с Иваном Григорьевичем Шапкиным на губернаторский приём по случаю годовщины Великой Победы. Перед огромным ярмарочным павильоном встречали нас предупредительные и вежливые чиновники. Губернский оркестр песни и марши исполнял. Главным распорядителем и был глава региона – Павлынич, фигурой и манерами с маленьким бульдозером схожий. Много чего можно вспоминать об этом действе. На обратном

пути спросил я Ивана Григорьевича о том, как ему всё это показалось.

И доложил обстоятельно мне механик-водитель танка Т-34 сержант Советской армии Шапкин, что очень ему понравился пожилой уже тоже и худющий артист Михаил Николаевич Ножкин, который спел песню «Последний бой». Слезу, мол, выжал, чувствительно исполнил. А вот обед мой подопечный не одобрил.

– Да что ты, – говорю ему, – Иван Григорьевич, чего только нам официанты не подкладывали да не подливали!

– Вот-вот, – отвечает, – и я про это. В жизни своей впервые за такой стол да с такими скатёрками усадили.

– Так в чём же дело?

– А в этом самом и есть. Ну сам посуди, какие мы сейчас уже едоки да выпивохи. И для кого это всё навыставляли? Я тут подсчитал...

Иван Григорьевич вынул из кармана парадного, ещё с советских времён, пиджака белоснежную салфетку с какими-то карандашными каракулями.

Подсчитал ветеран не только войны, но и потребкооперации, что если перевести все кулинарные изыски банкета на мясные щи, перловую кашу с подсолнечным маслом и хлебец да сто граммов водки на штык, то три пехотные дивизии по фронтовым нормам неделю кормить можно. Да ещё «с походом». Это на старых весах с гирьками (помните, были такие?) означает – с небольшим запасцем.

А я-то думал, чего это мой собутыльник, надев очки на широкой резинке, всё на столешнице черкает, не речь ли губернатора Шанцева записывает?

А Валерий Павлинович тогда вслед за Михаилом Ножкиным очень даже душевно «Сормовскую лирическую» исполнил.

Русский смех

Александр ХОРТ

Москва

БАХТЕР И ПРЕЗИДЕНТ

Художественный фильм «Сэндвич с маком» пользовался оглушительным успехом. Он завоевал тьму тьмущую призов на разных фестивалях. А исполнитель главной роли Игорь Узоров стал звездой первой величины. Его портреты не сходили со страниц глянцевого журналов, фирмы платили ему бешеные деньги за то, чтобы он снялся в их рекламе, женщины называли в честь него новорожденных мальчиков. (Одна фанатка даже назвала свою дочку.)

Лишь один человек с тоской наблюдал за этим триумфом. Это был коллега Узорова Максим Чибисов, которому первому предложили сыграть эту роль, а он отказался.

Случилось это так. «Сэндвич с маком» представлял собой многобюджетный проект, совместное производство российских и английских кинематографистов. Российский режиссёр позвонил Чибисову и предложил ему сыграть главную роль – президента крупного промышленного холдинга Бэкстепа. Сказал, что готов взять его без пробы. Максим с радостью согласился. Через некоторое время он получил от англичан экземпляр договора,

из которого въедливый артист узнал, что ему предложена роль вахтёра.

Резкое понижение в должности возмутило Чибисова. Он тут же позвонил режиссёру, сказал, что отказывается подписывать договор, и наговорил ещё много обидных слов. Напрасно режиссёр пытался его успокоить, говорил, что никакого вахтёра в сценарии нет. Максим ничего слушать не хотел.

Причина недоразумения вскоре выяснилась. Дело в том, что англичане написали фамилию президента Бэкстепа латинскими буквами: ВАХТЕР. Это и сбilo с панталыку Чибисова, который не знал английского языка.

Узоров, которому передали эту роль, английского тоже не знал. Однако его фамилия персонажа не смутила, поскольку он подмахнул договор не глядя.

БРЕНД СИВОЙ КОБЫЛЫ

– Если уж вы хотите выгодно продать свою лошадь, – сказал Алексей родителям, – её нужно как следует разрекламировать. Требуется создать бренд.

Алексей, для родителей он по-прежнему Лёшенька, недавно вернулся из Нижнего Новгорода, где выучился на маркетолога. Он работал мерчендайзером в гипермаркете. Работа ему очень нравилась, и, приехав в отпуск в деревню, хотелось похвастаться перед односельчанами приобретёнными знаниями. Однако случай никак не подворачивался, и вдруг – о, счастье – родители сказали, что хотели бы избавиться от старой, весьма обессилившей кобылы Ромашки.

– Каким образом вы собираетесь её продавать? – поинтересовался он, заранее предвидя нелепое объяснение.

– Повешу возле магазина объявление, – ответил отец. – У нас все так делают.

– Поэтому все так процветают, – сардонически хмыкнул Алексей. – Батя! Объявление нужно вывешивать в интернете. Но сперва необходимо создать...

Вот тогда Алексей впервые сказал про бренд. Заодно упомянув про логотип, упаковку, фондовый рынок и стратегию.

– Продавать любую вещь нужно с выгодой. Для начала нужно придумать красивое звучное имя.

– Ромашкой её кличут, – робко вставила мать.

– Слишком длинно, – отрезал сын. – Да вдобавок наверняка дразнят Рюмашкой. Нужно что-нибудь покрасивее. Скажем, Орхидея... Да, пусть будет Орхидея. Или даже лучше Эсмеральда. Значит, так: «Недорого продаётся лошадь серебристого цвета, студенческого возраста, по имени»...

– Ясен пень! – воскликнет, дойдя до этого места, продвинутый читатель. – С лёгкой руки Алексея злополучную кобылу расхвалили до такой степени, что в один прекрасный момент отец заявил: мол, нужно быть последним идиотом, чтобы продать такую классную животину! Лучше оставим её себе.

На что я возражу: минуточку! Никакого противодействия тактике Алексея не наблюдалось. Разинув рты, родители покорно плелись в фарватере его профессиональных замашек, дождались, когда он вывесил своё объявление в интернете. Семья надеялась на успех.

Однако дальше всё пошло не по сценарию – на объявление никто не откликнулся, никто не позарился на бывшую Ромашку. Ни одна душа, ни из «Фейсбука», ни из «Одноклассников»... Отвечая на недоумённые вопросы родителей, Алексей так же недоумённо пожимал плечами, иногда ссылаясь на отсутствие загадочного вай-фая. Все решили, что это какой-то китаец.

Между тем деревня эта была не такая уж глухомань, здесь тоже имелась продвинутая публика, чувствовавшая себя в интернете как рыба в воде. Молодые люди читали составленное Алексеем объявление и тут же элементарно его расшифровывали. Ага: «серебристая» – значит «сивая», «лошадь» – значит «кобыла», «студенческий возраст» – значит лет 18–20. Да кому такая старая кляча нужна!

Несколько дней семья провела в режиме ожидания. Первыми не выдержали нервы у отца. Не предупредив Алексея, он написал на бумажке печатными буквами объявление о продаже кобылы и прикрепил его кнопками на старом телеграфном столбе возле селы.

Уже через несколько часов к ним заявился мужик из соседней деревни и купил Ромашку, причём по выгодной для хозяев цене.

Видя такое дело, Алексей заинтересовался у отца содержанием рукописного объявления и, когда узнал, что тот не воспользовался новым брендом, горестно вздохнув, сказал:

– Очень жаль. Я как раз собирался сделать ребрендинг.

ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ

Молодой следователь областной прокуратуры Виктор Поясков был командирован на несколько дней в районный центр, где участвовал в расследовании череды дерзких ограблений. Дело продвигалось со скрипом. Лишь перед самым отъездом к Пояскову на допрос привели первую подозреваемую.

Виктор ожидал увидеть мрачную, с недобрим взглядом, возможно, татуированную особу. Однако в кабинет буквально впорхнула изящная миловидная девушка. Кружевная блузка, розовая юбка, туфли на шпильках.

– Садитесь, – предложил Поясков посетительнице и, когда та уселась напротив, спросил: – Ирина Леопольдовна, скажите, пожалуйста, что вы делали в понедельник вечером?

– Сейчас вспомню... В понедельник я с подругой ходила в филармонию на симфонический концерт.

Следователь записал, после чего спросил:

– А что вы делали во вторник вечером, то есть позавчера?

– Во вторник я с подругой ходила на выставку акварелей одного художника.

– А что вы делали вчера вечером?

– Вчера мы с подругой ходили на премьеру в театр.

Заполнив бланк протокола, следователь отпустил подозреваемую восвояси. Было приятно, что у такой симпатичной девушки железное алиби.

Вскоре Поясков отправился на вокзал и через несколько часов вернулся домой, где его радостно встретила жена.

– Ну, как ты тут без меня? Чем занималась? – бодро спросил он. – Что ты делала в понедельник вечером?

– Сейчас вспомню... В понедельник я с подругой ходила в филармонию на симфонический концерт.

– А что ты делала во вторник вечером, то есть позавчера?

– Во вторник я с подругой ходила на выставку акварелей одного художника.

– А что ты делала вчера вечером?

– Вчера мы с подругой ходили на премьеру в театр.

После ужина усталый Поясков завалился спать. Но ещё долго беспокойно ворочался. Что-то в ответах супруги насторожило Виктора, только непонятно что. «Надо будет завтра допросить подругу», – решил он, чутко прислушиваясь к ровному дыханию обнявшей его жены.

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Валерий РУМЯНЦЕВ

Сочи

Золотая рыбка

*Закинул удочку я в Тихий океан,
Попалась мне
Малюсенькая рыбка.
И я подумал, что и тут обман,
А может, не обман,
А лишь ошибка?*

Анатолий Брагин

Объехав много дальних стран,
Я подвожу итог исканий:
Кругом царит один обман,
Особо в Тихом океане.
Рыбачил там я как-то раз,
Между Камчаткой и Аляской,
И вынул, помню как сейчас,
Рыбёшку из известной сказки.
И рыбка, золотом блестя,
Все блага мира мне сулила,
Она рыдала, как дитя,
И о спасении молила.
Мне предлагала роль в кино
И поэтическую славу,
Но я ответил ей одно:
Мне эти басни не по нраву.
Я верить сказкам не привык,
Мне не такие пули лили...
Я сделал из неё балык,
И мы с друзьями пиво пили.

Засилье дыр

*Дрожит гитара под рукой, как кролик,
цветёт гитара, как иранский коверик.
Она напоминает мне вчера.
И там – дыра, и здесь – дыра.*

Алексей Парщиков

Гитару сжав дрожащею рукою,
Брожу сегодня, как бродил вчера.
Ищу, но не могу найти покоя:
Повсюду мне мерещится дыра.

Дыра в зарплате, в плане, в госбюджете,
Дыра с гитаре и на рукаве...
Как много разных дыр на белом свете!
И я их все вмещаю в голове.

Мне эти дыры гасят бег пера
И вспышки поэтического рвения.
Открою рот, смотрю – и там дыра.
Да, не найти нигде от них спасенья.

Большой ребёнок

*Пусть скажут про меня: большой ребёнок.
Я в детство не впадал, я вечно в нём.
А мир – он тоже вечно юн и звонок,
и нам всё время весело вдвоём.*

Вадим Сикорский

Мир вечно юн. Мы с миром близнецы,
Хотя у нас и разные отцы.
Мне б не хотелось зрелым становиться
И чашу жизни до конца испить,
Хочу я песни щебетать, как птица,
И вечно в начинающих ходить.

Мой голос будет постоянно звонок,
Я буду веселиться каждый миг.
Пусть скажут про меня: большой ребёнок.
Зато не скажут: маленький старик.

Александр БОБРОВ

Москва

Соло на ударных

*Играйте ж, играйте – восторги души!
Хвалите дыханием Бога!
Искали? Ну, что же, считайте – нашли –
Ударную гласную слога!*

Александра Тарновская

Желаю писать о восторгах души,
Ещё – о дыхании Бога...
И даже считать, что года – не ушли,
Не тает к свиданьям дорога.
Искали?
Такой не сыскать всё равно
Среди современниц прекрасных!
Ударных-то гласных, как прежде, полно,
Но нету ударных... согласных.

Партизанский наказ

*Мне женищина сказала: «Не любя
жить – все равно, что будто в ритме вальса.
Держись за ту, что держится тебя»,
и я держался за неё, держался...*

Виктор Партизанов

Когда ты поняла, что я поэт,
То подала какой-то тайный знак свой
И захотела сразу дать совет –
Наказ любовный или партизанский.

Но тут же заиграл ритмичный вальс
И я шагнул под голос к фортепьяну:
«Держись за ту, что крепко держит нас»,
И я держусь – хоть с бодуна, хоть спьяну!

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Прыг да бряк

Будь ты свой иль иностранец,
До тебя дойдет, что брак
По идее – парный танец,
А по жизни – прыг да бряк.

Грация

О женщина, мила и непокорна,
Прекрасный пол прославила в веках –
На склоне лет идешь походкой гордой,
Пусть с тросточкой – зато на каблуках.

Уважение

Мы в человеке уважаем ум,
Но тонкий слог речей благих подметив,
Из всех властителей высоких дум
Предпочитаем тех, кто лжет красивей этих.

Этапы

Жизнь – как езда в неведомую даль,
Где каждый хочет мчать в своей упряжке.
И пусть с попутным ветром угадал,
Пройдешь в пути усушку и утряску.

Принципиальный

Я стал принципиальнее,
Судьба в моих руках:
Одной держу за талию,
Другой меняю флаг

Невежды

Кусок от жизни свой спеша урвать,
Мы с книгой не общаемся, как прежде.
И вот нехватка времени читать
Становится привычкой быть невеждой.

В два счета

Сегодня ум и благость не в почете,
А глупость, как и ложь, увы, права.
А сколько тех, кто не силен и в счете,
С апломбом нам командуют: – Ать-два!

Продукция

Человек – продукт эпохи,
Скажет школьник и студент.
Пусть порой всего лишь крохи,
Но каков ассортимент!

Илья ЧЕСНОКОВ

Белгород, литературная студия «Младость»

АФОРИЗМЫ

Человек счастлив настолько, насколько готов быть обманутым.

Если у вас уже есть, что сказать, значит – хорошо было бы ещё подумать.

Ощутить свободу можно и при взлётах, но оценить – только при падении.

Иногда необходимо все перевернуть с ног на голову, чтобы обрести, наконец, душевное равновесие.

Самое желанное слово в кабинете стоматолога: «Сплюньте!».

Хороших людей, конечно, больше! Но они почему-то все сидят дома.

Выбился в люди, а человеком так и не стал.

Не меняйте позиции на позы!

Люди, которые часто говорят, что думают, не всегда думают, когда говорят.

Товары массового сброса.

Нигде так не оценят твоё здоровье, как в кабинете врача.

В борьбе за место под солнцем чаще прибегают к теневым методам.

Не показывайте ваше истинное лицо! Для многих это может показаться оскорбительным.

Чем темнее настоящее, тем всё светлее кажется будущее.

Ложь – это разуверившаяся в своей силе правда.

Идея, не нуждающаяся в деньгах, опаснее действия, требующего предоплату.

Я ухожу в себя, но не прощаюсь...

Семейное чтение

Елена НЕСТЕРИНА

Москва

НАХЛЕБНИЧЕК

Однажды тёмным вечером в дверь дома семейства Лохмотьевых кто-то постучался. Лохмотьевы, что сидели в кухне у камина, переглянулись и удивились: кого это к ним несёт в такой поздний час? Хозяин дома Лев Лохмотьев поднялся со стула, распахнул дверь и увидел, что на пороге стоит замёрзший бедняжка. Ма-а-аленький совсем, не выше дверной ручки.

– Здравствуйте! – сказал малыш.

– Это ещё кто такой? – Чтобы лучше разглядеть того, кто пришёл, мать Лохмотьева поднялась из мягкого кресла, а дядя Вонифатий приставил пенсне к глазам.

– Возьмите меня к себе, пожалуйста! – вновь раздался голосок.

– В смысле как это тебя к нам взять? – удивилась бабушка Лохмотьева. – Насовсем?

– Угу.

– Вот это да! – ахнули дети Лохмотьевых.

Ахнули и остальные.

– А ну зайди, не то весь дом выстудишь! – велел отец Лохмотьев.

Малыш сделал шаг вперёд, поближе к теплу. Он никак не мог расцепить замёрзшие пальчики, оглядывался по сторонам. И боялся.

– И что же ты у нас будешь делать? – поинтересовалась тётя Помпония.

– Жить... – ответил маленький и так доверчиво улыбнулся ей, что тётя Помпония зажмурилась, всплеснула руками и воскликнула:

– Нет, ну вы гляньте!

Дядя Вонифатий протёр пенсне краем пледа и тщательно глянул. Остальные последовали его примеру.

– А зачем ты нам нужен, приبلудный? – спросил отец Лохмотьев, наклонившись к самому носику бедняжки.

– Я не знаю... – прошептал этот самый приبلудный. Большой Лохмотьев был очень страшен. – Но на улице так холодно... И жить очень хочется.

Как раз в этот вечер гостил у Лохмотьевых городской почтальон. Он принёс им свежие новости да и задержался, чтобы переждать непогоду.

– Ты совсем ничей? – спросил почтальон.

– Совсем.

– Господа Лохмотьевы, – произнёс он тогда, – а не сделать ли вам доброе дело? Возьмите-ка вы его к себе в нахлебники! Пусть живёт, помогает по хозяйству. А в городе станут говорить про вас: «Ах, какие Лохмотьевы щедрые! Ох, какие заботливые! Как они помогают несчастным, как любят голодных. Это очень добрая семья. Посмотрите, кого они приютили!» Слава о вас пойдёт.

– Слава... Да. Она нужна нашему делу, – почесал голову отец Лохмотьев.

– А о том, что вы из жалости взяли нахлебника, узнает весь город, – улыбнулся почтальон. – Я уж постараюсь!

Лохмотьевы переглянулись. Добрая слава – это же очень надо, особенно сейчас, когда их дело пришло в упадок.

– Хорошо, берём его в нахлебники! – принял решение отец Лохмотьев, перед этим пошептавшись с матерью. – Ну-ка, иди сюда!

– Давай посмотрим – не больной он, не паршивый? – сказала мать и вместе с отцом принялась крутить-вертеть нахлебника, рассматривать со всех сторон.

– Нет, нет, я здоровенький! – мотаясь туда-сюда в их руках, пискнул нахлебник.

Лохмотьевым и вправду не удалось отыскать на нём ничего подозрительного. Мать вытащила из шкафа полотенце и протянула его малышу.

– Иди в баню! – велела она, а отец Лохмотьев провёл его по тёмному коридору до самой двери и, открыв её, отвесил своему нахлебнику воспитательный пинок.

Дверь тут же захлопнулась. Маленький нахлебник Лохмотьевых влетел в баню и остался один. Огляделся – ничего страшного. Пыхтела каменная печка, по лавкам стояли ковши и тазы, шуршали мокрыми листьями берёзовые веники.

Ох, до чего ж хорошо было Нахлебничку плескаться в тёплой воде! От душистого мыла летели разноцветные пузыри, с весёлым треском лопались у него перед носом... Долго мылся Нахлебничек, а как намылся и вытерся свежим полотенцем, немедленно отправился в кухню, к своим благодетелям.

– Всё! Я намытый, я чистенький! – с благодарностью воскликнул он, от тепла и счастья засыпая на ходу. – Спасибо.

Ах, какой оказался чистый, какой душистый, какой милый Нахлебник! Очень хотелось взять его на руки, приласкать, убаюкать.

Но все Лохмотьевы уже легли спать. Одна бабуля прошмыгнула по кухне, бросила Нахлебничку лоскутное одеяло и тоже отправилась на боковую – в свою спальню вверх по лестнице.

– Марш за печку! – скомандовала она.

– Ага! – и Нахлебничек юркнул за печку.

Там, в уголке и тепле, тоже было очень хорошо. Нахлебничек долго гнезвился, сопел, пыхтел, устраиваясь поудобнее, наконец свернулся калачиком и сладко уснул.

И теперь в семье Лохмотьевых было восемь ртов и один нахлебник.

Нахлебник сразу понял, что он нахлебник, и старался есть поменьше. Он очень стеснялся. «Я съем совсем чуть-чуть, я не объем вас!» – преданно глядя в глаза Лохмотьевым, повторял про себя Нахлебник.

Тётя Помпония тщательно следила за его питанием. Чтобы Нахлебник не ел ничего лишнего. Когда он помогал на кухне, тётя заставляла его надевать ватно-марлевую повязку. Нахлебник каждый раз дрожал, когда тётя Помпония повязывала ему

на мордашку эту тряпичную вещь. Повязка, считала Помпония, не позволяла ему, бывшему уличному беспризорнику без прививок, начихать на продукты и в готовые блюда, а главное — незаметно сунуть в рот кусок чего-нибудь съестного. Так и бегал Нахлебник целый день в намордничке, иногда, правда, потихоньку высовывал нос, принюхивался и улыбался, представляя, от какой вкусной еды может так замечательно пахнуть.

Он очень старался всем понравиться. Носился по дому, хватался за любую работу, чтобы помочь, услужить Лохмотьевым. Очень, очень ему хотелось, чтобы всё было хорошо!

У семейства Лохмотьевых имелось своё дело, ещё древние Лохмотьевы основали его. Они были старьёвщиками, тряпичниками, и это многие годы приносило им доход.

Каждый день отец Лохмотьев появлялся на улицах города с тележкой. Он медленно ехал с ней вдоль домов и призывно кричал:

— Старьё берём! Старьё берём! Утиль, утиль!

К нему выбегали дети и хозяйки, выносили старые тряпки, кости, бумаги и железяки. Отец Лохмотьев складывал их в тележку, а за это добро выдавал кому нитки-иголки, кому набор рыболовных крючков, кому зеркальце. Когда тележка наполнялась, отец Лохмотьев возвращался домой.

И начиналась работа: на заднем дворе дома Лохмотьевы раскладывали всё по кучкам: кости в одну кучку, бумаги в другую, тряпки в третью, железяки в четвёртую. Железный лом как самый ценный отец Лохмотьев сдавал на переплавку, бумагу и тряпки мать заталкивала в сумки и носила на склад макулатуры. А некоторые находки ещё вполне можно было продать на блошином рынке — постирать их только как следует, почистить, подлатать. И у вещи, которую вытаскивали из мусора, начиналась вторая жизнь.

Последнее время плохи были дела Лохмотьевых. В городе объявились их удачливые конкуренты — компания братьев Золотарёвых. Они умели особенно ловко выманивать старьё у населения, так что на долю Лохмотьевых оставалось всё меньше и меньше городского утиля.

Поэтому они были очень опечалены таким положением вещей.

Целый день рылись Лохмотьевы в кучах старья, показывали друг другу ценные находки, иногда ссорились и дрались из-за них. Нахлебничек помогал им, рьяно копался в отбросах, выбирая то, что понравилось бы Лохмотьевым. Но ему доставались самые плохие, небогатые на добычу кучи. Поэтому хвалить Нахлебника было не за что, и Лохмотьевы от всей души ругали его, нерасторопного и невнимательного.

А из костей дед Лохмотьев варил клей. Некоторые кости, особенно большие коровьи мослы, он дробил в специальной машинке. А готовый клей разливал по бутылочкам и продавал в городскую канцелярию.

...Однажды Нахлебник помогал дедушке: очищал кости от мусора и подавал ему.

Раздавался страшный треск и хруст – это дед молотил кости в своей машинке. Нахлебник пугался этого хруста, зажимал уши, отчего ронял кости на пол, и дедушке приходилось отвешивать ему оплеухи. Но скоро всё это закончилось, и дед принялся мешать в огромной кастрюле своё костяное варево.

Клей остыл только поздно вечером, и дедушка стал разливать его по бутылочкам, которых Нахлебник набрал в мусорной куче и тщательно намыл. Обычно дедуля сам отправлялся в канцелярию сдавать клей и получать за него деньги. Но сегодня что-то очень он устал, да и было уже так поздно, что решил дед Лохмотьев послать в канцелярию Нахлебника. А для чего ж он ещё нужен, если не для побегушек? Вот и пусть бежит!

– Ну, неси! – велел дед, вручив Нахлебничку сумку с бутылками. И, пощёлкав большими деревянными счётами, посчитал-умножил, сколько денег за клей должен он выручить. – Смотри у меня, бутылки не потеряй, деньги не прикармань!

Помчался Нахлебничек. Повсюду уже гасли огни, все ложились спать. Так что, когда он прибежал в городскую канцелярию, там тоже было тихо и безлюдно.

– Стой! Ты кто такой? – раздался вдруг голос у Нахлебничка над ухом. – Чего в окна заглядываешь? Отвечай мне, канцелярскому сторожу!

– Я нахлебник семейства Лохмотьевых. Клей принёс! – ответил Нахлебничек и протянул сторожу сумку.

– А что ж ты такой бестолковый, нахлебник? – удивился сторож, выводя малыша под свет фонаря и разглядывая его. – Кто ж ночью-то в канцелярию приходит? Все ушли, спят уже, знаешь об этом?

Нахлебник догадывался. Но раз уж послали его, надо было бежать. Поэтому он сказал:

– Дядя сторож, тогда передайте, пожалуйста, эти бутылочки для нужд канцелярии.

– А деньги, глупая твоя голова? – всплеснул руками сторож. – Кто ж тебе деньги за клей заплатит? Я не могу.

– Деньги... – расстроился Нахлебничек. – Не знаю. Ой, что же делать? Тогда буду ждать.

И он уселся на ступеньки, собираясь ждать наступления утра. Но сторож поднял его и поставил на ножки:

– Беги домой, вот дурачок! Завтра бутылки свои принесёшь.

Но Нахлебник снова уселся.

– Как же – завтра? Мне сказали – сегодня.

– Ругаться будут? – с жалостью спросил канцелярский сторож.

– Нет, нет! – отчаянно замотал головой Нахлебничек.

Но старого сторожа обмануть было сложно.

– Понятно. Тогда вот что, – сказал он. – Клей свой тут оставляй. А за деньгами завтра придёшь. Вот тебе расписка – что я, сторож городской канцелярии, взял у тебя канцелярский клей. И по предъявлению этой расписки тебе завтра здесь выдадут деньги. Отдашь их своим Лохмотьевым.

– Вот спасибо! – как же обрадовался Нахлебничек, прямо чуть не расцеловал доброго дядю сторожа.

– Ну, беги домой! – и сторож аккуратно подпихнул Нахлебничка в спину.

– До свидания!

И побежал Нахлебничек обратно. На город опустилась ночь. Где-то далеко выли собаки – так громко, что даже луне было страшно. Она тряслась на небе и старалась спрятаться за тучи. Так что вокруг было темно и очень страшно.

И вдруг как из-под земли перед Нахлебничком появилась чёрная фигура.

– Стой! Отдавай деньги! – схватив Нахлебничка за шею, зарычала фигура.

– Ой, а у меня нету! – пискнул Нахлебничек.

Но фигура не поверила.

– Ха-ха-ха! – захохотала она. – Говори, да не ври! Никто и никогда не врёт мне, разбойнику Одихмантию. Видел я, как ты в канцелярию бежал, бутылками звенел. Давай деньги!

– А мне там не дали денег! – честно признался Нахлебничек.

Разбойник Одихмантий рассвирепел.

– Ну, тогда прощайся с жизнью! – воскликнул он и выхватил острый ножик.

– До свидания! – попрощался Нахлебничек.

Нож дрогнул в руке Одихмантия.

– Не понял: кто – до свидания?

– Жизнь. – ответил Нахлебничек.

– Чья?

– Не знаю. – Нахлебничек растерялся. – Моя, наверное, да?..

Такого разбойник Одихмантий не ожидал.

– Ты глупый, что ли? – поинтересовался он, отпустив шею Нахлебничка.

Тот плюхнулся на землю, вскочил на ножки и с готовностью спросил:

– А что надо делать-то, дядя Одихмантий?

– Бояться! – рыкнул разбойник.

– Я боюсь!

Но то, как его боится Нахлебничек, разбойнику, видимо, не понравилось.

– А я не вижу! – взревел он. – Плохо, ух, плохо ты боишься разбойника Одихмантия!

Нахлебничек, чуть не плача, заглянул разбойнику в глаза:

– Так мне бояться или прощаться? Вы только скажите...

И разбойник Одихмантий уронил свой ужасный ножик.

– Слушай, а чего это ты такой покладистый? – присев на корточки возле Нахлебничка, спросил он. – Кто таков-то?

– Состою на хлебах у Лохмотьевых! – бодро и задорно воскликнул Нахлебничек.

Разбойник Одихмантий фыркнул:

– Ну и как тебе в нахлебниках живётся?

– Замечательно!

Слеза выкатилась из глаза разбойника. Не скупая, а очень щедрая, от всей души такая слезища. Одихмантий протянул свою загребушую разбойничью руку и осторожно погладил Нахлебничка по голове.

– Ишь ты, маленький... – проговорил он. – Ты, знаешь что... Отправляйся домой. А если кто обидит, сразу обращай ко мне. На большую дорогу к разбойнику Одихмантию. А я уж порядок наведу. Такого задам обидчикам жару и перцу! Ух!

– Спасибо, дяденька Одихмантий! – поблагодарил его Нахлебник.

До самого дома Лохмотьевых проводил Нахлебничка страшный разбойник. А у дверей – там, где малыш был уже в полной безопасности, развернулся и умчался прочь. Большая дорога ждала его.

Нахлебничек стучался, стучался... Но напрасно. Он не знал, что Лохмотьевы, решившие, что тот обманул их и исчез вместе с деньгами в неизвестном направлении, заперлись на все замки и улеглись спать. Дольше всех не мог уснуть дед, который очень переживал, что так много клея приготовил зря. Он кряхтел, ворочался, причитал – и совершенно не слышал, как маленький Нахлебник скрёбся в дверь, в окошки и просился...

Просился долго. Бегал вокруг дома и очень надеялся, что его впустят.

– Это я, ваш Нахлебник! – бормотал он то в щёлочку двери, то пытаясь дотянуться до окна. – Пустите меня, пожалуйста! Я опоздал, но я больше так не буду! Ой, а что это у вас там, на столе? Наверное, что-то вкусное? А мне можно тоже? Я только чуть-чуть попробую! Пустите меня, пожалуйста!

Но его никто не слышал. Лохмотьевы сладко спали. Тогда Нахлебничек улёгся под окнами на лавочку, сжался в комочек, закрыл глаза...

– Ты любишь меня, Помпония? – услышал вдруг он.

Нахлебничек испугался и лежал, боясь пошевелиться. Завывание повторилось снова. Голос был грустный. И такой таинственный...

Тихонько скрипнула створка. Открылось окно.

– Уходи, бесстыжий! – послышался ещё один голос, кокетливый, в котором Нахлебник узнал голос тёти Помпонии Лохмотьевой.

– Ответь же: ты любишь меня, Помпония? – завывали с улицы.

Вместо ответа в окно выплеснулся таз воды. Окно захлопнулось.

– Ой! – пискнул Нахлебничек, на которого вся вода и обрушилась.

– Кто здесь? Что здесь? – испугался неизвестный в темноте.

– Это я здесь. – ответил мокрый Нахлебник. – Простите, пожалуйста.

– Ты кто?

– Нахлебник.

– А что ты тут делаешь?

– Прошусь. То есть сначала просился, а теперь сплю.

– Нечего спать. – заявил неизвестный, схватил Нахлебничка за шиворот и вытащил под свет фонаря. – Сейчас ты мне поможешь. Любовь, знаешь ли...

– Помогу. Конечно. – согласился Нахлебничек, перед носом которого тут же оказался огромный букет цветов.

– Иди, постучи в дверь, передай букет Помпонии! И вот это. – незнакомец сунул Нахлебничку толстый конверт. – Ну, вперёд!

Он подпихнул Нахлебничка в спину. И тот заторопился к тёмному дому.

Тук-тук-тук! – старательно постучался он.

Дверь открылась так неожиданно и так широко, что Нахлебничка откинуло далеко на клумбу. А букет, по которому пришёлся основной удар двери, рассыпал листки и лепестки по всему крыльцу.

– Это ещё что такое?! – рывкнули из двери. Это была тётя Помпония, которая или любила, или не любила того, кто пытался выяснить это.

Раздался топот – незнакомец дал дёру.

– Что это такое, я спрашиваю?

– Вам букет... Был... – проговорил Нахлебничек, с жалостью глядя на рассыпанные лепестки.

Тётя Помпония тоже уставилась на посыпанные цветами ступеньки.

– Ой, я сейчас всё подмету. – засуетился Нахлебничек. – Можно взять веник?

– Ах, веник тебе! – фыркнула тётя Помпония. – Шлется неизвестно где. Тебе надо не веник, а веником!

– Не надо, не надо! – взмолился Нахлебничек.

Тётя Помпония тоже решила, что не надо и что лучше уничтожить следы пребывания поклонника, о котором, кажется, никто в доме не догадывался.

– То есть можно взять веник. Мети. – разрешила она. – Только тихо.

В руках у Нахлебничка очутился веник, и он принялся быстро подметать крыльцо.

– Хорошо метёшь, – заметила тётя Помпония, которая очень не любила домашнее хозяйство, но обожала чистоту и уют.

– Я стараюсь! – не сводя с неё глаз, пролепетал Нахлебничек. – Пустите меня домой!

Тётя Помпония посмотрела на него внимательно, помолчала, а потом сказала:

– Хорошо.

И Нахлебничек вслед за ней шустро прошмыгнул в дом. Дверь захлопнулась.

– Но. – продолжала шёпотом тётя Помпония. – За то, что я тебя, так и быть, пустила, ты должен помогать мне.

– Да! – согласился Нахлебничек, довольный, что всё хорошо, всё как раньше.

И тётя Помпония, оглядев тёмную кухню, на всякий случай притянула к себе Нахлебничка за ухо и долго шептала ему что-то. Он кивал и со всем соглашался.

Утром Нахлебника долго ругали.

– Где деньги, жулик? – размахивая костью у него перед носом, кричал дед.

– Украл! Он ворует! – возмущалась бабка.

– Воришка!

– Деньги... – расстроился Нахлебничек. – Вот и дядя Оди-хмантий денег просил. А у меня денег нету. Только расписка. Посмотрите, в канцелярии дали! За клей! – с этими словами он протянул Лохмотьевым канцелярскую расписку.

– Ха-ха-ха! – засмеялись все.

– Филькина грамота!

– Обманщик!

– Ворюга!

– Какой такой дядя Оди-хмантий?..

– На большой дороге мне попался. – честно признался Нахлебничек. – Он сказал к нему обращаться, если кто обидит. Давайте обратимся?

Лохмотьевы опешили. Некоторые, самые нестойкие – детишки Тоня с Лёней, бабуля и дед даже шлёпнулись на пол.

– Зачем? – в один голос ахнули они.

– Дружить будем... – ответил Нахлебничек, понял, что сказал что-то не то, – и испугался.

– Вы видели, какие у него друзья? – взвился дядя Вонифатий, больше всех возмущённый этим. – Разбойник Оди-хмантий! Кошмар! И зачем мы его только взяли с улицы? Возможно, они сообщники. Потому что наукой доказано – нахлебники берутся из разбойников!

– Надо его выгнать – разбойника и вора! – стукнув Нахлебника по лбу костью, воскликнул дедушка.

– Не выгоняйте меня, пожалуйста! – заплакал маленький Нахлебничек.

– За кражу мы тебя накажем! – решила мать Лохмотьева.

– Иди сюда, буду тебя ремнём лупить. – сказал отец Лохмотьев и стал засучивать рукава, чтобы лупить Нахлебника.

Но в это время раздался громкий стук в дверь. Через секунду она сама распахнулась, и в дом шагнул хорошо знакомый Нахлебничку сторож городской канцелярии.

– Эй, хозяева! – гаркнул он. – Я сторож канцелярии. Чей нахлебник вчера прибегал? Ваш нахлебник?

– Нет, нет, не наш! – Лохмотьевы тут же испугались его строгого голоса.

И отказались от Нахлебника:

– Мы вообще его не знаем!

– Это кто вообще такой?

– Нет у нас никаких нахлебников!

Сторож скрипнул смазанными салом сапогами, шагнул на середину кухни, вытащил из кармана свёрток и сказал:

– Ему тут деньги полагаются. Забирайте.

Дедушка тут же услышал звон монет, бросился к сторожу и схватился за свёрток.

– О, давайте-давайте!

– Так нахлебник же не ваш! – проговорил сторож и подмигнул Нахлебничку.

– Наш! – в один голос завопили Лохмотьевы.

Дядя Вонифатий, совсем недавно кричавший про филькину грамоту, с этой же самой филькиной грамотой подскочил к сторожу:

– Вот и расписочка имеется.

– Точно, – согласился сторож и забрал расписку, – она самая. Тогда получите деньги. Очень сознательный у вас нахлебник. Вы уж купите ему что-нибудь подарочное.

– Конечно, конечно! – уверили его Лохмотьевы.

Сторож торопился, а потому быстро покинул дом Лохмотьевых, ещё раз подмигнув Нахлебничку. Тот тоже подмигнул дяде сторожу.

Но подарка не получил.

Ему и так было хорошо.

* * *

– Не пойду я сегодня никуда! – услышал Нахлебник с раннего утра. Он высунул нос из-за печки и увидел, как отец Лохмотьев ходит по кухне из угла в угол в страшном гневе. – Не поташу эту тележку! Что толку бродить по городу, если никто ничего в неё не сдаёт!

– Ну как же ты не пойдёшь? – удивлялась мать, помешивая в котелке кашу. – Наша семья тогда умрёт с голоду.

– Не умрёт, – ответил отец. – У нас вон сколько дармоедов! Братец Вонифатий...

– Но ему нельзя работать, Лев! Он же занят научной деятельностью! – заступилась за брата тётя Помпония. Она

сидела за столом и вышивала салфеточку. О том, чтобы ей самой пойти просить старьё берём, не было и речи.

Отец Лохмотьев задумался. Старые дед и бабка в расчёт не шли – они уже не могли возить по городу тележку. Детям Лохмотьевым тоже нельзя. Они школьники.

– Ага! – взгляд отца Лохмотьева упал на Нахлебника. – Вот кто! Нахлебник наш отправится!

– По-моему, это отличная мысль! – захлопала в ладоши тётя Помпония. Теперь уж точно никто её с тележкой попрошайничать не отправит. – Умница, Лев!

И не успел Нахлебничек опомниться, как его вывели из дома, подкатали к нему тележку и выпроводили за ворота – собирать старьё и лом.

– Помни: товар должен быть самого лучшего качества! – наказал отец Лохмотьев. – И с пустой тележкой не вздумай возвращаться!

Нахлебничек покатил тележку. Только что встало солнце, в кустах пели птички, тут и там по обочине дороги показывалась зелёная трава и первые цветочки – ведь пришла весна!

Из окон кухонь раздавался стук ножей, звон посуды, пыхтенье чайников. Нахлебничек, который раньше слушал эти звуки чужой домашней жизни и плакал, потому что своего дома у него не было, теперь веселился. Ведь сейчас эта радостная домашняя музыка играла и для него. Он был с Лохмотьевыми – и ничего, что нахлебником. Даже то, что он не успел сегодня поесть и сразу отправился с тележкой, не обижало его. Он заработает, заслужит, чтобы Лохмотьевы накормили его, – их хлеб он будет есть не зря.

– Старьё! – на ходу крикнул Нахлебничек. – Старья дайте, пожалуйста!

Кричал он тихо, поэтому никто на утренней улице его не услышал. Тогда он остановился у одного из домов, набрал побольше воздуха и как мог громко попросил:

– Старые вещи ненужные берём! Ау!

Румяная красивая тётя выглянула из окна.

– Старьё, говоришь, маленький? Сейчас принесу.

Через минуту она появилась на улице с большой сумкой и вытряхнула из неё в тележку Нахлебника много чего-то, навёрное, ненужного.

– Спасибо! – обрадовался Нахлебничек. – Нате вам, тё-
тенька, за это бусики.

И протянул ей гроздь блестящих камешков на нитке.

– Что ты, милый, бери так! – улыбнулась тётя. – Пойдём
лучше ко мне, я тебя свежими пышками накормлю.

Но Нахлебничек решительно покачал головой. Он был
верный.

– Не могу! – сказал он тёте. – Я чужой нахлебник. Лох-
мотьевых. Я сытый. Меня очень хорошо кормят. А вам
спасибо ещё раз!

Он помахал доброй тёте и покатил тележку дальше.

– Старьё берём! Старьё берём! – кричал он тут и там.

Не прошло и часа, как тележка наполнилась до самого
верха. Всем так понравился маленький Нахлебничек, что
ему кидали что придётся – кто очень даже нужные вещи,
кто интересные книжки, кто кости с мясом, кто одежду.
И такую тяжёлую тележку Нахлебник сдвинуть с места
уже не мог.

Но что оставалось делать? Ведь Лохмотьевы с нетер-
пением ждали свой товар, волновались – куда же пропал
их нахлебник? Плакали, может быть, даже... Подумав об
этом, Нахлебничек взбодрился – он не любил, когда кто-то
плакал. Собрался с силами и толкнул тележку. Она мед-
ленно покатила по дороге. Нахлебничек старался как
только мог, пыхтел, упирался.

И вдруг...

– Здравствуй, Нахлебничек! – это разбойник Одихман-
тий неожиданно появился возле тележки.

– Ой, дядя Одихмантий! Здрасьте! – обрадовался На-
хлебничек. – Вы грабить, да?

– Ну, в общем, нет... – замялся Одихмантий, но быстро
справился с собой, подхватил ручки тележки и легко покатил
её по дороге. – Просто дай, думаю, помогу маленькому На-
хлебничку. Сам когда-то из нахлебников в разбойники подал-
ся. Очень уж меня допекли – не любили. Гоняли, шпыняли,
есть не давали. Так вот и оказался на большой дороге.

Нахлебник, что бежал теперь, едва успевая, рядом с те-
лежкой, очень удивился: ведь он слышал, что наоборот –
из разбойников в нахлебники!

– Врут, – заявил Одихмантий. Ему так хотелось заглянуть в тележку старьёвщиков и как следует там покопаться – наверняка богатств в ней было не счесть. Но Одихмантий не мог грабить друзей. Для него это было как-то низко.

Поэтому вместо того, чтобы от души пограбить, он всё помогал и помогал Нахлебничку.

И вот показался Лохмотьевский дом. Остановив тележку, дружелюбный разбойник постучал кулаком по воротам.

– Будь здоров, маленький! – улыбнулся он Нахлебничку.

– Спасибо! – с благодарностью сказал тот.

– Да не за что. – махнул рукой Одихмантий, прислушиваясь к жизни за воротами. Там кто-то пыхтел и шебуршился. – Мы, разбойники, которые из нахлебников, все такие.

Заскрипели, отворяясь, ворота. Ш-шух! – и разбойника как ветром сдуло.

За ворота вышел отец Лохмотьев, оглядел тележку. Тут же сбежалась вся семья. Тележку быстро закатали во двор и бросились на кучу добра, которую насобиравал Нахлебничек.

– Ай, молодец! – повторяли Лохмотьевы на разные голоса. – Вот молодец!

Что и говорить, такой богатой добычи они не ожидали. На миг оторвавшись от кучи старья, отец Лохмотьев подпихнул Нахлебничка к тележке и весело скомандовал:

– Ну-ка, отправляйся ещё раз!

И снова Нахлебник оказался за воротами. Он опять катал тележку по городу и кричал: «Старьё берём!» Когда тележка наполнялась, Нахлебничек толкал её к дому и радовался – он хороший, он нужный.

* * *

Дядя Вонифатий был очень учёный. А ещё он учил других. Только это совсем не нравилось его ученикам – дядя Вонифатий был таким нудным, что ученики разбежались от него кто куда. И скоро разбежались все.

А страсть к науке у дяди Вонифатия осталась.

Тогда он принялся учить Нахлебника. Когда тот бывал не занят, дядя Вонифатий отправлялся с ним на рынок. Там, прохаживаясь вдоль длинных рядов с продуктами,

он рассказывал Нахлебнику, какие бывают разновидности еды и что с чем нужно правильно есть. Он давно понял, что продукты – это большой пробел в знаниях Нахлебника. А Нахлебничек, которому обычно доставались лишь остатки и оплёски, охотно с ним соглашался: да, есть пробел, я неучёный, много пищи не видел. Но очень её люблю, такая она хорошая! И потому познавательные экскурсии казались дяде Вонифатию необыкновенно полезными. Ведь он давал знания чьей-то тёмной голове.

– Понял, Напродуктник? – рассказав об очередном де-ликатесе, спрашивал он у Нахлебничка, который то и дело вздыхал и облизывался, глядя на вкусную еду.

Дяде Вонифатию очень нравилось называть его всякими продуктовыми именами – и тут он не жалел фантазии.

– Конечно! – старательно отвечал Нахлебничек.

– У, не дурак ты, Насалатник. А хочешь попробовать? – тут же задавал вопрос дядя Вонифатий.

– Да, да! – поначалу радостно кричал Нахлебничек.

Но всякий раз дядя Вонифатий поднимал палец к небу и назидательно говорил:

– А вот накося, Набисквитник! Выкуси! – быстро заворачивал этот палец между двумя другими, создавая кукиш, и совал его Нахлебничку под нос.

Бедный Нахлебник шарахался, а учёный дядя Вонифатий непременно добавлял:

– Тебе нельзя, Насырник. Не заработал. Ха-ха!

Тогда Нахлебничек стал отвечать, что совсем не хочет никаких вкусных продуктов. В такие моменты дядя Вонифатий тряс у него перед носом тем же пальцем, который до этого входил в состав кукиша, и говорил:

– А надо хотеть! Для кого ж это всё наготовлено? Отвечай, Напирожник!

Нахлебничек не знал ответа на такой вопрос, пожимал плечами и разводил руками.

– Не знаю, – говорил он, и тогда дядя Вонифатий научно и громко хохотал на весь рынок.

Это было не так обидно, как кукиш, поэтому теперь Нахлебник всегда отвечал «нет». И тогда познавательная экскурсия вдоль продуктовых рядов продолжалась.

* * *

Как-то раз отец Лохмотьев вытащил из кучи старья-берём ботиночки. Он наметанным глазом осмотрел их, позвал к себе Нахлебника и велел:

– Примерь!

Нахлебничек примерил.

– Носи! – щедро разрешил отец Лохмотьев.

И Нахлебник стал бегать в этих башмаках. Он представлял себе, кто и куда ходил в них до него, сколько дорог они повидали, где побывали. Выбегать ранним утром на улицу с тележкой было очень зябко, Нахлебнику приходилось нестись очень быстро, чтобы согреть пятки и пальчики. А теперь, в ботинках, – просто замечательно!

Очень рад был Нахлебник, старательно мыл и чистил свои башмаки, гладил их ладошкой, даже целовал в носики. И думал, что ему в жизни очень повезло.

* * *

По городу, как и обещал почтальон, распространилась весть о том, до чего же благородное семейство Лохмотьевых и какой же милый Нахлебник у них живёт.

Однажды в дом Лохмотьевых пришли из городского управления, посмотрели на чистенького, аккуратного Нахлебничка, погладили его по голове и наградили Лохмотьевых дипломом почётных благотворителей. Так обрадовались Лохмотьевы, что в этот день за обедом выдали Нахлебнику самую свежую булку.

А как радовался Нахлебничек! Как благодарен он был семейству, которое, несмотря на свои восемь ртов, пригрело его! У него ведь не было ничего своего, поэтому ни на что хорошее он права не имел. Значит, ему нужно ещё больше стараться – и Нахлебник старался. Радостно-радостно.

Тем временем дела Лохмотьевых пошли в гору. Вместе с Нахлебничком в их дом пришла удача. А братья Золотарёвы, к сожалению, разорились – ведь все кидали мусор только в тележку Лохмотьевых! Братья уехали в лес, устроили там лесопилку и пилили доски.

Теперь Лохмотьева-мать целыми днями стояла на блошином рынке, торговала улучшенным старьём. Горы бумаги на макулатуру, кучи металла в металлолом, ряды бутылочек с клеем – всё это приносило деньги. У Нахлебничка не было ни одной свободной минуты – до самой поздней ночи возил он по городу тележку.

Несколько раз Лохмотьевы пытались отправить собирать товары и своих родных детей. Но Тоня с Лёней быстро уставали и возвращались ни с чем. На старьё везёт только Нахлебнику – не сомневались теперь Лохмотьевы. И о том, что с тележкой будет ходить кто-то другой, больше не помышляли.

* * *

А ночами под окна дома приходил поклонник – поинтересоваться, любит ли его Помпония. И Нахлебничек не спал, караулил. Рядом с ним стоял тазик, полный воды. Эту воду нужно было выплеснуть на поклонника. Мелкими шажками, стараясь не мелькать, Нахлебничек перебегал от окна к окну и был всегда наготове.

Но поклонник оказался хитрым, его вой: «Ты лю-убишь меня, Помпо-ония?!» раздавался иногда и от двери.

– Туда! – командовала тётя Помпония.

Нахлебник бежал туда, но, бывало, спотыкался, ронял тяжёлый таз, вода выплёскивалась. Поклонник выл, откуда хотел, бросался букетами в окна.

А бедный Нахлебник слушал, как ругается тётя Помпония. И всю ночь то стоял в ожидании, то бегал с тазом туда-сюда. Он научился лихо выплёскивать воду точно мимо, чтобы не замочить, не простудить такого верного и постоянного поклонника.

...Как-то тёмной ночью караулил Нахлебничек на улице – такой пост выбрала ему тётя Помпония. Сама она, прихорашиваясь в кухне у зеркала, и так и эдак поворачиваясь, кокетливо бормотала сама с собой: «Хо-хо-хо! Вы влюблены? Ха-ха-ха! Ах, пустое...»

Что-то давно поклонник не приходил – больно уж долго не хотела отвечать на вопрос про любовь прелестная Пом-

пония. Бедный Нахлебник, который умаялся за день, еле держал таз. И зевал.

– Эй! – раздалось из кустов.

– Ой! – испугался Нахлебничек.

– Не «ой», а дядя Одихмантий! – и к изумлённому Нахлебнику вышел его старый друг с большой дороги. – Чего не спишь?

– Не хочется...

– А чего хочется?

– Не знаю...

Дядя Одихмантий уселся на клумбу под окном, закатил глаза:

– А знаешь, чего хочется мне, грозному разбойнику Одихмантию? Еды поесть. Лепёшку или коврижку какую сейчас бы умял. Трудно нам, разбойникам, хлеб достаётся.

Нахлебничек, у которого в заветном уголке с обеда была припрятана булка, попросил дядю Одихмантия подержать таз и шмыгнул в дом.

– Ты любишь меня, Помпония? – раздалось под окном.

Это услышал и разбойник Одихмантий, что остался караулить вместо Нахлебника.

– Помпон и кто? Кто «я»-то? – удивился он. – Я тут один, без всякого помпона. Я – разбойник Одихмантий.

Бедный поклонник, который только-только выполз из-под куста и устремился к окошку прелестницы, в ужасе замер – и ни ногой, ни рукой пошевелить не мог.

– Я к Помпонии... – пробормотал он.

– А это кой-то?

– Это женщина-мечта! – ахнул поклонник.

– Влюблён? – догадался разбойник.

– Да...

– А чего ж не женишься?

– В безответной неопределённости нахожусь... – пожаловался поклонник.

– А хочешь, – предложил Одихмантий, – я тебе твою Помпонию украду?

Однако для поклонника очень важно было сначала выяснить, любит ли его Помпония. Но деятельный разбойник уже всё придумал.

– Ты быстрее давай спрашивай, а я её ловить буду – вот этим тазом. – скомандовал он. – Понял?

– Понял! – согласился уставший от неопределённости поклонник. И, вытянув шею, призывно заголосил в сторону двери. – Ты любишь меня, Помпония?

Выплеснув воду из таза – чтобы она не мешала ловить пташку-Помпонию, разбойник Одихмантий приготовился. А вода как раз попала в кудрявую причёску тётушки, которая высунула голову в окно, чтобы посмотреть, появился ли поклонник.

В этот момент открылась дверь – и, взмахнув тазом, Одихмантий накрыл им любовь поклонника.

– Хватай её и беги! – скомандовал разбойник.

Но поклонник был благородный. Так он поступить не мог.

– Ах ты, нахлебник-дармоед! – раздалось тут у него над ухом. И в этот же миг поклонник получил удар веником.

Это Помпония выскочила из дома.

– Ошибка вышла! – охнул разбойник. – Эй, Нахлебничек, ты где?

– Тут я, под тазиком! – донеслось со ступенек.

Услышав шум, в тёмную ночь выскочила на порог и вся семья Лохмотьевых.

Перепуганный поклонник умчался.

– Держите его! – воскликнула тётя Помпония, которая именно в этот миг наконец решилась сказать верному поклоннику «Да!»

И Лохмотьевы бросились за ним.

– Бежим и мы! – выхватив малыша из-под таза, воскликнул Одихмантий и помчался на большую дорогу.

Нахлебничку пришлось припустить вслед за ним.

Светила большая круглая луна, похожая на сыр. Или булочку. Которую протянул своему другу маленький Нахлебник.

– Ой, бу-у-улочка! – обрадовался грозный разбойник. – Мне? Ай, спасибо, Нахлебничек! У тебя их, много, что ли?

– Ага! – честно соврал Нахлебник.

– Стало быть, ты и правда хорошо живёшь, сытно. – заулыбался разбойник. – Ух, ням-ням-ням! Нет, не обма-

нешь – глазёнки-то твои голодные так и сверкнули. Разделим булку по-братски.

Разломив булочку, добрый разбойник протянул половинку Нахлебнику. Тот благодарно вздохнул и принялся её уписывать. Хороша была булочка, что и говорить!

На небе сияла булочка-луна. Яркая, глазастая. Она освещала дорогу – большую, уводящую далеко из города.

– Что, Нахлебник, попадёт тебе за то, что я с тёткиным кавалером так обошёлся? – поинтересовался разбойник Одихмантий.

– Нет, конечно! – снова попытался обмануть Нахлебничек.

– Уж меня-то не надуешь, – нахмурился Одихмантий, отправляя в рот последний кусок булки.

На самом деле Нахлебничек очень боялся, что его теперь вообще не пустят домой бедные Лохмотьевы, которые носились сейчас по городу и ловили сбежавшего поклонника. Ему стало грустно и страшно, но виду он старался не подавать.

– Тоска, Нахлебничек, – вздохнул Одихмантий. – А давай-ка с тобой на луну повоём.

– Зачем? – удивился Нахлебник.

– Не знаю, – пожал могучими плечами разбойник – бывший нахлебник. – Привык. Нету ведь у меня ни роду, ни племени. Одна только эта большая дорога. И луна. Частенько я тут вою. То от голода, то от холода. А то обижусь крепко – и тоже вою.

Сказал так Одихмантий и завыл. Громко, протяжно: у-у-у-ва-а-а!

– У-у-у! – завыл вместе с ним и Нахлебничек.

– О-о-о! – беззвучно подвывала им луна, сложив рот бараночкой.

И правда помогло. Повыли – и стало не так грустно.

– Ну, Нахлебничек, отправляйся-ка ты домой, – сказал разбойник. – Наверняка хватились тебя Лохмотьевы. И простили – это точно!

– Правда? – с надеждой воскликнул Нахлебничек.

– Конечно!

И Нахлебник подумал о своих дорогих Лохмотьевых очень-очень хорошо.

– Дядя Одихмантий, а может, вам тоже к ним попротаться! – предложил он.

– Куда? Опять в нахлебники?

– Ага!

Разбойник Одихмантий раскатисто захохотал:

– Какой же ты глупыш! Где ты видел таких здоровенных нахлебников? Да ещё с большой дороги. Нет, мне уже поздно. Я в люди выбился. Тут, на большой дороге, вольному разбойничку хорошо. Так что обо мне не беспокойся и беги-ка, дружок.

Долго махал Нахлебник Одихмантию – пока тот не слился с ночной темнотой.

А затем вошёл в пустой дом, запалил камин и стал ждать убежавшее семейство. Расстроенные Лохмотьевы появились скоро. Поклонника им поймать не удалось.

Тётя Помпония страдала.

И с этой поры перестал поклонник приходить под окна. И ни слуху от него, ни духу. Убежал он, видно, очень далеко. Напрасно Нахлебничек, как родного, караулил его под окнами. Напрасно не спали Лохмотьевы, ожидая, что тот придёт, и о его серьёзных намерениях им удастся как следует разузнать.

И уж тем более напрасно наряжалась тётя Помпония, чтобы, как обычно, мелькнуть ночью в окне или на мгновение появиться в открытой двери. Никто не завывал с улицы, не спрашивал: «Ты любишь меня, Помпония?»

Настроение у тёти Помпонии было очень злое.

Однажды в дом пришёл городской почтальон и вручил Нахлебнику, который открыл ему дверь, конверт с письмом для Помпонии Лохмотьевой. Простившись с почтальоном, Нахлебничек со всех ног бросился к тётке, протянул ей письмо. И...

– Что ты мне такое принёс! – не своим голосом закричала тётя. – Ты будешь наказан, дармоед!

На пол упало письмо от поклонника, который сообщал, что взаимной любви он не дождался, а потому – прощай, Помпония, навсегда!..

На крик несчастной ПомпониИ сбежалось всё семейство, бедная тётя в слезах умчалась прочь, а Нахлебник так и остался стоять у рокового письма.

Конечно, его немедленно приструнили – урезали количество еды, которую давали ему за завтраком, обедом и ужином. Так что теперь не каждый день бывал он насупником и накартошником. А уж наконфетником – и вовсе никогда.

Так Нахлебник пострадал за любовь.

* * *

Шло время. В любую погоду видели Нахлебничка на улицах города. Он бегал туда-сюда со своей тележкой – такой хороший, такой милый, что каждому хотелось пожалеть его, накормить досыта, приютить. Но он никому не давался в руки, потому что был благодарен той семье, которая первой пригрела его. И старался сделать всё для процветания Лохмотьевых.

– Что же ты всё бродишь, маленький Нахлебничек? – спрашивали у него. – Почему не сидишь дома у тёплой печки, как другие дети?

Но Нахлебник только улыбался и отвечал, что скоро тоже отправится в тепло и уют.

– Почему же Лохмотьевы так плохо обращаются с ним? – говорили не раз. – Почему заставляют так тяжело работать?

И однажды в дом Лохмотьевых снова пришли из городского управления, хотели отобрать диплом почётных благотворителей. Нахлебничек как раз привёз очередную тележку старья – и через минуту появился перед комиссией весёлый и чистенький.

– Мне хорошо живётся! Я тут всех очень люблю! – сказал Нахлебничек и улыбнулся. – Мне так здорово в тепле и уюте!

Комиссия из городского управления погладила Нахлебничка по голове и ушла. Почётный диплом остался у Лохмотьевых. Которые уже и сами не знали, радоваться этому или наоборот.

Обрадовался только Нахлебник. Ведь часто ему казалось, что вот-вот – и его выгонят. А теперь стало понятно – не выгонят. Он останется домашним.

Когда вечером маленький Нахлебничек устроился спать за печкой, сны ему снились особенно сладкие и счастливые.

* * *

Замяли, замяли Нахлебника! Еле выбрался он из-под кучи-малы.

На большом городском празднике проводилась лотерея – с украшенного и гирляндами помоста в толпу бросали большие пироги: и простые, и с сюрпризом. Кто поймает пирог с начинкой из денег – тот лотерею и выиграл. И надо же, так совпало, что самый большой, самый тяжёлый пирог с деньгами полетел прямо в Нахлебника, который вместе со всеми Лохмотьевыми, умытый и причёсанный, стоял в гуще народа. Большущий пирог прищёпнул маленького Нахлебника к самой земле – и напрасно Нахлебничек попытался отмахнуться. Наоборот получилось – пирог он поймал, да с ним и шмякнулся. Тут уж на него все и напрыгнули – ух, как бросились давиться и стараться отнять лотерейный выигрыш! Нахлебника-то тут и замяли, но он всё-таки выбрался, подбежал к Лохмотьевым и с гордостью протянул добычу им. Они разломали пирог, увидели, что в нём начинка из денег. И обрадовались, ух!

– Кто поймал пирог с деньгами? – раздался над площадью громкий голос.

– Мы поймали! – закричали Лохмотьевы и замахали руками. – Мы, Лохмотьевы!

– Тогда забирайте себе! – крикнули в медный рупор. – И идите сюда! Добавку будем вручать!

Лохмотьевы поспешили туда, куда их позвали. Вокруг все пинались, толкались, но Лохмотьевы так хорошо работали локтями, что скоро добрались до того места, где их как победителей уже ждали. Нахлебничек, которого сквозь толпу тащили за руку, – чтобы предъявить, если надо, тоже оказался в центре внимания.

– Самые ловкие, самые сильные, самые умелые участники лотереи награждаются почётными венками! – и весёлые клоуны надели Лохмотьевым на шеи пышные венки.

– Поздравляем! Поздравляем! – неслоь со всех сторон.

Мать Лохмотьева, которая крепко держала в руках выигрышный пирог, подняла его над головой и потрясла им в воздухе. А после этого разделила на части – и всем, даже Нахлебничку, досталось по большому куску. Нахлебник в один миг сгамкал его – вкусный такой пышный пирожок. Деньги отец Лохмотьев тщательно упрятал в самый надёжный карман. Довольная семья отправилась к каруселям. Как вдруг...

– Везут, везут! – раздалось со всех сторон.

– Где везут? Кого везут? – заинтересовались Лохмотьевы.

И выяснилось, что они не знали самого главного – городской праздник был устроен в честь того, что наконец-то поймали злого разбойника Одихмантия! Ура! Больше никто не будет безобразничать на большой дороге! Вот горожане и радовались этому, вот и летали в воздухе лотерейные пироги.

– С дороги, с дороги! – кричал возница, размахивая длинным хлыстом.

Толпа расступилась – и Нахлебничек с ужасом увидел, что его друга, весёлого разбойника Одихмантия, везут в железной клетке!

– А вот и он! – радостно кричали клоуны, которые только что поздравляли Лохмотьевых. – Он, ужасный злодей и разбойник Одихмантий, гроза нашего города, наконец-то схвачен! Не бойтесь, граждане, клетка надёжная! Он не выскочит и не набросится на вас!

Со всех ног кинулся Нахлебничек к телеге, прижался к железным прутьям.

– Дядя Одихмантий, почему вы в клетке? – закричал он.

Грустный Одихмантий – ещё грустнее, чем тогда, когда они были на луну, улыбнулся Нахлебничку и сказал:

– Потому что праздник, малыш. Очень трудно быть разбойником.

– А куда вас везут?

– В тюрьму, – загремел цепями Одихмантий. – Буду теперь там жить.

Маленький Нахлебник был с этим не согласен.

– Что же это за дом такой – тюрьма? – воскликнул он, схватился за толстые прутья и изо всех сил крикнул. – Отпустите его, пожалуйста!

Но к нему уже пробирались суровые полицейские.

– Это кто такой? – гаркнули они. – Сообщник разбойника?

– Нет, это наш глупый нахлебник... – испуганно принялись оправдываться Лохмотьевы.

– Тогда увести немедленно! – приказали полицейские, подхватили Нахлебничка и передали Лохмотьевым из рук в руки.

– Дядя Одихмантий хороший! – крикнул малыш и заплакал.

– Не горюй, Нахлебничек! – бодро воскликнул ему вслед Одихмантий. – И не ходи на большую дорогу, не будь разбойником! Пусть у тебя жизнь счастливенько сложится, дружок!

Больше Нахлебник не видел его. Лохмотьевы постарались как можно скорее затеряться в толпе – чтобы не привлекать к себе внимания, которое притягивал ставший опасным Нахлебник. Как можно скорее они кинулись развлекаться – качели, карусели и весёлые конкурсы ждали их.

Нахлебничек не замечал ничего вокруг. Он думал о своём несчастном друге. Как помочь ему, что сделать? Ничего не придумал. А потому было ему не по-праздничному горько и обидно.

Долго веселились Лохмотьевы. Наступил вечер. Довольные, уставшие, они отправились домой.

Нахлебничек брёл позади. Если на праздник он радостно мчался впереди всех, стуча каблуками начищенных башмаков, подпрыгивал, пел, смеялся, то теперь было его не узнать.

Придя домой, Лохмотьевы долго смотрели на своего Нахлебника, качали головами, советовались... И, наконец, дед поманил его пальцем.

Нахлебничек подошёл.

– Что ж мы тебя не любим-то, Нахлебник? – спросил у него дед.

– Вот живёшь ты у нас, кормим-поим мы тебя, а не любим. – поддержала его тётя Помпония. – Как быть?

Нахлебничек так удивился, что даже «не знаю» ответить не смог. Но если раньше он обязательно постарался бы показаться дорогим благодетелям Лохмотьевым в самом хорошем свете – наверняка запел бы тоненьким голоском, затопотал бы, закружился, то сейчас – нет. Нахлебнику было жалко бедного Одихмантия, и он мог только плакать.

– Может, нам завести другого нахлебника? – предложил отец Лохмотьев.

– Да, и тогда мы его полюбим, – вздохнула мать. – А то этого никак не можем.

– А может, никакого не надо? – сказали Тоня и Лёня.

– Но работает-то хорошо. – развёл руками дед.

– Наплюшник – дармод! – заключил дядя Вонифатий таким научным голосом, что всем пришлось с ним согласиться.

Лохмотьевы дружно прослезились, но делать было нечего. Они положили сухариков в узелок, налили в бутылку водички. И поздним вечером, когда в городе уже редко где горели огни, выставили Нахлебника за порог.

– Иди, Нахлебник, куда-нибудь ещё, – сказали Лохмотьевы на прощанье. – Что поделать – не можем мы тебя любить. Не умеем.

– Спасибо вам всё равно! – сказал Нахлебник, повесил узелок на палку и шагнул в темноту.

На следующий день многие рассказывали, что видели, как Нахлебничек убежал из их города.

– Он сам! – уверяли Лохмотьевы.

И это было почти правда.

* * *

Всю ночь и весь день бежал по дороге маленький Нахлебник. Он очень устал, до крови стёр пяточки, но остановиться не мог. На бегу он съел все сухари,

с благодарностью выпил воду из бутылки, которую дали ему с собой Лохмотьевы.

Как хорошо жилось Нахлебничку в их большом доме! Он просыпался с первыми птичками, умывался и бегал на цыпочках тут и там. Где нужно помочь? Что сделать? Он был благодарным нахлебником и ел совсем мало.

Но его всё равно выгнали. И теперь у него снова не было дома.

Значит, решил Нахлебничек, он делал что-то не так, не сильно старался. Но теперь-то он обязательно кому-нибудь понравится, обязательно заслужит, чтобы его полюбили!

...В этот городок он вошёл поздним вечером. Тщательно оглядел себя – стряхнул грязь, выбил пыль из одежды, пригладил волосы. Но от башмаков остались, считай, одни шнурочки – подошвы совсем стёрлись по дороге. В таком виде появляться было нельзя. Башмаки пришлось снять. Но без них, босиком, Нахлебничек тоже выглядел не очень...

Темнело. Горожане сидели в своих жилищах. И только маленький Нахлебник бегал от дома к дому и заглядывал в освещённые окошки. Он поднимался на цыпочки, вытягивал шейку и старался разглядеть, что же там происходит, в тёплой уютной комнате, где горят яркие огни?

«Что там у вас такое? – шептал Нахлебничек и осторожно скрёбся в окошко. – У вас там, наверно, хорошо. Вы едите что-то вкусное? И я, я тоже очень хочу! Возьмите меня к себе, пожалуйста!»

Но никто в доме не замечал, как Нахлебник скребётся в окошко, не слышал, как он просится войти. Нахлебничек бежал к следующему дому. Но и там никто его не слышал и не ждал.

Нахлебничек вспоминал своего бедного друга – лихого Одихмантия, и слёзы катились из его глаз. Бедный, бедный Одихмантий – ведь, думал Нахлебничек, Одихмантию там, в тюрьме, гораздо хуже, чем ему.

Подбиралась ночь. Нахлебник решил затаиться в тёмном тупике на куче пожухлых листьев. Здесь было тихо – ветер почти не задувал. Долго шуршал Нахлеб-

ничек листьями, устраиваясь поудобнее, наконец улёгся, сложил ручки калачиком и уткнул в них нос. Устал, Нахлебничек очень устал – и когда бежал по большой дороге, и когда просился по чужим домам. Сон сморил малыша.

А ранним утром дворник шуганул его большой колючей метлой. Нахлебничек вскочил и помчался прочь от ругачего дворника, который, сам испугавшись спящего в листьях оборванца, грозно тряс метлой и свирепо ругался.

И вот теперь Нахлебник снова бежал, не чувствуя под собой ножек. А навстречу ему летел румяный и довольный жизнью дяденька. В одной руке он держал пышную поджаристую булку, в другой большой надкушенный пирог. Его карманы были набиты мукой, иногда она вылетала и зависала в воздухе белым прикарманным облачком.

– Здорово, молодёжь! – бодро воскликнул дядя. – Ты кто будешь? Чего несчастный-то такой?

– Я Нахлебник, – ответил Нахлебник.

– Ха! Да ты ж со мной одного поля ягода! – обрадовался дяденька. – Ну так и есть! У меня нюх! Я своих за километр чую!

– Кого – своих? – удивился Нахлебничек.

– Свою братию. Нахлебников! – уверенно заявил дяденька. – Знакомься: я дядя Нахлеб. И ты знаешь, что я только что сделал? От булочника ушёл. Да!

Конечно, судя по пинку, который дядя Нахлеб только что получил из двери, было понятно, что ушёл он от булочника не сам. Но маленький Нахлебник об этом не догадывался.

– Да, дружок, – продолжал дядя Нахлеб, откусывая то от пирога, то от булки. – И скажу тебе, что у булочников нахлебникам самая сладкая жизнь – постоянно на свежих сытных хлебах. Так что иди-ка ты меня смени – попросись к булочнику. А я к мяснику в нахлебники подамся.

– Будете Намясник? – с восторгом закатив глазки и мечтательно облизнувшись, сказал Нахлебничек.

– Ага! Нам, нахлебникам, что нужно: сытно есть, в тепле спать и жить на всём готовеньком.

Сказав это, дядя Нахлеб по-свойски, как нахлебник нахлебнику, подмигнул малышу, сжевал остатки пирога, потрепал Нахлебничка по щеке и помчался вперёд. Лавка мясника была недалеко.

Нахлебник посмотрел ему вслед. И решил, что такая у него судьба – ко всем проситься. Была не была – надо идти к булочнику. Тем более что порог его дома оказался совсем рядом – ведь именно оттуда стартовал дядя Нахлеб.

– ...Нахлебник? – строго спросил булочник.

– Да. – ответил Нахлебничек и заплакал.

Он испугался сурового булочника. И понял, что, наверно, он ему никогда не понравится, нечего даже и стараться. Но раз булочник разрешил жить у него – то жить надо.

Целыми днями Нахлебничек работал – таскал тяжёлые кули с мукой. Есть он совсем не просил, потому что думал: раз он уже живёт у булочника на хлебах, то его и кормить тут не обязаны. Много раз Нахлебник совал нос в муку, пробовал её есть, чихал и плакал.

Теперь он плакал всё время. Слёзы капали в муку, Нахлебничек вытирал их со щёк и носа, перемазывался в муке и был очень даже страшненьким.

Булочник никак не мог привыкнуть, что после ленивого и хитрого дяди Нахлеба у него живёт маленький покладистый Нахлебничек, который не ворует и не спит на мешках целыми днями. Он почти не кормил его, всё время ругал – говорил всё то, что не успел высказать дяде Нахлебу.

– Слушай, а может, ты и не нахлебник вовсе? – спросил он однажды у Нахлебничка.

– Нахлебник, Нахлебник! – подтвердил Нахлебник.

Он был уверен, что его так и звали всегда – Нахлебник.

– А откуда же ты взялся? – как-то спросил булочник.

– Как родился, так вот и брожу, прошусь, – улыбнулся Нахлебник и заплакал.

– Ну, иди работай, – велел ему булочник. Других слов он не знал.

И Нахлебничек помчался работать. Он был расторопным и успевал везде.

Когда становилось совсем уж грустно, Нахлебничек бежал на поля и луга, что раскинулись за городом. Там он гулял, забирался на горки и смотрел вдаль.

Однажды мимо него проходило стадо баранов. Нахлебничек сидел в траве среди колокольчиков. Один баран пошёл к нему.

– Что ты плачешь, маленький? – спросил его баран. – Как тебя зовут? Меня зовут баран Бяша. Давай поиграем?

И они начали играть, носиться по лугу. Нахлебничек так заигрался, что опоздал к своему булочнику.

Тот сильно ругался, но на следующий день Нахлебник снова прибежал к Бяше. Так они подружились. Нахлебник был гордым и плакать перестал: ведь у него появился новый друг!

Баран Бяша грел его своей длинной кудлатой шерстью, Нахлебничек зарывался в неё и спал на пастбище. Если удавалась возможность, он припрятывал для барана Бяши вкусные пироги и плюшки, которые иногда выдавал ему булочник: кривые, подгорелые – те, что никто бы не купил.

Так прошло лето, и наступила осень. К старому булочнику пришло счастье: он разбогател, а вскоре в доме появилась молодая булочница – его жена. Теперь и она тоже стала следить за тем, чтобы Нахлебник был как следует занят работой, так что трудиться он стал в два раза больше. Бегать в поля к барану Бяше удавалось лишь изредка. Нахлебничек тосковал.

И молодой булочнице он не нравился. Однако как выгнать его, она не знала.

Однажды возле дома Нахлебничку повстречался дядя Нахлеб.

– Ну, как жизнь, лежебока? – поинтересовался он. Вид у дяди Нахлеба был такой же бодрый, румяные щёки чуть не лопались от здорового жира. А синяк под глазом только придавал дяде Нахлебу значительности.

– Хорошо жизнь, – ответил Нахлебничек, затаскивая в дом огромный мешок муки.

– Ну тогда иди-ка мне булку стащи, – велел дядя Нахлеб и подмигнул как заговорщик: мол, такое уж наше дело, нахлебницкое!

– Как? – Нахлебничек чуть не споткнулся.

– Очень просто. Булочку хочется. А то мне одно мясо и колбасу есть, без хлеба, во уже как надоело! Ну, беги!

Он оторвал Нахлебничка от мешка и подпихнул к двери.

– Дайте мне, пожалуйста, булочку, – попросил Нахлебник тётю булочницу.

Сам он взять не решался. Но дядю Нахлеба было очень жалко: такое лицо у него было жалобное, когда он булочку просил, Нахлебничек прямо чуть не заплакал.

– Ах, ты ещё и попрошайка! – рассердилась булочница.

Нахлебник не знал, что, услышав крики булочницы, дядя Нахлеб благоразумно сделал ноги, так что булочка теперь была ему без надобности.

А булочница продолжала, грозно тыкая пальцем в Нахлебничка:

– Выгнать его! Слышишь, муж! Какая нам польза от нахлебника? Возьмём лучше работника! От него пользы больше, чем от нахлебника твоего слабосильного. А едят они одинаково.

Она свистнула в окно – и на пороге появился молодой, красивый и сильный работник, который мог перетащить в сто раз больше мешков, чем маленький Нахлебник. И нравился он хозяйке-булочнице куда больше.

Булочник вздохнул и согласился поменять нахлебника на работника. Он дал Нахлебничку калач и отпустил на все четыре стороны.

Нахлебничек бросился бежать – мимо лавки мясника, из окна которой высунулся с куском колбасы в руке дядя Нахлеб, мимо домов, магазинов и лабазов.

К Бяше, он бежал к барану Бяше.

А на пастбище уже никто не гулял. Нахлебничек нагнал стадо возле самых ворот фермы.

Ни барана Бяшу, ни его товарищей было не узнать – они оказались постриженными, тощими, бедненькими.

– Прощай, Нахлебничек! – сказал баран Бяша. – Сегодня последний день выходили мы на луга. Наступает зима, и мы, бараны, будем жить в хлеву.

– Хлев – это твой дом? – спросил Нахлебничек. Он понял, что друг баран Бяша покидает его.

– Да, – ответил баран Бяша. – Дом. Там я проведу всю зиму. Хозяин о нас позаботится. Кого-то, конечно, пустят на мясо... Может быть, это буду не я. Ну что ж. За всё надо платить, ты это понимаешь, Нахлебничек?

– Да, да...

– Вот так. Кто-то из нас, баранов, своей жизнью заплатит за то, что остальные проведут зиму в тепле и уюте. А потом опять наступит весна, будет зелёное пастбище, тёплое солнышко. Мы с тобой встретимся, Нахлебничек, будем дружить! Прощай!

Нахлебничек обнял барана Бяшу, поцеловал в нос и скормил ему тёплый калач. Стадо баранов двинулось вперёд, чуть не затоптало Нахлебника. Еле-еле он успел отскочить.

Куда было деваться теперь бедному Нахлебничку? Кто его накормит, кто возьмёт его к себе? Приближалась зима, а значит, холод и голод.

Нахлебничек побежал по дороге. Он снова скитался от дома к дому и верил, что найдётся такое место, где его будут любить. Если он постучится к вам, пожалуйста, обязательно пустите в свой дом маленького Нахлебничка. Он приживётся у вас и будет очень-очень счастлив!

Рауза ХУЗАХМЕТОВА

Казань

Из цикла «МЕЧТЫ В КОРОБКЕ»

Разговор в коридоре

В коридоре было темно и тихо.

– Эх!.. – нарушили молчание Ботиночки. – Пробежаться бы сейчас по улице!.. Раньше, бывало, целый день бегаешь с пацанами – то мяч на пустыре гоняешь, то на забор залезешь в чужом саду яблочек нарвать, а то в поход с ночевой пойдёшь. Романтика!.. Домой вернёшься, упадёшь и спишь до утра без задних ног.

– То-то вы себе всю подошву стёрли да носки ободрали, – хмыкнули Сапоги. – Даже шнурки все в узлах.

– Нет, что ни говори, а в прежние времена веселей жилось, – мечтательно продолжали Ботиночки. – Подумаешь, носки облупились! Зато как бегали!.. День-деньской – и по лужам, и по крышам! А на велосипеде!.. Так педали накрутишь – к вечеру язык на плече. Приплетёшься домой и спишь как убитый. А утром опять по лестнице бегом – вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо! – засмеялись щекастые Ботиночки.

– Да... – приосанились Сапоги. – Было время... Мы ведь тоже не лыком шиты. Помаршировали по парадам да покрасовались на ковровых дорожках!

– Угу, – сморщились модельные Туфли. – Прежде чем покрасоваться, вы два года грязь месили и пыль глотали.

– Ну, не без этого! Тяжело в учении – легко в бою! – гаркнули Сапоги. – Зато как гуталином начистишься, блеск наведёшь, как в увольнительную пойдёшь да как закрутишь романчик!.. – щёлкнули по-молодецки каблуками Сапоги. – Есть что вспомнить.

– Что у вас там вспоминать – военно-пылевой роман?.. – снисходительно сказали Туфли. – Вот мы-то уж походили так походили – и по мраморным ступенькам, и по офисным коридорам, и по танцплощадкам... «Рио-рита», «Брызги шампанского», «Бесаме мучо»... Эх! За такими шпилечками ухаживали – закачаешься!

– Вот из вас песок-то и сыплется, – лениво подали голос Тапочки.

– Ничего подобного! – возразили Туфли. – Мы ещё сумеем потанцевать!

– Может, и сумеете, а всё же давно у стеночки стоите, – не уступали Тапочки. – Хозяин уж забыл про свои лаковые. Если ему кто и нужен, так это мы. Откуда ни вернётся, а всё нас зовёт. Потому как, что в обуви главное?

Все неодобрительно посмотрели на важного соседа.

– Уют, – сами себе ответили Тапочки. – Вот увидите, – понизили голос, услышав шаги. – Хозяин проснётся и нас наденет.

Дверь открылась.

– Ну что мы говорили?! – крикнули Тапочки, уходя в комнату...

В коридоре воцарилось недовольное молчание. Когда шлёпанье и шарканье затихло, каждый задумался о своём. Заулыбались мечтательно Туфли, закрипели Сапоги и, вспоминая жаркие футбольные баталии, тихонько засвистели Ботиночки.

В шкатулке

Крышка шкатулки открылась, и в сонный полумрак ворвался солнечный свет.

– Где она? – прозвучал женский голос. – Я же её вчера сюда бросила!

Изящная ручка перевернула содержимое шкатулки и исчезла...

– Ну вот, – проворчала Английская Булавка, – из-за воороха старого барахла меня и не нашли.

– Эй-эй, поосторожнее! – надменно произнесли серебряные Серьги. – Вы как-никак в шкатулке с драгоценностями находитесь!

– Подумаешь, драгоценности!.. – хмыкнула Английская Булавка. – Вас уже и в утиль-то не примут! Из ценного здесь только вон то – золотое, да и то... какое-то тусклое, – кивнула на лежавшее в уголке Обручальное Кольцо.

– Тсс!.. Не тревожьте, оно и так грустит... – прошептали жемчужные Бусы. – Их ведь в паре принесли – мужское и женское. Они и лежали-то в шкатулке рядом. Да недолго – расстались... Вот оно и потускнело.

– Ха!.. Было бы из-за чего тускнеть! – повернулся молодойцеватый Перстень. – Я вот сам по себе – один. И ничего – бодр и весел!

– Хм!.. – усмехнулась Английская Булавка. – А вставочка-то у вас фальшивая!

– Ну и что?! – не смутился Перстень. – Какая разница? Камешек и камешек!.. – потёр рукавом вставку. – Главное – оправа!.. Ну-ка, взгляните, хорош? – прошёлся, красуясь.

– Это верно, камешек и камешек... – прошамкала старая Брошь. – Лишь бы все на месте были... Вот у меня несколько штук выпало. Жаль, а то я бы ещё покрасовалась.

– А признайтесь, голубушка, – заговорщически подмигнул Перстень, – вы на своём веку многое повидали?

– Да-а!.. – радостно колыхнулась Брошь. – Я у старой хозяйки в почёте была!.. А какие раньше платья носили – из панбархата, одно другого лучше! А какие шали на плечах!.. Ммм...

Я о прошлом теперь не мечта-а-ю,
И мне прошлого больше не жа-аль...

– запела дребезжащим голосом.

– Да-да, – переглянулись Бусы. – Если бы застёжка не сломалась, мы бы тоже красовались, да ещё и на самом видном месте.

– Ну, самое видное место у нас! – самоуверенно произнесли Серьги.

– Да будет вам спорить, – неторопливо произнесла янтарная Заколка Для Волос. – Выше всех всегда я стояла!

– Ну, теперь-то как и все в шкатулке без дела лежите, – не удержалась, чтобы не подколоть, Английская Булавка.

– Увы... – вздохнула Заколка Для Волос. – Старая хозяйка причёски уже не делает, а молодёжь теперь коротко стрижётся.

– Вот и получается, что самая нужная вещь – я! – заявила Английская Булавка. – Меня то и дело берут! Даром что не драгоценная, а вот рядом с вами в шкатулочке-то лежу!

Все замолчали...

– Да где же она? – раздался недовольный возглас.

Лёгкая ручка опустилась в шкатулку и, немного поискав, достала Английскую Булавку. Потом шлёпнула по крышке шкатулки. Стало темно и тихо. Никто уже не разговаривал. Немного позавидовав, каждый успокоил себя мыслью, что Английская Булавка всё же простая, и не чета им – драгоценным украшениям.

Ключи потерялись

– Что-то хозяина долго нет... – нарушил тишину Ключик от почтового ящика. – Корреспонденцию давно не проверяли...

– А и впрямь, – повернулся Ключ от квартиры, – куда это он подевался?..

– Да куда он может деться? – подал голос Ключ от дачного домика. – Где-нибудь здесь, не потерялся же...

– А может, мы сами потерялись? – встревожился Ключ от автомобиля. – Это ведь быстро, раз – и нет целой связки!

– В самом деле, где мы?.. – забеспокоились Ключи и начали озиаться. – Странно... Темно, ни зги не видно...

– Под ногами – не асфальт, значит, мы – не на улице, – решил Автомобильный Ключ.

– Пол деревянный, значит, мы – не в подъезде, – добавил Почтовый.

– На стенах нет обоев, значит, мы – не дома, – неодобрительно покачал головой Квартирный.

– И мебели никакой, – развёл руками Дачный. – Выходит, мы даже не на даче... Где же?

Ключи забеспокоились сильнее.

– Может, мы на работе?

– Не-ет, тогда бы все разговаривали...

– Может, в гостях?.. Или на randevу?..

– Не похоже, в гостях обычно музыка играет...

– А может, хозяин нас уронил, – зачастил Ключик от почтового ящика, – да ещё и в ливнёвку!..

– Что ты!.. – замахал Квартирный Ключ. – Тогда под ногами было бы сыро.

– Нас выкрали! – заявил Автомобильный. – Точно! Сейчас это быстро делается!

– У тебя – всё быстро!

– Вряд ли выкрали, – засомневался Дачный. – Тогда нас стали бы рассматривать, особенно тебя.

– Это верно, – согласился Автомобильный ключ. – Тогда... хозяин поехал в лес... за грибами или на охоту... Помните, в прошлом году ездили? Там ещё домик был охотничий с открытой верандой...

– Точно, точно! – подхватил Дачный Ключ. – Веранда ещё была такая... неудобная, как сейчас здесь... Значит, мы – на веранде, а хозяин ушёл и не вернулся.

– Почему не вернулся? – испуганно спросил Ключик от почтового ящика.

– Пропал или... его съели волки.

– Ну уж, глупости! – рассердился Автомобильный Ключ. – У хозяина есть ружьё, он бы выстрелил.

– Да-да, – согласился Квартирный, – а выстрел мы бы услышали.

– Потому и не услышали, что он НЕ УСПЕЛ выстрелить, – произнёс Дачный Ключ, озираясь.

– Ты думаешь...

– Да, его съели волки, а сейчас они направляются к нам.

– Почему – к нам?.. Зачем? – растерялись Ключи.

– От нас пахнет хозяином.

Все замолчали, не зная, что и возразить.

– Ой-ой!.. – забоялся Ключик от почтового ящика. – Дайте я в середину встану, я самый маленький.

– Нет, лучше я! – возразил Автомобильный Ключ. – Я важнее всех!

– Это почему?.. Почему – ты?.. Чем это ты важнее?.. – заспорили остальные Ключи.

– Вы отсюда на чём будете выбираться? На машине, значит, я – главный!

– Из леса можно и пешком выйти, если не съедят, – заметил Квартирный Ключ. – А в дом ты без меня как попадёшь?

– Ну, жить-то можно и на даче! – вставил свой довод Дачный.

Ключи стали толкаться, пытаюсь занять место побезопаснее. Ключик от почтового ящика решил, что со взрослыми ему не справиться, сел в стороне, обхватил коленки руками и заплакал.

– Ну и что ты раньше времени испугался? – подошёл к нему Квартирный Ключ. – Может, ещё всё обойдётся...

– Вообще-то мы железные, и волкам не по зубам, – решил Автомобильный ключ.

– Садись в середину, – предложил Дачный.

Ключи сели вокруг младшего товарища и замолчали. Прижавшись друг к другу, они немного согрелись и задремали.

– ...Так вот! – внезапно раздался наверху голос, заставивший всех вздрогнуть. – Всё готово!.. Да-да!.. Мебель из прихожей вынес, паласы убрал, обои снял, можно начинать ремонт... Нет, ничего лишнего не осталось... вон ключи только лежат. Приезжайте!

Ключи подняли головы, озираясь. Было уже светло.

– Так у нас ремонт?..

– Это ремонт...

– Ремонт!

– У нас – ремонт, какое счастье!..

На празднике

Большой праздничный стол был полон. Со всех сторон слышался радостный гомон и звон посуды.

– Разрешите за вами поухаживать? – любезно склонился пузатый Графин.

– Ах!.. Мне чуть-чуть!.. – засияла изящная Рюмочка.

– За вашу несравненную красоту! – торжественно произнёс Фужер. – Вы так обворожительны сегодня!.. – зашептал на ушко.

– Ах!.. Ах!.. – отодвигалась Рюмочка.

– Ваше здоровье! – потянулся Бокал с другой стороны стола.

– Спасибо!.. Нет-нет, мне достаточно...

Гремела музыка, один за другим провозглашались тосты:

– За дорогую именинницу!.. Многая лета!.. Здоровье дам!..

- Ах!.. Ах!.. – еле успевала поворачиваться Рюмочка.
- Очи чёрные, очи страстные... – запел неверным голо-
сом Бокал. – За ваши жгучие и прекрасные!..
- Ах!.. – смущённо моргала Рюмочка.
- Первый танец – мой! – наступил на туфельку Фужер. –
Обещайте же!
- Ну хорошо... – сдалась Рюмочка. – Ах!.. – покачну-
лась, сделав шаг. – Что-то всё кружится...
- Упала и переломилась.
- Эх-х!.. – поморщился Фужер. – Теперь и потанцевать
не с кем. Впрочем... – огляделся. – Ну-ка, – кивнул Графи-
ну. – Для храбрости!
- Пожалуйте, – наклонился Графин.
- У-ух!..
- Пошатываясь, Фужер сделал пару шагов, зацепился
острыми носками ботинок и упал в тарелку с салатом.
- Слабак!.. – усмехнулся Бокал. – Ну! – взглянул на Гра-
фин. – Кого ждём?
- Сию минуту! – поскочил Графин.
- У-ух!..
- Бокал опрокинулся навзничь да так и остался лежать.
- Усну-ул!.. – взглянув, сказал Графин. Потом подошёл
к стоявшему в стороне молчком Гранёному Стакану. – Ну
что, опять мы с тобой одни остались?
- Угу, – коротко кивнул он. – Полный!

Черёмуха в окне

- Черёмуха-то нынче как цветёт! – сказал Оконный
Шпингалет, глядя на улицу. – Запаха только не слышно...
У-у!.. Закупили все форточки, – протянул недовольно. –
Дышать нечем!
- Как не закрыть, когда хозяев нет! – подал голос Двер-
ной Замок. – Уехали ведь всей семьёй. Неровен час, влезет
кто чужой.
- Да что тут брать-то?! – рассердился Шпингалет. –
Старый сервант? Так он по дороге развалится!.. А больше
ничего ценного и нет. А нам целый месяц в духоте сидеть!
Эх-х!.. – размашисто прошёлся по подоконнику. – Раньше,

бывало, окно – нараспашку! Да целый день!.. И на ночь-то не всякий раз закрывали. Ничего не боялись – ни простуды, ни лихого человека!

– Крепче были, – вздохнул Замок, – и времена были другие.

– Да, жили веселее, – согласился Шпингалет. – За окном то и дело гармонь играла, иногда и гитара... А цветов сколько в окно перебросали! – засмеялся. – Помню одного вихрастого... Всё сирень приносил. Раз ночью и сам в окно хотел влезть, да хозяйская дочь не пустила.

– Правильно сделала, – строго произнёс Замок. – Хочешь свататься – заходи через дверь как положено. С родителями познакомься, поговори, чтобы всё чин чином. А то в окно!.. Ишь чего выдумал!

– А ему так и пришлось сделать. Влюбился!.. Теперь в этом доме и живёт... Я про нашего хозяина говорю.

– Да помню я эту историю!.. Старых-то хозяев уж нет, хорошие были люди... И эти живут мирно да ладно.

– Ладно, да только тихо, скучно. Будто и не были молодыми, – пожал плечами Шпингалет. – Ни тебе радио, ни телевизора!.. Окно лишний раз не открой – сквозняк!

– А чего ж ты хочешь? Хозяева – люди степенные, положительные, – стоял на своём Замок.

– Романтики хочу!

– Это что же за причуда такая?

– Не причуда. Это... – развёл руками Шпингалет, – состояние души... Цветы, стихи, серенады... влюблённость, словом.

– Ну, это нам не положено. У нас – свои правила.

– Да я понимаю-аю... – протянул Шпингалет. – Порядок порядком, а всё же иной раз хочется душе распахнуться!.. Порадоваться, вздохнуть свободно...

– Погоди немного, – сказал Замок, зевая. – Скоро дочка у них подрастёт, ей будут в окно букеты кидать.

– Скорей бы уж!.. – снова прошёлся по подоконнику Шпингалет. – А вечер-то какой!..

И залюбовавшись закатом, запел:

Ещё не вся-а черёмуха

В твое око-ошко брошена...

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Яков ЗВЯГИН

Правильный Жираф

Позавчера в африканской саванне
Звери собрали большое собрание.
Выступил Лев и сказал очень строго:
«Ужас творится у нас на дорогах!»

Звери решение быстро нашли –
Будут жирафы работать в ГАИ.
Раз у жирафа длинная шея,
Он будет видеть все нарушения.

В первый же день гаишник Жираф
Гиппопотаму выписал штраф.
Гиппопотам зазевался –
Неправильно припарковался.

Следом попался на штраф Крокодил –
Реку неправильно переходил.
Скорость Гепард превысил в два раза
И получил наказание сразу!

Было наказано стадо Быков.
И в протоколе вердикт был таков:
«Быки создают опасность,
Когда пробегают на красный».

Не испугался Жираф даже Льва:
«Здравствуйте, Лев. Предъявите права».

Лев рассердился: «Жираф! Ты не прав!
Ты вообще в курсе – кто я, Жираф?»
«Знаю! – ответил Жираф. – Вы же Лев!
Только закон одинаков для всех!

Вы ж его сами писали,
Чтоб звери не нарушали.
Так что уймите воинственный нрав.
Я вас лишаю водительских прав!»

Этот стишок я сам написал.
По электронке в ГАИ отослал.
Ждал, целый день, что будет ответ...
Как вы считаете, ждать или нет?

.

Правда, восточносибирская лайка
Мне в «Инстаграмме» поставила лайки.

Вкуснятина

Если море взбить в стакане
С чайной ложкой ручейка,
Птиц добавить щебетанье
И по вкусу ветерка,

Неба синего немножко
С долькой утренней зари,
Сверху лунную дорожку
Ложки две, а лучше три,

Если ливень, только теплый,
Пережарить на жаре
И запечь рассвет протертый
В сочной звёздной кожуре,

Пачку свежего тумана
На малиновый закат
И до полного стакана
Влить цветочный аромат,

В белооблачном отваре
Ломтик солнца растворить
И на бронзовом загаре
До полуночи варить –

Если всё проделать это,
Не проспать, не проглядеть,
То такое выйдет... ЛЕТО –
Просто можно обалдеть!

Голос-рыба

Рассказали рыбаки,
Что однажды у реки
Рыбы пели хором
На речных просторах.

Распевались караси:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си!

Подхватили два леща:
Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!

Судаки на бэк-вокале
Двум форелям подпевали.

Собиралась спеть плотва,
Но забыла все слова.

А ерши – хороши!
Заливались от души!

Вот на сцене сазаны!
Прям крутые пацаны!
Спели в стиле R&B,
Поклонились и ушли.

Им на смену вышел линь,
Стал по джазу петь! Прикинь?

Начала в ответ чехонь
Петь частушки под гармонь.

Подошла стерлядка
И запела сладко.
Получилось клёво
Чисто Пугачева.

А веселый жерех
Выскочил на берег,
Затянул куплеты
Распугал креветок.

Весь в наколках старый сом
Начал было петь шансон,
Только рак ему не дал
Прямо сразу освистал!

Тут осётр подошёл
И исполнил рок-н-ролл.
Выглядел красиво
Правда, спел фальшиво.

«Браво! – рыбаки кричали, –
Супер! Молодцы! Спасибо!»
Рыбы – сразу замолчали...
И с тех пор молчат как рыбы!

Любовь СИДОРОВА

Москва

Крылея, Цветея, Магнея

Давай посидим, помечтаем
О разных волшебных планетах.
Представим, что люди летают
На крыльях чудесных по свету.

Летают, летают, летают
Повсюду они, словно птицы.
С деревьев они наблюдают,
Как солнце под вечер садится.
А также они наблюдают,
Как звёзды с луною играют.
Летают, летают, летают
И ни о чём не мечтают.
Они очень рады. Ведь крылья
На свете им всё заменяют.
И как же планету крылатых
Людей будем мы называть?
Конечно, планета Крылея.
Самим захотелось летать.

А вот и другая планета,
Где много волшебных цветов.
Планета чудесная эта
Пришла к нам из сказочных снов.
Цветы говорить там умеют,
Язык они наш понимают.
Они за одно лишь мгновенье
Все наши мечты исполняют.
Побудешь на этой планете –
Забудешь про всё ты на свете.
Название придумать сумеем.
Конечно же, это Цветея.

А есть и такая планета,
Где важно одно вдохновенье.
Подумай о чём-то, и сразу
Почувствуешь ты притяженье
Всех мыслей своих. Вот, допустим,
Представишь тетрадь, и в пространство
Тетрадку твою кто-то пустит.
Смотри: вот она, та тетрадка!
К тебе прилетела откуда?
Как думаешь ты? – Из пространства.
А это действительно чудо.

Но кто ж так умеет в пространство
Все мысли твои запускать?
И без промедленья, и сразу
В реальность их все превращать?
На этой чудесной планете
Такой есть волшебный магнит.
Он всё для тебя приготовит,
Лишь только подумать велит.
Но думать ты должен о добром,
О светлом, и только тогда
Магнит твои мысли притянет,
Дружить с тобой будет всегда.

Планеты Крылея, Цветея,
А третья планета – Магнея.
Магнит с той планеты Магнея
Тетрадку тебе подарил.
Теперь в ту тетрадь поскорее
Пиши то, что ты сочинил.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцатый

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Лев Зелексон*

В оформлении обложки использована
работа *Михаила Нестерова* «Пустынник и медведь (Отец Сергей)»

Подписано к печати 07.06.2021. Выпущено в свет 28.06.2021.

Бумага 60x84^{1/16}.

Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл.-печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.

Свободная цена.

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13